

ПИРАМИДА



РОМАН ЯКОБСОН

**ЯЗЫК
И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ**

РОМАН ЯКОБСОН

ЯЗЫК И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

МОСКВА
«ГНОЗИС»
1996

ББК 81
Я 46

Якобсон Р.

Язык и бессознательное / Пер. с англ., фр., К. Голубович, Д. Епифанова, Д. Кротовой, К. Чухрукидзе. В. Шеворошкина; составл., вст. слово К. Голубович, К. Чухрукидзе; ред. пер. — Ф. Успенский. М.: Гнозис, 1996.— 248с.

— Выходящий к 100-летию со дня рождения сборник статей Якобсона (1896-1982) имеет целью представить узловые моменты мышления одного из величайших лингвистов столетия, найти единую мотивацию его разносторонних изысканий. Структура сборника по возможности отражает это намерение. Тексты, собранные в книге, последовательно представляют анализы общей проблематики бессознательного, лингвистической структурированности афатических расстройств, речи ребенка, поэтической речи, проблем семиотики, структур языка как такового и его наименьшей смысловой единицы — фонемы.

ISBN 5-7333-0492-8

© Серия «Пирамида» — издательство «Гнозис».

© Переводы — указанных переводчиков.

© Тексты — указанных издательств.

© Художественное оформление серии — А.Бондаренко.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

I

Предлагаемый сборник не просто дань памяти. Наоборот, теперь, когда самопонятность и самоочевидность (естественность) «формального подхода не вызывают сомнений — не столько потому, что на него уже нечего возразить, а скорее потому что слишком уж большая область завоевана им, слишком уж он утвердил себя среди существующего как своего рода *metodos universalis*, определяющий, что же на самом деле есть, — именно теперь, когда этот подход стал уже не столько исследовать реальное, сколько воспроизводить его, именно теперь нам надо вернуться в ту взрывную точку, когда впервые проговорили себя его понятия. Ведь самоестественные термины, понятия, разборы, анализы, систематизации именно потому, что они *естественны* перестали уже открывать нам новое — т. е. они по выражению В. Шкловского перестают «переживаться непосредственно», поскольку, как писал еще в 1959 г. сам Р. Якобсон «... кроме непосредственного сознания тождественности знака и объекта ($A = A$), есть необходимость непосредственного сознания неадекватности этого тождества (A не есть A). Причиной, по которой существенна эта антиномия, является то, что без противоречия не существует подвижности представлений, подвижности знаков, а связь между представлением и знаком становится автоматической. Активность прекращается и чувство реальности умирает» (см. данное издание стр. 118, «Что такое поэзия?»).

Наука не говорит о своем первейшем, «наивном» основании, она сразу начинает *употреблять* добытые ею рабочие понятия (представления). Именно поэтому ученых, занимающихся творчеством Якобсона, мало интересуют такие факты как работа Якобсона над произведениями логика нового типа Чарльза Сандерса Пирса, или, еще раньше, встречи Якобсона и Гуссерля в Праге, чтение *Логических исследований* (особенно *Третьего логического исследования* Гуссерля, посвященного вопросам феноменологической грамматики), также то, что статья «О русском фольклоре» (часть из которой напечатана в данном сборнике, см. сс. 97—104), написанная непосредственно после этой встречи, посвящается Гуссерлю. Скрытый и явный спор с непосредственным учеником Гуссерля М. Хайдеггером и наоборот спор Хайдеггера с «семиотическим» представлением языка, встречи с Жаком Лаканом, совершенно по-новому осмыслившем

наследие Фрейда, проштудировавшем и Хайдеггера и Якобсона, — *вес это* тот новый круг, внутри которого вновь и вновь можно переосмыслять дело Якобсона.

Из-за многолетнего молчания с трудом удается восстанавливать всю «картину» связей, неожиданных пересечений, дающих возможности новой интерпретации «старых» формалистских понятий. В этом сборнике мы попытались дать некоторое представление не о научном труде, но собственно о *творчестве* Якобсона, об истоке его техники, его поэсиса. Понятия Якобсона должны сдвинуться с мертвой точки (с объекта) и вновь отправиться в путешествие. Как гласит один из постулатов формалистов, который они заимствовали у Крученых (опыты современной Якобсону поэзии и живописи самим им признавались исходным материалом, *началами*, его исследований): «Мысль и речь не успевают за переживаниями Вдохновенного ... Художник увидел мир заново и как Адам дает свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово 'лилия', захватанное, изнасилованное... Слова умирают, мир вечно юн».

II

Заслуга Якобсона состоит в оттеснении на задний план интерпретации языка как синхронической и диахронической ценностей и выявление его универсальной сущности. Структура не психологична, она релятивна и категориальна по существу. Структура не равна отдельному субъекту. Она есть принадлежность интересубъективного сообщества. Универсальность языковой системы Якобсона дает по новому оценить границы различных языковых пространств. Оказывается, что границы, отделяющие друг от друга поэтическую речь, речь псих и ребенка, не столь отчетливы как принято считать. И это касается даже разницы между языками. Язык с семиотической точки зрения суть универсальная структура. Любой язык подвергается инвариантизации, если он воплотился на синхроническом и диахроническом уровнях. Семиозис языка есть трансцендентальная сфера, и, чтобы попасть в нее, каждый из языков подвергается уподоблению общей структурной модели, (т. е. тотальной интересубъективации).

«На интересубъективном горизонте вещей основывается их способность быть знаками. Звуковые изменения характерные для языка существуют только благодаря тому обстоятельству, что они приняты языковым коллективом» — пишет Холленштайн. вид-

ный исследователь и, в разное время, ассистент Гуссерля и Якобсона.

Языковые структуры не нуждаются в дополнительной классификации. Они уже есть *a priori* в интерсубъективном пространстве сообщества. И если в сознании субъекта не существует языковой классификации как таковой, то порядок способствующий априорной структурализации языка осуществляется на этнологическом уровне. Структура есть — уже, везде и всегда, там где есть язык и речь. Поэтому стерты грани между поэзией, потоком сознания и бессознательным. Поэтому стихотворная строка — это такое же языковое явление имманентное языковой структуре, как и высказывание афатика или любого другого адресанта. Иначе, стихотворение отличается от любого другого сообщения лишь тем, что оно *по-иному* задействует сегменты структуры, отлично от того, как это происходит в высказывании афатика, или при бессознательном лепете ребенка. И так, даже бессознательное — язык? Языковое явление выявляет структуру как таковую. Оно есть функционально ценностное воплощение структуры. Якобсон видит стихотворение как аутосемантическую поверхность, не отличающуюся в функциональном плане от любой другой разновидности языка *in praesentia*. Слово как семантическая единица в стихотворении не работает. Слово функционально только тогда, когда в нем выступают свойства языковой структуры, моделируя его в нужный категориальный тип, грамматический или фонетический. Грамматика не фигурирует в поэзии как добавочный смысл, это тот смысл, который вообще возможен. Поэзия — не антиречь (необычная речь), а топос особого функционального воплощения языковых единиц. Поэзия — это теллеологическое воплощение всех категорий. Это самая тотальная из всех функций языка. Поэтому между разными жанрами языка различия количественны, а не качественные.

Соссюр объявил, что соотношение означаемого и означающего произвольны. Якобсон показывает, что нет того неперемещаемого топоса, где означающее находит навсегда собственное означаемое. Между ними нет априорной связи. Поэтому о произвольности или непроизвольности не может быть и речи. Слово не всегда является означающей единицей. Ведь даже его механический перенос от одного означаемого к другому (например, переназывание кошки 'собакой') уже является актом — трансактом. Отсыл означающего к означаемому локален, топологичен, феноменален — это языковое явление.

Согласно Чарльзу Сандерсу Пирсу, на которого Якобсон ссылается как на «пионера, первопроходца, науки о языке», предмет

можно классифицировать по принципу материала или по принципу структуры. Второе гораздо важнее. Структурный принцип объединяет предмет и называющее его слово. Именно в следствие этого принципа предмет может быть воспринятым, иметь форму, а слово обозначать. Яснее всего это видно тогда, когда язык теряет свою референтную функцию — т. е. перестает быть средством передачи информации о внешнем мире в нашей каждодневной практике, когда он выступает в поэтической и металингвистической функциях или когда наоборот выявляются некие дисфункции языка — в случае афатических нарушений. В поэзии произведение смысла обеспечивается не высказыванием о чем-то, но собственно самим сегментом смысла, который поэтому не находится в распоряжении нашего сознания, но всегда уже заранее присутствует в любой нашей сознательной попытке смыслообразования. Таким же образом в металингвистической практике происходит концентрация на разобранных элементах смыслообразования, а при афатических расстройствах речь пациента в которой сказывается невозможность артикуляции и восприятия определенных языковых моментов, обнажает именно внутри структурное нарушение, а тем самым функциональный, телеологический, смыслонесущий характер элементов языка. Эти сегменты смысла можно назвать бессознательными и вслед за Лаканом сказать, что «Бессознательное организовано как язык», а потому отказаться от выделения бессознательного во внеязыковую или праязыковую область и тем самым отказаться от вульгарного противопоставления «сознание» — «бессознательное».

III

Данный сборник имеет целью представить узловые моменты мышления Якобсона, найти единую мотивацию его весьма разносторонних изысканий. Структура сборника по возможности отражает это намерение. Статьи расположены в следующем порядке: от постановки общей проблемы бессознательного через статьи по проблемам афатических расстройств, речи ребенка, поэтической речи, к проблемам семиотики, структуры языка как таковой. Все статьи сборника составляют как бы единый АНАЛИЗ, разбивающийся на несколько уровней.

Этот анализ есть по сути дела анализ не только языка, но и субъекта языка, таким как его мыслил Р. Якобсон, по выражению Э.Холленштайна — расширенным трансцендентальным субъектом Канта. По мысли Романа Якобсона, которую он отстаивает в беседе с тремя оппонентами (см. «Жить и говорить»), не язык

создает человека, а человек создает язык, т. е. еще не овладев речью, человек способен к ней, раньше и прежде всего. У него уже заранее присутствуют обобщающие смыслообразовательные категории, «общие для всех народов», которым он и научается (овладевает). Если эти категории не получают своего выражения до определенного возраста — человек как человеческое существо закрывается, не способен более вступить в поле коммуникации, intersubjectивности — в мир *явления* языка. В этой точке и надо искать момент возникновения дихотомии бессознательное-сознательное; человек не бессознателен — он обретает свое бессознательное одновременно с обретением своего сознательного (см. напр., статью Якобсона *Вклад Энтони в лингвистику*; (дан. изд. сс. 89—93), человек по Якобсону с самого начала субъект речи.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ЯЗЫК

К ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТИ¹

Во второй половине XIX века проблема «бессознательного», как отмечено критическим обозревателем, снискала особую популярность и широко распространилась мысль о необходимости учета этого фактора при рассмотрении самых различных вопросов теории поведения (Бассин, 55). Среди языковедов названной эпохи вопрос был выдвинут наиболее четко и настойчиво молодым исследователем Бодуэном де Куртенз (1845-1929) и его гениальным учеником Крушевским (1851-1887) Ещё в заключительный период своей научной деятельности Ф. де Соссюр (1857-1913), в связи с выходом книги своего ученика А. Сешеэ (1908), утверждал, что Бодуэн де Куртенз и Крушевский «ont été plus près que personne d'une vue theorique de la langue sans sortir des considérations linguistiques pures: ils sont d'ailleurs ignorés de la généralité des savants occidentaux» (IV, 45)¹, и досадное незнание теоретических положений обоих языковедов неоднократно отмечалось западными языковедами.

В своем первом научном исследовании, в варшавской кандидатской работе *Заговоры*, написанной на этнологическую тему, законченной в январе 1875 г. и опубликованной в 1876 г., Крушевский противопоставил укоренившемуся взгляду на язык как на «продукт сознательной деятельности человека» свое убеждение, что «сознание и воля человека» оказывают на развитие языка «весьма малое влияние».

В начале варшавских студенческих лет Крушевский попытался разобраться в тексте первой университетской лекции, прочитанной в Петербурге Бодуэном в декабре 1870 г. и воспроизведенной в *Журнале Мин. Нар. Просв.* 1871 г. под заголовком «Некоторые общие замечания о языковедении и языке» (см. ИТ I, стр. 47-77), но при первом знакомстве с этим текстом глубина и широта его мыслей пришлись не по силам новичку, по его же

¹ Опубликовано в «Бессознательное. Природа, функции, методы исследования.», т. III. Тбилиси. «Мецниераба» 1978 [Примечания составителей здесь и далее отмечаются индексами. ' ; " .]

¹ — были, не выходя при этом за пределы чисто лингвистических соображений, ближе, чем кто-либо другой, к теоретическому взгляду на язык, а, с другой стороны, им незнакома абстрактность западных ученых.

позднейшему признанию. Зато пять лет спустя, учительствуя в Троицке, захолустном городке в Оренбургской губернии, и копя таким путем средства на научные занятия под руководством Бодуэна, в то время преподававшего в Казанском университете, Крушевский снова и на этот раз с чутким пониманием перечел ту же лекцию семидесятого года и в сентябрьском письме 1876 г. поведал ее автору о своем «влечении к философским, точнее, логическим воззрениям на лингвистику». Письмо откликается на бодуэновский перечень сил, действующих в языке: «Вот и не знаю, может ли что-либо иное вызвать во мне большее магнетическое тяготение к лингвистике, чем тот бессознательный характер языковых сил, который побудил Вас, как только теперь я подметил, в Вашем перечислении этих сил последовательно присовокуплять термин *бессознательный*. Мне на радость, это вяжется с мыслью, которая издавна колом засела в моей голове, а именно с идеей о бессознательном процессе вообще, с идеей в корне отличной от точки зрения Гартмана. Именно для выяснения этой разницы я принялся во время каникул за томительное и нудное изучение философии Гартмана в переработке Козлова. Сейчас, разумеется, место Гартмана заняли ученические тетради, но я надеюсь к ним еще вернуться» (см. польский оригинал письма, напечатанный Бодуэном: *Szkice*, стр. 134).

Уже в магистерской диссертации 1870 г., опубликованной в Лейпциге под заглавием *О древнепольском языке до XIV-го столетия* и защищенной Бодуэном на историко-филологическом фак. Петербургского университета, одно из основных положений гласит: «При самых даже, по-видимому, простейших процессах, совершающихся в языке, необходимо иметь в виду силу бессознательного обобщения, действием которой народ подводит все явления душевной жизни под известные общие категории» (ИТ I, 46). В петербургской вступительной лекции Бодуэна, поразившей Крушевского настойчивым упором на роль бессознательных сил, автор обозначает термином *силы* «общие факторы, вызывающие развитие языка и обуславливающие его строй и состав». В постатейном обзоре отдельные факторы большей частью выделены ссылкой на их бессознательный характер (стр. 58). Такова прежде всего «*привычка*, т.е. бессознательная память» и, с другой стороны, «бессознательное *забвение* и непонимание (забвение того, о чем сознательно и не знали, и непонимание того, что сознательно и не могли понимать), но забвение и непонимание не бесплодное, не отрицательное (как в области сознательных умственных операций), а забвение и непонимание производительное, положительное, вызывающее нечто новое поощрением бессознательного обобщения в новых направ-

лениях». Стремление к сбережению работы памяти и ее разгрузке от излишка не связанных друг с другом подробностей Бодуэн назовет в дерптском докладе 1888 г. «своего рода бессознательной (*nie'swadoma*) мнемотехникой (*Szkice*, 71). Ссылаясь на биологическую аналогию, Крушевский развивает идею учителя об исчезновении как необходимом условии развития и в своем *Очерке науки о языке* последовательно проводит мысль, что «деструктивные факторы» оказываются «в высшей степени благодетельными для языка» (главы VII, VIII). Через полтора десятилетия вопрос о забвении в качестве закономерной основы языковых преобразований, смело поставленный Бодуэном на пороге его научной деятельности, был вновь подвергнут обсуждению Арсеном Дармстетером (1846-1888) в главе «*Oubli on Catachrèse*» его пылливой семиотической книги (1886).

«Бессознательное обобщение» охарактеризовано в лекции 1870 г. (ИТ I, 38) как «*апперцепция*, т.е. сила, действием которой народ приводит все явления душевной жизни под известные общие категории», причем системы категорий языка, «связанные силою бессознательного обобщения», Бодуэн сравнивает «с системами небесных тел, обусловленными силою тяготения», если связь данной языковой единицы с родственными образованиями «забыта в чутье народа», то оно стоит особняком, пока не подвергнется влиянию со стороны «новой семьи слов или же категории форм». Бодуэн настаивает, что «чутье языка народом не выдумка, не субъективный обман, а категория (функция) действительная, положительная, которую можно определить по ее свойствам и действиям, подтвердить объективно, доказать фактами» (ИТ O, 60), причем и Бодуэн, и вслед за ним Крушевский, во имя терминологической точности предпочитают говорить не о «сознании», а именно о «чутье языка», т.е. о его бессознательном, интуитивном постижении.

Если «бессознательное обобщение, апперцепция» согласно классификации Бодуэна, «представляет в языке силу центростремительную», то «бессознательная абстракция, бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению, к дифференцированию» подлежит сравнению «с силою центробежною», и «борьба всех вышеперечисленных сил обуславливает развитие языка».

К рассмотрению всех названных сил, действующих в языке, автор возвращается — с новым упором на их бессознательный характер — в разделе «Общий взгляд на грамматику» *Подробной программы лекций*, читанных Бодуэном в Казанском университете в течение 1876-1877 учебного года (см. ИТ I, стр. 102). при-

чем в нем подвергнуты параллельному рассмотрению законы и силы — «статические, т.е. действующие в одновременном положении (состоянии) языка», а также «динамические, обуславливающие развитие языка». В связи с вопросом о влиянии книг «на язык литературно образованного народа» Бодуэн и в казанской программе 1876-77 гг. (102), и в лекции 1870 г. (58 сл.) готов признать еще одну из сил, но при этом «силу не очень могущественную», а именно «влияние на язык человеческого сознания»: «Хотя влияние сознания на язык проявляется вполне сознательно только у некоторых индивидуумов, но все-таки его последствия сообщаются всему народу и таким образом оно задерживает развитие языка, противодействуя влиянию бессознательных сил, обуславливающих в общем более скорое его развитие, и противодействуя с целью — сделать язык общим орудием объединения и взаимного понимания всех современных частей народа, равно как и предков, и потомков. Отсюда застой в известной степени в языках, подверженных влиянию человеческого сознания, в противоположность скорому и безыскусственному течению языков, свободных от этого влияния».

В учении Крушевского (1881 а 5, b 6) «язык представляет нечто, стоящее в природе особняком» в силу соучастия «бессознательно-психических явлений» (*unbewusstpsychischer Erscheinungen*), управляемых специфическими законами, и попытка характеристики этих законов, лежащих в основе языковой структуры и ее развития, была наиболее оригинальным и наиболее плодотворным вкладом безвременно ушедшего из жизни языковеда.

Что касается Бодуэна, то в начале века, в отличие от своих же ранних настоятельных ссылок на «бессознательные силы», он стал придавать все большее значение «неопровержимым фактам вмешательства сознания в жизнь языка». По его словам, «стремление к идеальной языковой норме» сопряжено «с участием человеческого сознания в жизни языка», и в частности, «при всяком возникновении языкового компромисса между разноязычными народами» неизбежно проявляется «известная доля сознательного творчества» (статья 1908 г. «Вспомогательный международный язык»: ИТ II, 1 52).

В общем же взгляд Бодуэна на психические основы языковых явлений эволюционировал в сторону сближения между сознанием и бессознательностью: в 1899 г. в конце его доклада краковскому обществу им. Коперника (см, PF 1903, 170-71) сознание уподобляется огоньку, освещающему отдельные стадии психического движения: и бессознательные (*nieświadome*) психические

процессы способны к осознанию (*uświadamianie*), но их потенциальное сознание фактически отождествимо с бессознательностью (*nieświadomość*).

К исходным положениям Бодуэна и Крушевского близко примыкают высказывания Соссюра в эпоху его женеvской профессуры: он четко размежевывает «бессознательную деятельность» (*l'activité inconsciente*) участников речевого общения и «сознательные операции» (*opérations conscientes*) языковеда (II, 310). Согласно Соссюру, «сами по себе термины а и b решительно не способны дойти до сферы сознания, тогда как самое различие между а и b постоянно воспринимается сознанием» (II, 266). Наброски вступительной женеvской лекции, прочитанной Соссюром в ноябре 1891 года, обсуждают участие волевого акта в языковых явлениях, обнаруживая и в сознательной, и в бессознательной воле (*dans la volonté consciente ou inconsciente*) ряд различных степеней. По сравнению со всеми прочими сопоставимыми актами, характер языкового акта представляется Соссюру «наименее обдуманнм, наименее умышленным и в то же время наиболее безличным из всех (*le mains réfléchi, le moins prémédité, en même temps que le plus impersonnel de tous*)». При всей широте этих различий, Соссюр в то время признавал действительность только за количественными различиями (*différence de degrés*), сводя качественные различия (*différence essentielle*) просто к укоренившейся иллюзии (IV, 6).

Значительное внимание уделил вопросу о бессознательном факторе в жизни языка основоположник американской антропологии и лингвистики Франс Боас (1858-1942), главным образом в обширном лингвистическом «Вступлении» к первой части многотомной серии *Handbook of American Indian Languages* (1911). Раздел второй главы, озаглавленный «бессознательность фонетических элементов» (стр. 23-24), открывается напоминанием, что отдельному звуку речи как таковому не дано самостоятельного бытия и что он никогда не входит в сознание говорящего, а существует лишь как составная часть звукового комплекса, передающего определенное значение. Только путем анализа отдельные звуковые элементы входят в сознание (*become conscious*). Сравнение слов, различающихся всего одним звуком, дает понять, что изоляция звуков является результатом «вторичного анализа».

К вопросу о «бессознательном характере языковых явлений» Боас возвращается в обстоятельном разделе (стр. 67-73) четвертой главы того же «Вступления», посвященной соотношению лингвистики и этнологии и замыкающей обсуждение общелинг-

лингвистических вопросов, от которых последняя, пятая глава (74-83) непосредственно переходит к «Характеристике языков американских». Вышеотмеченный тезис Соссюра о «различии в степени сознательности» между языковым строем и параллельными этнологическими укладами схож с размышлениями Боаса «об отношении бессознательного (*unconscious*) характера языковых явлений к более сознательным (*more conscious*) этнографическим явлениям». Здесь налицо, по мнению Боаса, «всего лишь кажущийся (*only apparent*) контраст; но самый факт бессознательности языковых процессов наводит нас на более ясное понимание этнологических явлений, и нельзя недооценивать важность этой связи... По-видимому, существенная разница между лингвистическими и отдельными этнологическими явлениями состоит в том, что языковые классификации никогда не проникают в сознание, тогда как прочие этнологические явления, хотя и последним большей частью присуще то же бессознательное происхождение (*unconscious origin*), часто доходят до сознания и, соответственно, дают повод к вторичным толкованиям и переосмыслениям» (67). В числе явлений, переживаемых всецело подсознательно (*entirely consciously*) индивидуумом и коллективом, показаны примеры из области верований, мод, манер и правил приличия (67-70).

Боас видел преимущество лингвистики в том неизменно бессознательном характере наличных языковых категорий, который позволяет исследовать процессы, лежащие в их основе, не рискуя поддаться превратному влиянию вторичных истолкований. Между тем в этнологии, изобилующей «вторичными объяснениями» (*secondary explanations*), таковые «в общем совершенно затемняют подлинную историю развития идей» (71).

Именно бессознательная формация грамматических категорий и их соотношений, пребывающих в языке «без необходимости вхождения в сознание», побуждает Боаса направить очередные усилия лингвистики на объективный анализ систематической группировки грамматических понятий (*grammatical concepts*), характерной для данного языка и для языков данного типа или же данного территориального сообщества: «наличие самых основных грамматических понятий во всех языках должно быть признано доказательством единства основных психологических процессов» (71). Одновременно Боас предостерегает исследователей от беспрестанных эгоцентрических усилий навязать чужеродным языкам более привычную по собственной работе ученого над близкими языками систему грамматических категорий (35 сл.). Проблематика бессознательности занимает еще

более значительное место в творчестве Эдуарда Сепира (1884-1939), самого даровитого продолжателя лингвистических и этнологических устремлений Боаса.

В подробном обзоре актуальных вопросов науки о языке *The Grammarian and His Language* (1924г.) Сепир выступил с тезисом, что «психологической проблемой, наиболее интересующей лингвиста, является внутренняя структура языка в плоскости бессознательных психических процессов» (SW. 152). Если язык располагает известными формальными приемами для выражения каузальных отношений, способность к их восприятию и передаче ничуть не зависит от способности осознать причинность как таковую. Из этих двух способностей вторая наделена сознательным, интеллектуальным характером и подобно большинству сознательных процессов требует более медленного и сосредоточенного развития, тогда как первая бессознательна и развивается рано, без каких бы то ни было интеллектуальных усилий (155). По отзыву Сепира, современная ему психология еще не была в состоянии объяснить ни образование, ни передачу потаенных (*submerged*) формальных систем, свойственных языкам всего мира. Усвоение языка, в особенности приобретение чутья к его формальной установке (*for the formal set of the language*), процесс глубоко бессознательный, может при дальнейшем изоощрении психологического анализа, пролить новый свет на понятие 'интуиции', которое, вероятно, равнозначно с 'чутьем' к внутренним отношениям (156).

В работе следующего года, поставившей вопрос о системах звуков речи, *Sound Patterns in Language* (1925 г.), Сепир доказывал, что необходимой предпосылкой понимания фонетических процессов является признание общей моделировки (*general patterning*) звуков речи. Бессознательное чутье отношений между звуками в языке возводит их в подлинные элементы самодовлеющей системы (*a self-contained system*) «символически используемых жетонов» (35). Дальнейшее развитие учения о звуковом строе языка помогло Сепиру развернуть в статье 1933 г. о «психологической реальности фонем» теорию бессознательных «фонологических интуиции» и в частности обосновать свой плодотворный тезис, подсказанный годами полевой работы над туземными бесписьменными языками Америки и Африки: не фонетические элементы, а фонемы слышит наивный член языкового коллектива (47 сл.).

Из разысканий Сепира доклад *The Unconscious Patterning of Behavior in Society*, подготовленный для симпозиума *The Unconscious*, созванного в Чикаго весной 1927 г., всех шире охва-

тил проблематику бессознательности. Автор исходит из предпосылки, что всякое людское поведение как личное, так и социальное, обнаруживает по существу одни и те же разновидности психической деятельности -- как сознательной, так и бессознательной, и что понятия социального и бессознательного друг другу отнюдь не противоречат (544) Сепир спрашивает, отчего мы склонны, хотя бы и метафорически, называть социально бессознательными те формы общественного поведения, о которых нет вразумительных познаний у рядового индивида, и в ответ на свой же вопрос он напоминает, что все те отношения между элементами опыта, которым последние обязаны своей формой и значимостью, оказываются доступны нашему чутью и нашей интуиции в большей степени, чем сознательному рассмотрению (548). Возможно, что в силу ограниченных пределов сознательной жизни всякая попытка подвергнуть даже высшие формы общественного поведения чисто сознательному контролю влечет за собой распад. Глубоко поучительна, в глазах Сепира, способность ребенка усвоить самый сложный языковой строй, тогда как необходим на редкость острый ум аналитика для определения хотя бы отдельных компонентов того неуловимо тонкого языкового механизма, которым в бессознательном процессе играючи овладевает ребенок (549).

Бессознательная моделировка (*unconscious patterning*) охватывает весь речевой склад, в том числе, наряду с непосредственно значимыми формами, инвентарь звуковых единиц и конфигураций, и принадлежит обиходу рядовых членов языкового коллектива или, согласно фразеологии Сепира, «бессознательных и крайне лояльных приверженцев сполна социализированной (*thoroughly socialized*) речевой модели». Любопытен заключительный вывод доклада. Сепир полагает, что в «нормальном обороте жизни бесполезно и даже вредно для индивида пестовать сознательный анализ наличных культурных моделей. Этим делом следовало бы поступиться в пользу ученого, чей долг — разбирать подобные модели. Здоровая бессознательность (*a healthy unconsciousness*) владеющих нами форм социализованного поведения точно так же необходима для общества, как для физического здоровья психическое неведение (или, лучше сказать. — безотчетность) деятельности внутренних органов» (588 сл.).

В последней трети прошлого и в первой трети нынешнего века вопрос о сознании и бессознательности был подвергнут разностороннему обсуждению в трудах ведущих теоретиков лингвистики, что явствует даже из кратчайшего обзора положений Бо-

дуэна, Крушевского, Соссюра, Боаса и Сепира. При всей их ценности, не подлежит сомнению необходимость уточненного пересмотра первоначальных предположений.

Лишь в последнее время лингвистика приняла к сведению «метаязыковую функцию» как одну из основополагающих словесных функций. Иначе говоря, непосредственным предметом высказываний может быть языковой код и его составные элементы. Недаром Ф.Ф. Фортунатов (1848-1914) в замечательной лекции 1903 г. на съезде преподавателей русского языка доказывал что «явления языка по известной стороне сами принадлежат к явлениям мысли» (II, 435). Метаязыковые операции составляют важную и неотъемлемую часть нашей речевой деятельности, позволяя при помощи парафразы, синонимии или же посредством эксплицитной расшифровки эллиптических форм обеспечить полноту и точность общения между собеседниками (ср. наш доклад 1956 года Американскому Лингвистическому Обществу — *Metalinguage as a Linguistic Problem*). Взамен бессознательно автоматизированных способов выражения метаязыковая функция вносит осознание речевых компонентов и их отношений, значительно суживая применимость привычного и повторенного Боасом суждения, будто «употребление языка настолько автоматически, что никогда не возникает повода для проникновения языковых понятий в сознание» и для превращения этих понятий в предмет нашего мышления (68).

В 1929 г. увлекательный ответ исследователя детской речи Александра Гвоздева на коренной, но долго остававшийся в тени вопрос, «как дети дошкольного возраста наблюдают явления языка» (см. 1961, стр. 31-46), повлек за собой богатую, однако все еще далекую от полноты серию показательных материалов на эту тему, как, например, в трудах Чуковского, Швачкина, Капера и Рут Уир. Все эти разыскания и наши собственные наблюдения свидетельствуют о настойчивой «рефлексии над речью у детей»: мало того, первичное усвоение ребенком языка обеспечивается параллельным развитием метаязыковой функции, позволяющей размежевывать приобретаемые словесные знаки и уяснить себе их семантическую применимость. «Чуть ли не каждое новое слово вызывает у ребенка толкование его значения», предупреждает Гвоздев (43) и попутно цитирует типичные детские вопросы и размышления, например, «Сдохла и околела — это одно?» — «Это про людей говорят *толстый*, а про мост говорит *широкий*» — «Убирают это значит *украшают*?» — в связи с праздничной елкой наводит вопрос двусмысленность этого глагола (40). Морфологический анализ проявляется и в детском словотворчестве и в

сознательном переводе новосозданной лексической единицы на язык ходовых словосочетаний. — Печка прорешетела». Отец: «Что?» — «Решетом стала она» (Гвоздев, 38).

Метаязыковая компетенция с двух лет превращает ребенка в критика и корректора речи окружающих (Швачкин, 127) и даже внушает ему не одно только «неосознанное», но и «нарочитое сопротивление» против «взрослой» речи: «Мама, давай договоримся — ты будешь по-своему говорить *полозья*, а я буду по-своему: *повозья*. Ведь они не *лазят*, а *возят*» (Чуковский, 62). Осознав уничижительный оттенок суффикса -ка, наблюдаемые Чуковским дети готовы протестовать против расширительного употребления этой морфемы: — «Ругаться нехорошо: надо говорить *не иголка с ниткой, а игола с нитой*». Или же: «Они *коша*, потому что хорошая; а когда она будет плохая, я назову ее *кошка*». В детском «завоевании грамматики» осознание языковых категорий порождает с одной стороны творческие эксперименты над такими замысловатыми морфологическими процессами как видовое противопоставление «*вык, вык и привык*» (Чуковский, 42), с другой же стороны любопытные результаты порождает усилие осознать связь между формой и идеей грамматического рода. «Луна это жена месяцава, а месяц сходит за мужчину»; «Стол — дядя? Тарелка — тетя!» (Гвоздев, 44). Несколько примеров того же «языкового сознания» дано у Чуковского (44). «А почему папа — он? Надо бы пап, а не папа». «Ты Таня, слуга, а Вова будет слуг». «Ты мужчин!» «Это у Муси если, — царापина, а я мальчик! У меня царап!» «Пшеница — мама, а пшено — ее деточка» (ср. принудительность грамматического рода по отношению к прилагательному принадлежности в народной детской песенке — «На бабью рожь, на мужичий овес, На девичью гречу, На мальчье просо» — со сходной, детообразной оценкой среднего рода).

Осознание голой синтаксической матрицы лежит в основе комической забавы, описанной Гвоздевым: «Мать сидит и вяжет. Отец спрашивает, кто это. Двухлетний Женя 'явно нарочито': Папа — 'Что делает?' — Пишет (пишет) — 'Что?' — Яблык. Очень доволен своими ответами». (39) Минимальный языковой компонент в свою очередь поддается детскому учету; согласно наблюдению Гвоздева (36), ребенок, услышав в разговоре слово *дошлый*, подает реплику: «*Дошлый, а можно ошибиться — дохлый*». как бы «предостерегая самого себя от смешения двух созвучных слов», разнящихся всего одним различительным знаком (*distinctive feature*).

Показательны свидетельства о сознательной наблюдательности малых детей по отношению к звукам и формам, употребляемым

сотоварищами разных возрастов, иноплеменными или же выходцами из иной диалектной среды. Наконец, крайне поучительны ссылки наблюдателей на сложный временной состав речевого репертуара малолетних детей, обнаруживающих нередко удивительную память на изживаемые или вовсе изжитые стадии собственного языкового опыта, а с другой стороны проявляющих двойное отношение к новому, едва лишь приобретенному словесному материалу, т.е. либо охоту к его широчайшему использованию, либо, напротив, недоверие и сдержанность в обращении. Например, на вопрос, почему четырехлетняя дочка, научившись правильно произносить *волк*, все-таки говорит предпочтительно *вов*, она отвечает отцу: «Так не так тяжело, не так сердито».

Активная роль метаязыковой функции, хотя и с немалыми переменами, остается в силе на всю нашу жизнь, сохраняя за всей нашей речевой деятельностью неустанные колебания между бессознательностью и сознанием. К слову сказать, плодотворная в данном случае аналогия между онтогенетическими и филогенетическими отношениями позволяет сопоставить череду смежных стадий детского речевого развития с динамикой языкового коллектива, где очередные, переживаемые изменения доступны осознанию со стороны говорящих. — Доступны, поскольку старт и финиш любого изменения неизбежно проходят сквозь стадию более или менее продолжительного сожительства, каковое налагает и на начальный и на конечный пункт развития реальные стилистические роли. Если, например, языковое изменение состоит в утрате фонологического различия, то в словесном коде эксплицитный зачин развития и его эллиптический финал временно служат двумя стилистическими вариантами общего кода, причем каждый из них доступен возможному осознанию.

Однако в нашем речевом обиходе глубочайшей основы словесной структуры остаются недоступны языковому сознанию; внутренние соотношения всей системы категорий — как фонологических, так и грамматических — бесспорно действуют, но действуют вне рассудочного осознания и осмысления со стороны участников речевого общения, и только вмешательство опытного лингвистического мышления, вооруженного строго научной методологией, в силах подойти к тайнам языкового строя. На нескольких наглядных примерах нами будет показано (см. *Structures linguistique subliminales en poésie*, в обработке 1973 г., стр. 280 сл.), что бессознательная разработка наиболее скрытых языковых принципов составляет нередко самую суть словесного искусства, как бы ни подходить к различию между взглядом

Шиллера, верившего, что поэтический опыт только начинается *mit dem Bewusstlosen*, и более радикальным тезисом Гете, утверждавшего бессознательность всего подлинно поэтического творчества и сомневавшегося в значимости всяких авторских рациональных домыслов.

Наблюдаемый лингвистами факт неотступного сочетания сознательных и бессознательных факторов в языковом опыте требует усиленной интерпретации со стороны психологов. Можно высказать надежду, что *понятие установки*, ныне развиваемое грузинской психологической школой, позволит уточнить факт постоянного соучастия двояких компонентов в любой речевой деятельности. Как учил Д.Н. Узнадзе (1886-1950), выдающийся инициатор разысканий «об экспериментальных основах психологии установки», сознательные процессы далеко не исчерпывают всего содержания психики, и кроме этих процессов в человеке совершается нечто иное, что собственно протекает вне сознания и тем не менее оказывает решающее влияние на все содержание психической жизни. Такова так называемая установка, и Узнадзе склонен думать, что без ее участия «вообще никаких процессов как сознательных явлений не существует», и для того, чтобы сознание начало работать в определенном направлении, активная установка оказывается необходима (179 сл.).

Исследуя закономерности установки, А.С. Прангишвили дал ей новое, обобщенное определение: «Установка неизменно выступает как целостная структура с постоянным набором характеристик» (56), и эта формулировка явственно близится к лингвистическому диагнозу.

Считая сознательные и бессознательные переживания соподчиненными и в равной мере необходимыми элементами внутри «единой системы их отношений», А.Е. Шерозия прилагает нам «принцип дополнительности», обоснованный Нильсом Бором, и настаивает на необходимости систематического сопоставления этих двух «коррелятивных понятий» в виду того, что «понятие бессознательного лишено смысла, если брать его независимо от понятия сознания и наоборот» (II, 8). Следуя размышлениям Узнадзе о «специфической языковой установке», Шерозия намечает путь к психологическому объяснению и диалектическому снятию лингвистических антиномий, таких как «двойственность природы слова — его индивидуальность и его всеобщность». В частности, утверждение, что наше слово «всегда носит в себе больше информации, нежели наше сознание способно извлечь из него, ибо в основе наших слов лежат наши бессознательные языковые установки» (Шерозия, II, 446), перекликается с предпо-

ложением Сепира, что в широкой мере 'реальный мир' бессознательно строится на языковых навыках каждой данной группы и что не общий мир под разными ярлыками, а скрытое различие миропонимания (*distinct worlds*) проявляется в несходстве языков (162). Тот же принцип заострен и обобщен вдумчивым учеником Сепира Б.Л. Уорфом (1897-1941), стремившимся проследить влияние расхождений в грамматическом строе языков на различие в восприятии и оценке внешне схожих объектов наблюдения.

В свою очередь с рассуждениями Сепира о необходимости ограничения сознательного анализа в речевом обиходе (см. выше) Шерозия сходится в убедительной догадке: «Если бы мы потребовали от нашего сознания, чтобы оно держало под своею властью все, что происходит в нашем языке и речи <...>, то оно было бы вынуждено отказаться от такой беспрерывной работы» (II, 453)

На «принципе связи» воздвигаемая теория целостной системы отношений между сознанием и бессознательным психическими переживаниями сулит в плане языка новые перспективы и неожиданные находки, разумеется, при условии подлинного и последовательного сотрудничества между психологами и лингвистами, направленного к изжитию двух тормозящих помех — терминологической неувязки и упрощенческого схематизма.

Литература:

- Басин Ф.Б., Проблема бессознательного (Москва, 1968).
Боас Ф. (F.Boas) «Introduction». Handbook of American Indian Languages, I (Вашингтон, 1911).
Бодуэн де Куртенэ И.Ф. (J. Baudouin de Courtenay), ИБ — Избранные труды по общему языкознанию.
Бодуэн де Куртенэ, И.А., Szkice językoznawcze, I (Варшава, 1904).
Бодуэн де Куртенэ И.А., «О psychiczych podstawach zjawisk językowych», PF — Przegląd Filozoficzny, IV (Варшава, 1903), 153-171.
Гартман Э. (Eduard v. Hartmann), Философия бессознательного, I-II (Москва, 1873, 1875). Гвоздев А.Н., Вопросы изучения детской речи (Москва, 1961).
Дармстетер А. (A. Darmesteteter), La vie des mots étudiée dans leurs significations (Париж, 1886).
Капер В. (W. Kaper), Einige Erscheinungen der kindichen Spracherwerbung im Lichte des vom Kinder gezeigten Interesses für Sprachliches (Groningen, 1959).
Крушевский Н.В. (M. Kruzewski), Заговоры как вид русской народной поэзии. //Известия Варшавского Университета (1876).

- Крушевский Н.В., Очерк науки о языке (Казань, 1883)
- Прангвишвили А.С., Исследования по психологии установки (Тбилиси, 1967).
- Сепир Э. (E. Sapir), SW: Selected Writings (University of California Press), 1949.
- Соссюр Ф. (F. de Saussure), Cours de Linguistique générale, критическое издание, ред. Р.Энглера (R. Engler), II (Висбаден, 1967), IV (там же, 1974).
- Узнадзе Д.Н., Психологические исследования (Москва, 1966).
- Уир Рут (Ruth Hirsch Weir), Language in the Crib (Гаага, 1962).'
- Уорф Б.Л. (B.L. Worf) Language, Thought, and Reality (MIT Press, 1956).
- Фортунатов Ф.Ф., Избранные труды, II (Москва, 1957).
- Чуковский К.И., От двух до пяти (Москва, 1966, 19-ое изд.).
- Швачкин Н.Х., Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, // Известия Академии Педагогических Наук. VI (Москва, 1954).
- Шерозия А.Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, I-II (Тбилиси, 1969-1973)
- Якобсон Р. (R. Jakobson), Questions de poétique (Париж, 1973).
- Якобсон Р. Metalanguage as a linguistic Problem (Budapest, 1956).

ДВА ВИДА АФАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И ДВА ПОЛЮСА ЯЗЫКАⁱ

Если считать афазию речевым расстройством, что и явствует из самого термина, то любое описание и классификация синдромов афазии должно начинаться с вопроса о том, какие именно аспекты языка оказываются поврежденными при различных расстройствах такого рода. Подступы к этой проблеме уже давно были предприняты Хьюглинсом Джексоном¹, однако ее невозможно разрешить без участия профессиональных лингвистов, имеющих представление о строении языка и его функциях.

Чтобы на должном уровне исследовать проблему распада коммуникативных структур нам следует с самого начала понять природу и устройство того вида коммуникации, в котором она прекратила исполнять свои функции. Лингвистика охватывает все аспекты языка, — его фактическое применение, исторический статус, его зарождение и разложение.²

В настоящее время ряд психопатологов придают большое значение лингвистическим проблемам возникающим при исследовании языковых нарушений,³ некоторые из этих вопросов уже рассматривались в ряде статей появившихся совсем недавно.⁴

ⁱ Написано в Истхэме, Кейп Код, 1954, опубликовано в качестве второй части книги «Fundamentals of Language» (Hague, 1956), а также в несколько другой версии в книге «Language: an Enquiry into its Meaning and Function» (New York, 1957 с посвящением Рэймону де Соссюру. [Перевод К. Чухрукидзе]

¹ Hughlings Jackson, «Papers on affections of speech» (reprinted and commented by H.Head), *Brain* XXXVIII (1915).

² Sapir, *Language* (New York, 1921), Chapter VII: «Language as a historical product; drift.»

³ См. напр., дискуссию по проблемам афазии в *Nederlandshe Vereening voor Phonetische Wetenschappen*, с докладами лингвиста J. van Ginneken и психиатров, F. Grewel и W.D. Schenk *Psychiatrische en Neurologische Bladen*, XLV (1941), p. 1035 ff: см. далее, F. Grewel, «Aphasie en linguostiek». *Nederlandisch Tijdschrift voor Geneeskunde*, XCIII (1949), p. 726ff.

⁴ А.Р. Лурия, *Травматическая афазия* (Москва, 1947); Kurt Goldstein, *Language and language Disturbances* (New York, 1948); Andre Ombredane, *L'aphasie et l'elaboration de la pensée explicite* (Paris, 1951).

Тем не менее, в большинстве случаев, несмотря на насущную необходимость признать вклад лингвистов в исследование афазии, это требование продолжают игнорировать. Например, в одной из новых книг, рассматривающей главным образом сложные и запутанные проблемы детской афазии, предложен метод согласования разных дисциплин; автор показывает, насколько необходимы в этой области совместные усилия отоларингологов, педиатров, аудиологов, психиатров и педагогов; что же касается роли науки о языке, то она настоятельно умалчивается, будто бы расстройство речевого восприятия не имеет к языку никакого отношения⁵.

Этот пробел тем более плачевен, что автором книги является директор Клиники детской аудиологии и афазии при Северозападном Университете; между прочим, среди сотрудников этого университета числится Вернер Ф. Леопольд, лучший из нынешних американских специалистов по детской афазии.

Сами лингвисты тоже ответственны за то, что совместное научное исследование афазии довольно долго не находило своего осуществления. Никто еще не проводил исчерпывающего лингвистического наблюдения за детьми-афатиками из разных стран. Не было также ни малейших попыток объяснить и систематизировать с точки зрения лингвистики многочисленные клинические данные о разных типах афазии. Такое положение дел тем более удивительно, что, с одной стороны, стремительное развитие структурной лингвистики обеспечило исследователям право пользоваться эффективными приемами для изучения речевой регрессии, а с другой, расщепление языковой структуры свойственное речи афатиков, указало новый для лингвистики способ понимания общих законов языка.

Применение чисто лингвистических критериев при истолковании и классификации афатических заболеваний может внести заметный вклад в науку о языке и языковых нарушениях; однако для этого необходимо, чтобы лингвисты сумели соблюсти такую же осторожность и компетентность при работе с психологическими и неврологическими данными, как им это удается делать в собственной сфере. В первую очередь им следует ознакомиться с техническими терминами и приемами, опробованными в разных областях медицины, изучающих это заболевание; затем, отчеты об историях болезней должны быть подвергнуты тщательному лингвистическому анализу; и, наконец, лингвисты сами должны уметь работать с пациентами, чтобы иметь дело с забо-

⁵ H. Myklebust, *Auditory Disorders in Children* (New York, 1954).

лением напрямую, а не только посредством обработки готовых отчетов, которые, вероятно, составлялись и обрабатывались вовсе с иной целью.

За последние 20 лет психиатры и лингвисты, занимающиеся проблемами афазии, достигли поразительного единодушия по поводу лишь одной сферы афатических явлений, а именно, по поводу расщепления фонологической модели.⁶

Разложение подобного рода осуществляется с четкой временной последовательностью. Афатическая регрессия может служить зеркалом процесса усвоения звуков речи ребенком: она отражает развитие речевых навыков у ребенка, но в обратную сторону. Более того, сравнение языка детей и пациентов-афатиков дает нам возможность установить ряд законов о взаимозависимости этих двух процессов. Поиск примеров прогресса и регресса в речи, а также поиск общих законов взаимозависимости этих процессов не ограничивается фонологической моделью, но распространяется также на грамматическую систему. В этом направлении было сделано лишь несколько предварительных попыток, которые, на мой взгляд, следовало бы умножить.⁷

I. О ДВОЙСТВЕННОЙ ПРИРОДЕ ЯЗЫКА.

В речи осуществляется селекция определенных лингвистических единиц, а также комбинация этих единиц в языковые единства, большей сложности. На лексическом уровне это легко заметить: говорящий подбирает слова и встраивает в предложения, сочетая их согласно синтаксической структуре используе-

⁶ Проблема опрощения фонологической модели при афазии была изучена лингвистом Маргаритой Дюран при участии психопатологов Т. Алажуанина и А. Омбредана (см. их совместную работу *Le syndrome de desintegration phonetique dans l'aphasie*, Paris, 1939), а также Р. Якобсоном (первый набросок, представленный на Международном Конгрессе Лингвистов в Брюсселе в 1939 г. — см. N. Trubetzkoy, *Principes de phonologie* (Paris 1949) pp. 317-79 — был позднее опубликован как очерк «Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze», *Uppsala Universitets Årsskrift*, 1942:9: обе работы перепечатаны в *Selected Writings*, I, The Hague, 1962, 328-401).

⁷ В клинике Боннского Университета лингвистом Г. Кэндлером и двумя врачами, Ф. Пансаном и А. Лайхнером было предпринято совместное исследование грамматических нарушений: см. их доклад *Klinische und sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Agrammatismus* (Stuttgart, 1952)

мого им языка; предложение, в свою очередь, образует высказывания.

Тем не менее, говорящий не может пользоваться полной свободой при выборе слов: он осуществляет селекцию слов (исключая редкие случаи неологизмов) из лексического хранилища, которым владеют оба — и он, и его адресат.

Специалист, исследующий приемы коммуникации, приближается к сути речевого акта как такового, только когда он допускает, что при оптимальном обмене информацией между говорящим и слушающим они оба имеют в своем распоряжении одну и ту же «картотеку готовых высказываний»: адресант при произнесении словесного сообщения выбирает одну из этих «заранее известных возможностей», адресату же полагается сделать соответствующий выбор из того же самого вокабуляра «уже предусмотренных и предвиденных возможностей»⁸.

Таким образом, для функционального осуществления речевого акта необходимо, чтобы его участники использовали общий код.

«'Did you say *pig* or *fig*?' said the Cat. 'I said *pig*,' replied Alice.»⁹ В этом странном высказывании четвероногий адресат из семейства кошачьих пытается уловить языковой выбор, осуществленный адресантом. В общем для Кота и Алисы коде, т.е. в разговорном английском, разница между взрывным и фрикативным согласным может изменить смысл сообщения, при том, что все остальные элементы сообщения не изменяются. Алиса, употребив дифференциальный признак "взрывной vs. фрикативный", отказалась от второго и выбрала первый из этих двух; в том же самом акте речи она объединяет избранный ею дифференциальный признак с другими одновременно проявляющимися признаками, такими, как емкость и напряженность звука /p/, в противовес высокой смычке /t/ и ненапряженности /b/. Таким образом, все эти атрибуты образуют пучок дифференциальных признаков, т.н. фонему. За фонемой /p/ следуют фонемы /i/ и /g/, являющие собой пучки одновременно задействованных дифференциальных признаков. Таким образом, сцепление одновременных единств и конкатенация последовательных единств — это два способа, с помощью которых мы, говорящие, комбинируем лингвистические компоненты.

Ни один из пучков — ни те, что образуют фонемы /p/ или /f/, ни такие последовательности пучков, как /pig/ или /fig/ — не могут

⁸ D.M. MacKay, *In search of basic symbols*, «Cybernetics, Transactions of the Eighth Conference» (New York, 1952, p. 183)

⁹ Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, Chapter VI.

быть изобретены самим говорящим, который реализует эти пучки в речи. Дифференциальный признак "взрывной vs. фрикативный" и фонема /p/ тоже никогда ни окажутся вне контекста. Признак смычности появляется в сочетании с другими согласующимися с ним признаками, и все возможные комбинации этих признаков в таких фонемах как /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ и т.д., ограничиваются кодом данного языка. Код накладывает ограничения на возможные комбинации фонемы /p/ с другими следующими за ней и/или предшествующими фонемными цепочками; в лексическом же фонде каждого отдельного языка потребляется лишь часть допустимых в действительности фонематических комбинаций. Даже когда другие фонематические комбинации теоретически возможны, говорящий, как правило, является лишь потребителем слов, но не их создателем. Сталкиваясь с отдельными словами, мы представляем их в качестве единиц уже существующего кода (т.е. закодированными единицами). Чтобы сразу понять слово *нейлон*, надо уже знать о значении закрепленном за данной вокабулой в лексическом коде современного английского языка.

Кроме того, в любом языке существуют стойкие словосочетания, или т.н. *фразеологизмы*. Нельзя понять значения идиомы *bow do you do* путем простого добавления друг к другу лексических компонентов; здесь целое не равно сумме частей. Словосочетания, которые в таких случаях функционируют как отдельные слова, представляют собой обычную, но все же маргинальную часть лексического кода. Чтобы понять огромное количество словосочетаний нам достаточно распознать слова-компоненты и синтаксические правила их согласования. В пределах этих законных ограничений мы свободны в выборе новых контекстов для слов. Безусловно, эта свобода относительна, и набор общераспространенных клише в значительной степени определяет наш выбор среди комбинаций. Однако нельзя спорить и с тем, что мы обладаем достаточной свободой при составлении совершенно новых контекстов, даже несмотря на сравнительно низкую статистическую вероятность их употребления.

Таким образом, комбинирование лингвистических единиц происходит соответственно шкале, определяющей уровни свободы при комбинации. При объединении дифференциальных признаков в фонемы говорящий пользуется минимальным уровнем этой свободы. В коде уже закреплены все возможные для данного языка варианты. Число вариантов среди образующих слова фонематических комбинаций четко ограничено. Она ограничивается маргинальной ситуацией образования новых слов. Со-

ставляя из слов предложения, говорящий менее зависим. И наконец, при объединении предложений в высказывания зависимость от обязательных синтаксических правил ослабевает, существенно возрастает возможность свободного выбора при создании новых контекстов, хотя опять-таки нельзя игнорировать роль многочисленных стереотипных высказываний.

Любой языковой знак предполагает два вида структурной организации (*arrangement*):

1) Комбинация: любой знак состоит из знаковых компонентов и/или встречается в комбинации с другими знаками. Это значит, что любая языковая единица одновременно функционирует в качестве контекста для более простых единиц и/или стремится к собственному контексту в пределах более сложной лингвистической единицы. Следовательно, любое возможное объединение лексических единиц создает другую группу существующую уже в качестве новой единицы высшего порядка: комбинация и контекстная композиция (*contexture*) — это две грани одной и той же операции.

2) Селекция: Селекция между альтернативными вариантами предполагает возможность замены одного варианта на другой, эквивалентный предыдущему в одном отношении и совершенно отличный от него в другом. Итак, селекция и субституция тоже представляют собой две грани одной и той же операции.

Фердинанд де Соссюр ясно осознавал фундаментальную роль, которую эти две операции играют в языке. Однако из двух функций комбинации — сцепления и конкатенации (*concurrence and concatenation*) — женеvский лингвист признавал лишь существование второй — функцию временной последовательности. Несмотря на то, что сам ученый в общем-то понимал фонему как структуру, составленную из различных дифференциальных признаков (*éléments différentiels des phonemes*), он поддался таки традиционному верованию в линейное строение языка «*qui exclut la possibilité de prononcer deux éléments à la fois*», «который исключает возможность одновременного произнесения двух элементов»¹⁰.

Для того, чтобы разграничить эти два вида структурных отношений, названных нами комбинацией и селекцией, Ф. де Соссюр решил, что первый из упомянутых нами видов соотносит элементы *in presentia* (в наличии): он связывает два или несколько реально присутствующих элемента и реальном языковом ряду, в

¹⁰ F. de Saussure, *Cours de Linguistique generale*. 2nd ed. (Paris, 1922), pp. 68 f. и 170 f.)

то время как второй вид «объединяет элементы *in absentia* (в отсутствии), в мнемоническом, воображаемом ряду». Другими словами, селекция (и, соответственно, субституция) управляет единицами сочетаемыми в коде, но не в реальном сообщении, в случае же комбинации единицы сочетаются и в коде, и в сообщении или только в реальном сообщении. Адресат воспринимает данное высказывание (сообщение) как комбинацию, составленную из отдельных частей (предложений, слов, фонем, и т.д.). выбор которых осуществляется из всех возможных компонентов языкового кода. Части, способные объединяться в контекст образуют отношение смежности, в то время как в субститутивной конфигурации знаки сочетаются в зависимости от степени сходства между ними, охватывающего эквивалентность синонимов и общего ядра антонимов.

Эти две операции (смежности и сходства) обеспечивают для каждого отдельного языкового знака две группы т.н. интерпретантов (этот весьма удачный термин ввел в употребление Чарльз Сандерс Пирс)¹¹.

Существует два вида отсылок, используемых для интерпретации знака — один отсылает к коду, другой — к контексту, кодифицированному или произвольному; при каждом из этих двух видов референций знак вступает в отношение с другой группой языковых знаков и это происходит либо посредством чередования (*alternation*) (I тип референции), либо — выравнивания (*alignment*) (II тип референции). Любая сигнификативная единица может быть заменена другими, более подходящими знаками того же кода; таким образом проявляются основные функции кода, в то время как контекстуальная функция кода определяется его связью с другими знаками в пределах той же речевой последовательности.

Компоненты любого сообщения в обязательном порядке образуют внутренние отношения с кодом, и внешние отношения — с самим же сообщением. Язык в разных его аспектах пользуется обоими видами отношений. Происходит ли обмен сообщениями, или коммуникация осуществляется односторонним образом от адресанта к адресату — для того, чтобы состоялась передача сообщения между участниками речевого акта должен существовать хотя бы один из видов смежности. Разобщенность между двумя индивидами в пространстве и времени преодолевается путем внутренней связи: между символами, которые использует

¹¹ C.S.Peirce. *Collected Papers*, II and IV (Cambridge, Mass. 1932,1934 — см. Index of subjects.).

адресант, и теми, что узнает и понимает адресат, должен существовать определенный уровень эквивалентности. Вне этого уровня произнесение сообщения не имеет смысла: получатель сообщения не реагирует на него, даже если он его воспринимает.

II. НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СХОДСТВА.

Совершенно очевидно, что речевые расстройства могут в разной степени влиять на способность индивида к комбинации и селекции языковых единиц; и действительно, вопрос о том, какая из этих двух операций главным образом поражается, имеет большое значение при описании, анализе и классификации различных форм афазии. Эта дихотомия, возможно, больше наводит на размышления, нежели классическое (в данной работе не рассматриваемое) разграничение между эмиссивной и рецептивной формами афазии, показывающее, какая из двух функций речевого обмена, кодирующая или декодирующая функция, подвергается особому воздействию болезни.

Хэд попытался распределить прецеденты афазии по классам¹² и каждой из ее разновидностей присвоить название «в целях вычленения самого заметного дефекта организации и усвоения слов и фраз» (р.412). Следуя этому принципу, мы также выделяем два типа афазии — в зависимости оттого, где располагается причина речевой недостаточности, — в области селекции и субституции, при относительной стабильности функции комбинирования и сцепления; или, наоборот, — в области комбинирования и сцепления, при относительной способности к нормальной селекции и субституции. Наметив эти две противоположные модели афазии, я буду в основном пользоваться данными Гольдштейна.

Для афатиков первого типа (дефект селекции) контекст является незаменимым и решающим фактором. Если при таком пациенте произнести обрывки слов и предложений, он без труда завершит их. Его речь есть просто-напросто реакция на раздражение: он с легкостью ведет беседу, однако, у него возникают трудности, когда нужно вступить в диалог; он способен ответить реальному или воображаемому адресанту, когда этот пациент является, или представляет, что является адресатом, принимающим сообщение. Он испытывает особенные трудности, если заставить его

¹² Head. *Aphasia and Kindred of Speech*, I (New York. 1926)

воспроизвести или вникнуть в такую замкнутую дискурсивную форму, как монолог. Чем больше его высказывания зависят от контекста, тем лучше он справляется с задачей словесного выражения. Он неспособен произнести предложение, не являющееся ответным либо на реплику собеседника, либо на реальную ситуацию. Предложение «идет дождь» недоступно для воспроизведения, если афатик действительно не видит, что идет дождь. Чем сильнее высказывание поставлено в зависимость от уже воплощенного или еще не воплощенного контекста, тем больше вероятность, что пациенты этого класса смогут с успехом его воспроизвести.

Подобным же образом, чем больше слово зависит от других слов того же предложения и соотносится с синтаксическим контекстом, тем меньше оно подвергается воздействию разложения вследствие речевых расстройств. Поэтому слова, участвующие в грамматическом согласовании или управлении, прочнее держатся в контексте, тогда как субъект, подчиняющий агент предложения, чаще всего опускается. Поскольку самой сложной процедурой для пациента является начало предложения, совершенно очевидно, что он будет испытывать сложности именно на начальной стадии, которая и есть главный пункт модели высказывания (*sentence pattern*). При этом типе языковых нарушений предложение понимается как эллиптическое продолжение других предложений, произнесенных, представленных самим афатиком, или усвоенных им от воображаемого или реального речевого партнера. При этом ключевые слова могут быть опущены или вытеснены абстрактными анафорическими субститутами.¹³ Существительное с маркированным значением, как заметил З.Фрейд, замещается самым нейтральным, например *machin* (штука), *chose* (вещь) в речи франкоговорящих афатиков.¹⁴

В диалектном немецком варианте «амнезической афазии», наблюдаемой Гольдштейном (стр. 246 ГГ.). слова *Ding* (вещь) или *Stuckel* (часть) замещали все неодушевленные существительные, а глагол *überfahren* (исполнять) фигурировал вместо глаголов, опознающихся только лишь из контекста или конкретной ситуации, и поэтому казался пациентам избыточным.

Слова, изнутри связанные с контекстом, такие, как местоимения и местоименные наречия, а также соединительные и вспомогательные слова, служащие в основном для образования контекста,

¹³ См. L. Bloomfield, *Language* (New York, 1933), Chapter XV: Substitution.)

¹⁴ S. Freud, *On Aphasia* (London. 1953). p.22.

почти никогда не выпадают из него. Типичное высказывание немецкого пациента, записанное Квензедем и цитируемое Гольдштейном (р302), может послужить прекрасной иллюстрацией:

Ich bin doch hier unten. na wenn ich gewesen bin ich wees nicht, we das, nu wenn ich, ob das nun doch, noch, ya. Was Sie her, wenn ich, och weess nicht, we das hier war ya...»

(«Я ведь тут, ну, когда я бы, я не знаю, как это, ну, когда я, а теперь это же, еще, да что Вы тут, когда я, и да ну я не знаю, как же это здесь было...»)

Итак, этот тип афазии при критической его стадии оставляет незатронутым лишь связующие функции коммуникации, ее остов.

В теории языка, еще со средних веков. часто утверждалось, что слово вне контекста не имеет значения. Истинность этого утверждения, однако, ограничивается заболеванием афазии, а точнее, одним ее типом. При патологических проявлениях обсуждаемой нами болезни отдельное слово означает не более чем просто «бряк». Как показали многочисленные эксперименты, такие пациенты воспринимают одно и то же слово, попавшее в два разных контекста варианта, как обычные омонимы. Поскольку отличные по смыслу вокабулы несут в себе большее количество информации, чем омонимы, некоторые афатики этого типа склонны замещать контекстуальные варианты одного слова разного рода обозначениями, при том что каждое из них обладает специфическим значением в зависимости от данного контекстного окружения. Так, например, пациент Гольдштейна никогда не произносил слово *нож* отдельно, но употреблял его в зависимости от контекстного окружения, поочередно называя нож то *карандашным точильщиком*, то *очистителем яблока*, *хлебным ножом*, или *ножом-вилкой* (р. 62); таким образом слово *нож* из свободной, независимо употребляемой формы превратилось в форму обязательную. «У меня хорошая квартира, холл, спальня, кухня,» говорит пациент Гольдштейна. — «Есть еще большие квартиры, только на тыльной стороне живут холостяки». Форму *холостяки* можно было бы заменить более очевидным словосочетанием *неженатые* люди. Но говорящий выбрал эту однословную форму. Когда его повторно попросили определить значение слова *холостяки* пациент не ответил, находясь по-видимому в состоянии глубокой удрученности» (р.270). Ответ типа «холостяк — это неженатый человек» или неженатый человек — это холостяк» представляет собой пример отождествляющей предикации, а значит, перенос субститутивной конфигурации из лексического кода английского языка в

контекстное пространство данного сообщения. Эквивалентные выражения фигурируют в качестве двух соотносимых частей предложения и таким образом связываются по принципу смежности. Пациент удался произнести селекцию соответственной словоформы *холостяк*, когда она подкреплялась контекстом бытового разговора о «холостяцких квартирах», однако ему не удалось задействовать в речи в качестве темы предложения субститутивную пару *холостяк = неженатый человек* из-за поврежденной способности к самостоятельной селекции и субституции. Тщетно выпрашиваемое у пациента отождествляющее предложение несет в себе довольно простое содержание: «*холостяк* — значит неженатый человек- или «*неженатый человек* зовется холостяком».

Когда пациента просят назвать объект, на который указывает или который держит в руках обследователь, возникают сложности того же порядка. Афатик с дефектом субститутивной функции не сможет дополнить указывающий или представляющий жест обследователя наименованием данного объекта. Вместо того, чтобы сказать «это [называется] карандаш», он просто сделает дополнительное эллиптическое замечание об использовании предмета: «чтобы писать». Если представлен один из синонимических знаков (как например, слово *холостяк* или указание на карандаш), то другой знак (такой, как фраза *неженатый человек* или слово *карандаш* становится избыточным и, следовательно, ненужным. Для афатика оба знака находятся в состоянии дополнительной дистрибуции: если один из них упоминается обследователем, пациент будет избегать повторения других его синонимов: высказывания типа "Я все понимаю" или "Ich weisse es schon" выражают типичную реакцию афатика. Подобным же образом изображение объекта может вызвать вытеснение наименования этого объекта из памяти больного: изображение занимает место словесного знака. Когда пациенту Лотмара показали изображение компаса, он ответил: «Да, это... я знаю к чему этот предмет относится, но я не МОГУ вспомнить техническое выражение... Да... направление... указывать направление... магнит указывает на север.»¹⁵ Таким пациентам не удается произнести операцию перемещения с индексных и иконических знаков на соответствующие словесные символы¹⁶

¹⁵ F. Lotmar. «Zur Pathophysiologie der erschwerten Wortfindung bei Aphasischen», *Shweiz. Archiv für Neurologie und Psychiatrie*, XXXV (1933). p. 104.

¹⁶ C.S. Peirce, «The icon, index, and symbol» *Collected papers*. II (Cambridge. Mass., 1952.)

Даже простое повторение слова, произнесенного обследователем, кажется пациенту излишним, и, несмотря на директивы первого, пациент не способен повторить это слово. Когда пациента Хэда попросили повторить слово «нет», он ответил «Нет, я не знаю как это сделать». Спонтанно употребляя требуемое слово в контексте своего ответа («Нет, я не знаю...»), пациент не смог воспроизвести простейшую форму отождествляющей предикации, тавтологию $a = a$: «нет» есть «нет».

Одним из важнейших вкладов в символической логики в науку о языке является подчеркивание функции различения между языком-объектом и метаязыком. Согласно Карнапу. «для того чтобы говорить о любом *объективном языке*, мы нуждаемся в *метаязыке*»¹⁷. Эти два уровня языка могут использовать один и тот же лексический резервуар; так, например, мы можем говорить на английском (как на метаязыке) об английском (как о языке-объекте) и интерпретировать английские слова и предложения посредством английских синонимов и пересказов и парафраз. Очевидно, такие операции, названные логиками металингвистическими, не являются их изобретением: их употребление нельзя ограничить сферой науки, они составляют неотъемлемую часть нашей обычной языковой деятельности. Участники диалога часто проверяют, пользуются ли они одним и тем же кодом. «Вам понятно? Вы понимаете что я имею в виду!» — спрашивает говорящий, или слушатель сам перебивает «Что вы имеете в виду?» Далее посредством замены сомнительных знаков другими знаками из того же языкового кода, или целой группой кодовых знаков, отправитель сообщения делает его более доступным для получателя сообщения.

Интерпретация одного лингвистического знака через другие, в каком-то смысле однородные знаки того же языка является металингвистической операцией, которая имеет большое значение при усвоении языка ребенком. Недавние наблюдения показали.

ⁱ В своей знаменитой работе 1867, Пирс осуществил подразделение знаков на индексные, иконические. и символические основываясь на двух дихотомиях. Одна из них — это противопоставление смежности и сходства. Индексное отношение между *signans* и *signatum* зиждется на их фактической, существующей в действительности смежности. Типичный пример индекса — это указание пальцем на определенный предмет. Иконические отношения между *signans* и *signatum* — это, словами Пирса, «простая общность по некоторому свойству», т. е. относительное сходство ощущается тем, кто интерпретирует знак.

¹⁷ R. Carnap. *Meaning and Necessity* (Chicago, 1947), p. 4

какую значительную роль играет разговор о языке при образовании словарного актива у детей дошкольного возраста.¹⁸

Обращение к метаязыку необходимо и для усвоения языка, и для его нормального функционирования. Нарушенная у афатиков «способность называния» является симптомом потери метаязыка. На самом деле, примеры отождествляющей предикации, тщетно требуемые от вышеупомянутых пациентов, являются метаязыковыми суждениями, отсылающими к английскому языку. Их можно было бы буквально перефразировать следующим образом: «В коде, который мы употребляем, имя указанного объекта — 'карандаш'»; или «в коде, который мы употребляем, слово 'холостяк' и перифраза 'неженатый мужчина' эквивалентны».

Такой афатик не может переключиться со слова ни на его синонимы или перифразы, ни на гетеронимы, т.е. эквивалентные выражения на других языках. Потеря способности к билингвизму и сведение языка к единственной его диалектной разновидности данного языка является симптоматичным проявлением этого вида нарушения.

Согласно устаревшему, но время от времени возникающему предрассудку, то, как отдельный индивид изъясняется здесь и сейчас, называется идиолектом и рассматривается в качестве единственной достоверной лингвистической реальности.

При рассмотрении этой концепции возникли следующие возражения:

«Любой человек, говорящий со своим собеседником, пытается, намеренно или неосознанно, ограничиться именно общим словарем: либо для того, чтобы угодить собеседнику, или просто быть понятным, или, чтобы наконец заставить его высказаться, он употребляет термины, понятные для своего адресата. В языке не существует такой вещи, как частная собственность: здесь все социализировано. Обмен словами, так же как и любая форма общения, нуждается по крайней мере в двух коммуникантах, идиолект же в этом случае оказывается чем то вроде неадекватного вымысла.»¹⁹

¹⁸ См. замечательные работы А. Гвоздева: «Наблюдения над языком маленьких детей», *Русский язык в советской школе* (1929); *Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка* (Москва, 1948) и *Формирование у ребенка грамматического строя русского языка* (Москва, 1949)

¹⁹ R.E.Hemphil and Stengel, «Pure word deafness», *Journal of Neurologie and Psychiatry*. III (1940), pp. 251-62.

Это заявление нуждается, однако, в одной оговорке; для афатика потерявшего способность к переключению с одного кода на другой, «идиолект» действительно становится единственной языковой реальностью. Так как он не воспринимает речь другого субъекта как адресованное ему и соответствующее его языковой модели сообщение, он чувствует примерно то же, что и один из пациентов Хэмфила и Штенгеля: «Я совершенно ясно понимаю, что вы говорите, ...я слышу ваш голос, но не слышу слов... вы будто не произносите их.»²⁰ Такой пациент считает высказывание-собеседника либо невнятной тарабарщиной, либо речью на незнакомом языке.

Как было замечено выше, элементы контекста объединяются посредством внешнего соотношения смежности, в основе же субституциональной комбинации лежит внутреннее соотношение сходства. Следовательно, для афатика с поврежденной функцией субституции и сохранившейся способностью к образованию контекстной композиции, операции по установлению сходства уступают место операциям, образующим контекст по принципу смежности. Можно предположить, что при подобных условиях любое группирование слов в зависимости от семантического значения будет основываться скорее на пространственной или временной смежности, нежели на сходстве. И действительно, эксперименты Гольдштейна подтверждают эти ожидания: пациентка этого типа, когда ее попросили перечислить названия нескольких животных, расположила их имена в том же порядке, в каком она их видела в зоопарке; подобным же образом, несмотря на указания расположить определенные предметы в зависимости от их цвета, размера и формы, она осуществила их классификацию на основе пространственной смежности домашнюю утварь, рабочие приборы и т.д. и обосновала такой род распределения, сославшись на витрину, в пространстве которой «неважно, каковы сами вещи», т.е. они вполне могут и не быть похожими, (pp. 61f, 263 ff). Та же самая пациентка пожелала назвать основные цвета — красный, желтый, зеленый и синий — но отказалась определить переходные оттенки этих же цветов (p.268f), так как в ее понимании слова не способны брать на себя дополнительные, смещающие значения, взаимодействующие со своим первичным значением на основе сходства.

Надо согласиться с наблюдением Гольдштейна, что пациенты этого типа «улавливали буквальное значение слов, но их нельзя

²⁰ Results of the Conference of Anthropologists and Linguists, Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics. VIII (1953), p. 15 (эта статья см ниже. *Selected Writings* II. pp. 554-567).

было заставить понять метафорическую вариативность этих же слов», (р.270). Однако нет оснований полагать, что образная речь для них полностью недоступна. Из двух противоположных фигур речи, метафоры и метонимии, последняя, основанная на отношении смежности, широко используется афатиками, селективные способности которых оказались поврежденными. В речи *вилка* заменяет *нож, стол — лампу, курить — трубку, есть — тостер*. Вот типичный случай описанный Хэдом: Когда пациенту не удавалось вспомнить слово «черный», он описывал его так: «То, что делают для покойника»; а потом это высказывание сокращал до единственного слова 'покойник'. (Хр. 198)

Такого рода метонимии можно охарактеризовать как перенос из ряда обычного контекста в ряд субституции и селекции: знак (напр, *вилка*), который обычно встречается вместе с другим знаком (*нож*) может употребляться вместо этого знака. Фразы типа «вилка и нож», «настольная лампа», «курить трубку» вызывают образование следующих метонимий *вилка, стол, курить*: метонимическая пара строится на соотношении между потреблением самого объекта (тост) и средством его изготовления: *есть* вместо *тостера*. «Когда носят черное?» — «Когда носят траур по умершему»: вместо того, чтобы просто назвать цвет, метонимическая комбинация указывает на причину традиционного использования цвета. Особенно удивительна последовательность, с которой один из пациентов Голдстайна избегал употребления сходных форм и использовал смежные, на просьбу же повторить определенное слово он отвечал такими метонимическими комбинациями, как, например: *стекло* вместо *окна*, или *небеса* вместо *Бога* (р.280). Если способность к селекции повреждена слишком сильно, а навыки к комбинированию, хотя бы частично, но сохранились, то речевое поведение пациента полностью определяется расположением языковых единиц по смежности: вот почему этот тип афазии мы определяем как нарушение отношения сходства.

III. НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СМЕЖНОСТИ.

Начиная с 1864 г. Хьюглингс Джексон в своих поистине новаторских работах, оказавших большое влияние на изучение языка и языковых нарушений, часто повторял:

Совсем недостаточно заявлять, что речь состоит из слов. Она состоит из слов, соотнесенных друг с другом особым образом; без

определенного взаимодействия частей, словесное высказывание являло бы собой всего лишь последовательность имен, не осуществляющих никакой пропозиции, (р. 66) ²¹ Потеря речи — это потеря навыка составлять пропозиции,... потеря дара речи не означает полной бессловесности (р. 114).
²²

Нарушение способности составлять пропозиции, или вообще объединения более простых языковых единиц в более сложные единства, сводится к одному типу афазии: противоположный тип мы обсуждали в предыдущей главе. Этот тип не имеет в виду бессловесности как таковой, так как сохранившейся единицей речи остается в основном именно слово: слово можно определить как высшую из языковых единиц, закодированных в обязательном порядке; иначе говоря, мы составляем предложения и высказывания, пользуясь словарным фондом, снабжаемым посредством кода.

Тип афазии, проявляющийся в нарушении контекстной композиции, способствует сокращению размера предложений и ограничению их пропозициональных вариантов. Перестают употребляться синтаксические правила, организующие слова в более сложные единства; потеря этой способности, называемая аграмматизмом, вызывает, согласно образному выражению Джексона, вырождение предложения в простые нагромождения слов.²³

Порядок слов становится хаотичным; узы грамматического сочинения и подчинения, будь то согласование или управление, распадаются. Как и можно ожидать, слова, наделенные чисто грамматическими функциями — союзы, предлоги, местоимения, артикли исчезают первыми; это влечет за собой появление т.н. «телеграфного стиля»; кстати, при нарушении отношения сходства, они обладают наибольшей устойчивостью. Чем меньше слово зависит от контекста с грамматической точки зрения, тем вероятнее оно сохраняется в речи афатиков с нарушением отношения смежности и тем раньше опускается пациентами с нарушением отношения сходства. Так, например, слова, являющиеся «ядерным субъектным словом», первыми выпадают из пропозиции в случае нарушения отношения сходства, и наобо-

²¹ H.Jackson, «Notes on the physiology and pathology of the nervous system» (1868), *Brain*, XXXVIII (1915), pp. 65-71.

²² H.Jackson, «On affections of speech from disease of the brain» (1879). *Brain*. XXXVIII (1915), pp. 107-102.

²³ H.Jackson, «Notes on the physiology and pathology of language» (1866), *Brain*, XXXVIII (1915), pp. 48 f.

рот, их выпадение наименее вероятно при противоположном типе афазии.

Тип афазии, разрушающей контекстную ткань предложения, влечет за собой однофразовые высказывания и однословные предложения, что обычно характерно для детской речи. Из числа более длинных предложений сохраняются лишь стереотипные, «шаблонные». При тяжелых случаях этого заболевания, любое высказывание сокращается до единственной однословной фразы. В то время как контекст продолжает распадаться, операции селекции идут своим чередом. «Сказать что такое вещь, это значит сказать на что она похожа», замечает Джексон (р. 125). Пациент, в речи которого предпочтение отдается субституциональным вариантам, ограничивает себя уподобляющими конструкциями (поскольку способность к образованию контекста у него повреждена), и его приблизительные отождествления имеют метафорический характер, в противоположность высказываниям основанным на метонимии. *Подзорная труба вместо микроскопа, или огонь вместо газового света* — это типичные примеры подобных квази-метафорических высказываний, как их определил Джексон, так как в отличие от риторических и поэтических метафор, они не осуществляют никакого намеренного переноса значения.

В обычной языковой модели слово представляет собой компонент наложенного на него контекста, т.е. предложения; в то же время оно само фигурирует в качестве контекста налагаемого на более мелкие компоненты, морфемы (минимальные единицы наделенные значением) и фонемы. Мы обсудили влияние нарушения отношения смежности на способность соединять слова в более сложные единицы. Соотношение между словом и его компонентами отражает расстройство того же порядка, хотя несколько в другом русле. Типичный признак аграмматизма проявляется в отмене флексий: появляются такие немаркированные категории как инфинитив вместо разных личных форм глагола, в языках же со склонением — употребление номинатива падежа вместо косвенных падежей. Эти дефекты вызваны частично устранением управления и согласования, частично потерей способности расчленять слова на основу и окончание. В конечном итоге, парадигма (в особенности набор грамматических падежей таких как *be — bis — him*, или временных аспектов, таких как *он голосует — он голосовал*) представляет разные проявления одного и того же семантического содержания, образующие ассоциации по принципу смежности; итак,

для афатиков, не воспринимающих отношения смежности существует еще один побудитель для отклонения таких комбинаций.

Также, как правило, слова образованные из одного и того же корня, такие как *grant* — *grantor* — *grantee* (дар — даритель — получающий дар), семантически соотносятся по смежности. Вышеупомянутые пациенты склонны к тому, чтобы опускать производные слова, либо не способны сочетать корень со словообразующим суффиксом, а сложные слова расчленять на составные его части. Часто упоминаются случаи с пациентами которые понимали и произносили такие сложные слова как *Thanksgiving* или *Battersea* (англ. топоним), но были неспособны уловить в этих словах и произнести отдельно *thanks* и *giving* или *batter* и *sea*. До тех пор, пока в языке сохраняется смысл функционирования деривации, так что с ее помощью в языковом коде осуществляется образование новых лексических единиц, среди пациентов можно наблюдать тенденцию к упрощению и автоматизации: если производное слово являет собой семантическую единицу, значение которой нельзя вывести из значения ее компонентов, то *Gestalt* (форма) слова понимается неправильно. Так:, например, афатик русского происхождения определил значение слова «мокрица» как «что-то мокрое», а точнее «мокрая погода», следуя значению корня *мокр* и суффикса *-ица*, облачающего носителя определенного свойства, как например в словах *нелепица*, *светлица*, *темница*.

Перед Второй Мировой Войны, когда фонология являлась наиболее спорной областью в науке о языке, некоторые лингвисты даже выражали сомнения по поводу того, действительно ли фонемы являются автономными частицами нашей речевой деятельности. Высказывались даже о том, чтобы сигнификативные единицы языкового кода, такие как морфемы или даже слова, являющиеся минимальными единствами с которыми мы пользуемся в течении речевого акта, тогда как просто дифференциальные единицы, такие как фонемы фигурируют в роли искусственного конструкта способствующего научному описанию и анализу языка. Эта точка зрения, вызвавшая неодобрение Сепира как «несоответствующая реальному положению дел»²⁴ остается тем не менее, полностью актуальной по отношению к определенному патологическому типу афазии: при одной из ее разновидностей которую иногда называют «атактической». слово является единственной сохраняющейся лингвистической единицей. У такого пациента имеется лишь интегральный неразложимый образ

²⁴ E. Sapir. «The psychological reality of phonemes», *Selected Writing* (Berkeley and Los Angeles. 1949). p. 46 ff

знакомого слова, все другие звуковые последовательности он либо не узнает, либо они недоступны для его понимания; бывает так, что он сливает их в знакомые слова, игнорируя при этом фонетические отклонения от установленной звуковой модели слова. Один из пациентов Гольдштейна «понимал некоторые слова, но уже не был в состоянии различить*** гласные и согласные из которых они составлены.» (стр.118). Франкоязычный афатик узнавал, понимал, повторял, а также довольно непринужденно воспроизводил слова *café* «кофе», или *parvé* «тротуар», но не был способен уловить, различить или повторить такие, в общем-то бессмысленные звуковые последовательности как *féca*, *faké*, *kéfa*, *pafé*. Если звуковые последовательности и их компоненты соответствуют фонологической модели французского языка, трудностей такого порядка вообще не существует для нормального франкоязычного адресата. Такой слушатель способен даже воспринять эти последовательности в качестве слов незнакомых ему, но по возможности вероятных для французского словаря, и по всей видимости различных по значению, так как они отличаются друг от друга либо порядком фонем, либо самими фонемами.

Если афатик уже не в состоянии разложить слово на фонемные составляющие, его владение конструкцией слова ослабевает, что сразу влечет за собой разрушение структуры фонемы и из них составленным комбинациям. Постепенная регрессия звуковой модели у афатиков обычно отражает в обратном порядке освоение фонемного уровня ребенком. Эта регрессия вызывает неразличение омонимов и обеднение словаря. Если эта двойная — фонематическая и лексическая — недостаточность прогрессирует, то последние останки языка — это однофонемные, однословные, однофразовые выражения; пациент впадает в то же состояние на котором находится ребенок на начальной фазе языкового развития, или даже на доязыковом уровне: Он доходит до т.н. *полной афазии* (*aphasia universalis*), т.е. полной потери способности к речевой деятельности и ее восприятия.

Такое различие двух функций — дистинктивной и сигнификативной — является особым свойством языка в сравнении с другими семиотическими системами. Между этими двумя уровнями языка, возникает конфликт, когда афатик с неспособностью к контекстной композиции демонстрирует склонность к отмене иерархии лингвистических единиц и сведению их шкалы до единичного уровня. Последний оставшийся уровень, — это либо класс сигнификативных ценностей, а именно слово, (как это видно по вышеупомянутым примерам), либо класс дифференциальных ценностей, т.е. фонема. В последнем случае па-

циент все еще в состоянии идентифицировать, различать и воспроизводить фонемы, но он теряет способность осуществлять то же самое со словами. Если болезнь имеет промежуточный характер, пациент опознает, различает и воспроизводит слова; согласно проницательной формулировке Гольдштейна, они «узнаются, но остаются непонятыми» (р. 90). Здесь слово теряет свои обычные сигнификативные функции и приобретает заимствованные у фонемы дифференциальные функции в их чистом виде.

IV. МЕТАФОРИЧЕСКИЙ И МЕТОНИМИЧЕСКИЙ ПОЛЮСЫ.

Виды афазии многочисленны и различны, но все они остаются в пределах этих двух описанных нами типов. Любая форма афатического расстройства состоит в более или менее тяжелом повреждении способности к селекции и субституции, или комбинации и контекстной композиции. Первый вид речевой недостаточности вызывает неспособность к металингвистическим операциям, второй же — разрушает способность к поддержанию иерархии языковых единиц. Афатик первого типа исключает из речи отношения сходства, афатик же второго — отношения смежности. Метафора является чужеродным элементом при нарушении отношения сходства, при нарушении же отношения смежности из пропозиции исчезает метонимия.

Дискурс может развиваться в соответствии с двумя различными семантическими линиями: одна тема может вести к другой либо через сходство, либо через смежность. В соответствии с тем как пациенты ищут способы наиболее релевантного выражения, через метафору или через метонимию, мы называем первый способ образования пропозиции метафорическим, а второй — метонимическим. Афазия ограничивает или полностью блокирует тот или иной из этих двух процессов — вот почему изучение афазии имеет колоссальное значение для лингвистов. В обычной речевой деятельности оба этих процесса работают безотказно, но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что под влиянием культурной модели, определенных индивидуальных черт, или особой манеры речи, преимуществом пользуется либо один, либо другой из этих двух процессов.

Во время хорошо известных психологических тестов, детям предъявляют какое-нибудь существительное и просят их выра-

зять в словах самое первое впечатление, которое придет им в голову. Этот эксперимент неизменно демонстрирует два противоположных вида языковых предпочтений: ответ представляет собой либо субститутивную замену слова-побудителя, либо дополнение к нему. В последнем случае слово-побудитель и слово-реакция образуют вместе правильную синтаксическую конструкцию, чаще всего целое предложение. Две эти реакции были обозначены как субститутивная и предикативная.

На слово-побудитель *hut* (хижина) были даны следующие ответы — *burnt out* (сожженная), и *poor little house* (маленькая лачуга). Оба этих ответа являют собой предикации; но первый создаст просто нарративный контекст, второй же — демонстрирует двойную связь с подлежащим *hut*: с одной стороны, позиционную (точнее, синтаксическую) смежность, с другой — семантическое сходство.

То же слово-побудитель вызвало следующие субститутивные ответы: тавтологический вариант *hut*; синонимы *cabin* и *hovel* (хибара); антоним *palace* (дворец), и метафоры *den* (логово) и *burrow* (нора). Способность двух слов заменять друг друга являет собой пример позиционного сходства, кроме того, все эти ответы связаны со словом-побудителем посредством семантического сходства (или контраста). Метонимические ответы на то же слово-побудитель, такие как *thatch* (солома), *litter* (мусор), или *poverty*, совмещают или противопоставляют позиционное сходство и семантическую смежность.

Манипулируя этими двумя видами согласования (сходством и смежностью) в обоих аспектах (позиционном и семантическом) — производя их селекцию, комбинацию и классификацию — индивид проявляет свой собственный языковой стиль, свои языковые пристрастия и предпочтения.

Особенно явно выражено взаимодействие этих двух элементов в художественном творчестве. Богатый материал для изучения этих взаимоотношений можно найти среди моделей стихового дискурса, который в обязательном образом нуждается в параллелизме стиховых рядов, как например в Библейской, финской, и, в какой-то степени, в русской устной поэтической традиции. Этот материал формирует объективные критерии приемлемый для данного языкового сообщества. Каждый из этих двух видов отношений (смежность, сходство) может появиться на любом языковом уровне — морфемном, лексическом, синтаксическом, или фразеологическом — при чем в любом из двух своих аспектов. В зависимости от этих вариаций расширяется диапазон возможных конфигурации. Любой из полюсов притяжения мо-

жет преобладать в той или иной степени. Например, в русских лирических песнях превалируют метафорические конструкции тогда как в героическом эпосе доминирует метонимия.

Существует ряд мотивов определяющих выбор между этими двумя альтернативными способами согласования. Давно известно, что литературные школы романтизма и символизма оказывали предпочтение метафорическому способу выражения: тем не менее еще недостаточно осознали тот факт, что на самом деле именно доминирование метонимических конструкций лежит в основе и предопределяет т.н. «реалистическое» направление. «Реализм» представляет собой промежуточный этап между упадком романтизма и истоком символизма, и является при этом противоположным по духу обоим направлениям. Выбирая прием согласования по смежности, автор-реалист именно с помощью метонимии отклоняется от фабулы к описаниям обстановки, или от персонажей к описанию пространственно-временного. Такой автор склонен к обильному употреблению синекдохических деталей. В сцене самоубийства Анны Карениной Толстой направляет свой писательский глаз на дамскую сумочку героини; а в *Войне и мире* Толстой использует две синекдохи, «усики на верхней губе» и «голые плечи» для описания двух женских характеров.

Чередующееся преобладание этих двух процессов ни в коем случае не ограничивается словесным искусством. Такое же колебание имеет место в других неязыковых знаковых системах.²⁵

Тем не менее исчерпывающее исследование решающей проблемы двух противоположных процессов все еще впереди. Примечательным примером из истории живописи является явная ориентированность кубизма на метонимию, в которой объект трансформируется в конфигурацию синекдох: художники сюрреалисты выбрали откровенно метафорическую позицию. Со времен постановок Д.У. Гриффитта. киноискусство, с его доведенными до совершенства приемами для перемены угла зрения, перспективы, и фокуса «кадров», порвало с театральной традицией; кино имело в активе бесчисленное количество синекдохических «крупных планов» и метонимических «мизансцен». В

²⁵ Я отважился на несколько обзорных замечаний по поводу метонимических оборотов и словесно-художественном творчестве. («Pro realizm u mystectvi», *Vaplite*, Kharkov, 1927. No. 2. «Randbemerkungen für Prosa ties Dichters Pasternak», *Slavische Rundschau*, VII, 1935), и живописи (Искусство, Москва, Авг. 2, 1919), и кино («Upadek filmu?» *Listy pro umeni a kritiku*. I. Prague. 1933).

кинофильмах Чарли Чаплина и Эйзенштейна ²⁶ эти приемы были вытеснены новым, метафорическим «монтажом» с «переходными наплывами» — исполняющими в кино ту же роль, что и литературные сравнения.²⁷

Двухполюсность структуры языка (а также других семиотических систем), а в афазии сосредоточенность на одном из этих полюсов с устранением другого нуждается в систематическом сравнительном изучении. Удерживание какого-нибудь из этих двух переменных действующих полюсов можно было бы сравнить с преобладанием того же полюса в определенных направлениях искусства, индивидуальных языковых привычках, текущей языковой моде и т.д. Тщательный анализ и сравнение этих явлений вместе с общими симптомами соответствующего типа афазии является настоящей задачей, которая должна быть совместно предпринята специалистами по психопатологии, психологии, лингвистике, поэтике, и общей науке о знаках — семиотике. Рассматриваемая нами дихотомия имеет решающее значение и является следствием всех возможных проявлений нашей речевой деятельности, а также любой человеческой деятельности в целом.²⁸

Чтобы наметить пути возможного сравнительного исследования, мы выбрали пример из русской сказки, в которой вышеупомянутый параллелизм используется в качестве комического приема: «Фома холост; Ерема неженат». Здесь предикаты в двух параллельных предложениях соотносятся по сходству: они фактически — синонимы. Подлежащие обоих предложений — мужские собственные имена, а следовательно сходны друг с другом с морфологической точки зрения, тогда как с другой стороны они обозначают имена лиц совмещаемых одной и той же сказкой, исполняющих в сказке тождественные действия, и таким образом подтверждающих использование синонимической пары предикатов. Несколько видоизмененная версия той же конструкции встречается в известной свадебной песне в которой к каждому гостю обращаются поочередно по имени и отчеству: «Глеб холост; Иванович неженат.» Хотя оба предиката в данном

²⁶ См. его замечательное эссе «Дикенс. Гриффит и мы»: С. Эйзенштейн, *Избранные статьи* (Москва, 1950), стр. 153 и далее.

²⁷ См. В. Balazs, *Theory of the Film* (London, 1952).

²⁸ О психологических и социологических аспектах этой дихотомии см. воззрения Бейтсона на «прогрессирующую» и «селективную интеграцию», а также взгляды Парсонса на «дихотомию связь-разделение» в развитии ребенка: J. Ruesch and G. Bateson, *Communication, the Social Matrix of Psychiatry* (New York, 1951), pp. 183 ff.; T. Parsons and R. F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Glencoe, 1955), pp. 119 f.

случае синонимичны, отношения между двумя подлежащими изменяется: оба являются собственными именами отсылающими к одному и тому же человеку и употребляются обычно связано, в качестве вежливого обращения.

В цитате из народной сказки, два параллельных предложения относятся к двум разным фактам, к брачному статусу Фомы и Еремы. В словах же свадебной песни, два предложения синонимичны; они являются избыточным повторением информации о безбрачии одного и того же лица, расщепляя это лицо на 2 вербальные ипостаси.

Русский романист Глеб Иванович Успенский (1840-1902) в последние годы своей жизни страдал от душевной болезни, симптомы которой проявлялись в поражении речевых способностей. Его имя и отчество, *Глеб Иванович*, традиционным образом связываемые во время вежливого к нему обращения, расщепились в его сознании на два отдельных имени, отсылающих к двум разным субъектам: Глеб был наделен всеми его добродетелями, Иванович же, имя указующее на связь сына с отцом, стал воплощением всех пороков Успенского. С лингвистической точки зрения причиной такого раздвоения личности является неспособность пациента употреблять сразу 2 символа обозначающие одну и ту же вещь; таким образом, этот вид болезни проявляется в нарушении отношения сходства. Поскольку оно взаимосвязано со склонностью к метонимии, исследование стиля молодого Успенского представляет собой особый интерес. И вот работа Анатолия Камегулова, который занимается анализом стиля Успенского, подтверждает наши теоретические ожидания. Он показывает, что Успенский питал особое пристрастие к метонимии, особенно к синекдохе, и что использование ее Успенским заходит так далеко, что, «подавленный множеством сваленных в словесном пространстве деталей, читатель физически не в состоянии воспроизвести в своем сознании целое. Портрет для него пропадает».²⁹ Вот одно из описаний цитируемых в монографии:

«Из под соломенного состарившегося картуза, с черными пятном па козырьке, выглядывали две косицы наподобие кабаньих клыков; разжиревший и отвисший подбородок окончательно распластывал потные воротнички коленкоровой манишки и толстым слоем лежал на аляповатом воротнике парусиновой накидки, плотно застегнутой у шеи. Из-под этой накидки взорам наблюдателя выставлялись массивные руки с кольцом, въевшимся в жирный палец, палка с медным набалдашником, значительная выпуклость желудка и присутствие широчайших панталон, чуть не

²⁹ А. Камегулов, *Стиль Глеба Успенского* (Ленинград, 1930), сс. 65, 145.

кисейного свойства, в широких концах которых прятались носки сапогов.»

Разумеется, метонимический стиль Успенского был обусловлен обязательными критериями того времени, «реализмом» конца 19-ого века; но индивидуальные наклонности Глеба Ивановича сделали манеру его письма еще более соответствующей вышеупомянутой литературной традиции в крайних ее проявлениях и в конечном итоге оставили отпечаток и на речевом аспекте его душевной болезни.

Конкуренция между двумя этими приемами проявляется практически в любом процессе символизации, интрасубъективном или социальном. Так, например, при исследовании структуры слов, решающим вопросом является то, как построены используемые символы и временные последовательности, на отношениях смежности («метонимическое смещение» и «синекдохическая конденсация» у Фрейда), или на отношениях сходства («тождество и символизм» у Фрейда).³⁰ Каноны лежащие в основе магических ритуалов Фрейзер разложил на два вида: заклинания основанные на правилах сходства и те, что основаны на связях смежности. Первая из этих двух ответвлений гипнотической магии называется «гомеопатической» или «подражательной», вторая же — «магией передающейся».³¹ Это разделение весьма показательно. Тем не менее, в большинстве случаев, проблема двух полюсов не пользуется должным вниманием, несмотря на широкую распространенность по разным областям и важности для изучения любой символической деятельности, особенно языка и его нарушений. Каковы же основные причины такого пренебрежения?

Уподобленность по значению соединяет символы метаязыка с символами того языка, к которому они отсылают. Сходство соединяет метафорический термин с тем термином, который последний замещает. Следовательно, занимаясь реконструкцией метаязыка в целях истолкования тропов, исследователь владеет большим количеством однородных средств для интерпретации метафоры³², тогда как метонимия, основанная на ином принципе согласования, с трудом поддается интерпретации. Именно поэтому количество литературы по метафоре не сравнимо с количеством работ по метонимии. По той же причине, тесная связь романтизма с метафорическим мышлением является об-

³⁰ S.Freud, *Die Traumdetung*, 9th ed. (Vienna, 1950).

³¹ J.G.Frazer, *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*, Part I, 3rd ed. (Vienna, 1950),chapter III.

³² C.F.P. Stutterheim, *Het begrip metaphoor* (Amsterdam, 1911)

щепризнанным фактом, тогда как такие же тесные связи реализма с метонимией не сразу бывают замечены. И не только пристрастия исследователей, но сами объекты исследований являются причиной того предпочтения, которое оказывается изучению метафоры в сравнении с изучением метонимии. В виду того, что внимание поэзии сосредоточено на знаке, а проза (преследующая в основном практические интересы) — на референте, тропы и другие фигуры изучаются главным образом в качестве поэтических приемов. В основании поэзии лежит отношение сходства; метрический параллелизм строк, или фонические эквиваленты рифмующихся слов поднимают проблему семантического сходства и контраста; существуют, например, грамматические и антиграмматические рифмы, но практически нет аграмматических рифм. Проза, напротив, развивается основываясь на отношении смежности. Таким образом, метафора в поэзии, а метонимия в прозе составляют ряды наименьшего сопротивления; вот почему изучение поэтических тропов направлено главным образом на исследование метафоры. В таких исследованиях реальная двухполюсная система искусственно замещается однополюсной, недостаточной схемой, которая, тем не менее совпадает с одной из двух афатических моделей, а именно с нарушением отношения смежности.

К ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ АФАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ¹

В 1907 Пьер Мари открыл дискуссию по проблемам афазии скромным заявлением: «N'étant malheureusement pas du tout psychologue, je me contentai de parler ici en médicalement observé de faits médicaux» (Мари, 1962).¹ Здесь *mutatis mutandis* я хотел бы использовать ту же самую формулировку: как простой лингвист, не сведущий ни в психологии, ни в медицине, я ограничусь строго лингвистическим рассмотрением одних только лингвистических фактов. Первая фундаментальная работа по афазии *Заметки по психологии и патологии языка*, написанная около столетия назад Хюглингом Джексонем (*Notes on Physiology and Pathology of Language*, Hughlings Jackson), имеет знаменательный подзаголовок «Наблюдения за теми случаями заболевания нервной системы, при которых дефект выражения является наиболее ярким симптомом» (см. Jackson, 1958, стр. 121). Поскольку дефекты словесного выражения, так же, как и само словесное выражение, явно принадлежат к сфере лингвистики, ключ к наиболее «ярким симптомам» афазии можно найти лишь руководствуясь лингвистикой и пользуясь ее достижениями.

Перед нами стоит важнейший вопрос: какие категории речевых знаков, и знаков вообще, оказываются пораженными? Это лингвистический вопрос, или, в более широком смысле, семиотическая проблема, если вслед за Чарльзом Пирсом (см. 1932, стр. 134) мы понимаем под семиотикой общую науку о знаках, в основании которой лежит лингвистика — наука о речевых знаках. Джексон (см. 1958, стр. 159) также рассматривал афатические нарушения в этом, более широком, плане и поэтому предпочитал термин *аземазия*, изобретенный Гамильтоном. Поскольку семиотические черты афазии, в Пирсовом смысле этого прилагательного, составляют «наиболее яркий симптом» заболевания, они семиотичны так же и в медицинском смысле этого слова.

¹ Доклад представлен на симпозиуме по речевым расстройствам Фонда Сиба, 21 мая, 1963 [Перевод К. Голубович]

¹ К сожалению, совсем не будучи психологом, я удовлетворюсь здесь тем, что буду говорить как медик, который с медицинской точки зрения рассматривает медицинские факты.

Лингвисты могут только согласиться с Джексоном, что патология языка, будучи далеко не случайным повреждением, подчиняется набору правил и что правила, лежащие в основе регрессии языка, не могут быть обнаружены без последовательного использования лингвистической методологии и техники. Языковые расстройства имеют свой собственный строй и требуют систематического лингвистического сравнения с нашим нормальным речевым кодом.

Если, как утверждает Брэй (1961, стр. 51), лингвистика действительно является «самой недавней областью исследований по афазии», то такая неторопливость, вредная как для науки о языке, так и для науки о языковых расстройствах, легко находит себе историческое объяснение. Исследование афазии нуждается в структурном анализе языка, однако выработка такого анализа осуществилась только на позднейших стадиях развития лингвистической науки. Фердинанд де Соссюр еще полвека назад понимал, что в афазии любого типа «au dessus du fonctionnement des divers organes il existe une faculté plus générale, celle qui commande aux signes, et qui serait la faculté linguistique par excellence»². Тем не менее, прежде, чем стало возможным установить, каким образом и до какой степени повреждается эта способность, надо было пересмотреть все компоненты языка всех уровней сложности, принимая во внимание их лингвистические функции и взаимосвязи. Примечателен тот факт, что в 1878 г. два великих первооткрывателя — польский лингвист Бодуэн де Куртенэ (1881) и невролог из Лондона Джексон (1958, стр. 156) совершенно независимо друг от друга опровергли представление о мгновенном переходе от слов (или морфем, наименьших грамматических единиц) «к артикулятивному движению, физическому состоянию», описывая это как «непозволительный в лингвистических операциях паралогический скачок» (Бодуэн) и как «заблуждение», «закрывающее действительные проблемы» и «незаконное в медицинском исследовании» (Jackson).

Можно наблюдать параллельное развитие лингвистики и медицины в их попытках найти выход из создавшегося тупика. Около пятидесяти лет спустя на Первом международном конгрессе славистов (Прага, 1922), а также в двух вступительных сборниках *Travaux du cercle Linguistique de Prague* (1929), посвященных этой ассамблее, было выдвинуто требование систематического

² За функционированием различных органов стоит более общая способность — та, что управляет знаками и которая является лингвистической способностью *par excellence*.

фонологического исследования, которое бы последовательно соотносило звук и значение.

Одновременно с этим на ежегодной встрече Немецкого Неврологического Общества в Визбурге, Уолперт (1929) оспаривал возможность разведения *Wortklangverständnis* (понимание звучания слова) и *Wortsinnverständnis* (понимание смысла слова) при исследовании афазии. Специалисты по расстройствам речи не замедлили обратить внимание своих коллег на быстрый прогресс новой лингвистической дисциплины. Таким образом, например, на Шестом конгрессе Французского Фониатрического Общества Дж. Фромент и Э. Пичон подчеркнули важность фонологии для исследования речевых афатических нарушений (*Rapport*, 1939). Фромент проиллюстрировал свой тезис, применив фонологический критерий к больному моторной афазией: «Ce n'est pas phonétiquement qu'il c'est apauvri, c'est phonologiquement. Il peut être comparé à un pianiste, qui, ayant à sa disposition un bon clavier et tout ses doigts, aurait perdu la mémoire ou presque toute mélodie, et qui plus est, ne saurait même pas reconnaître ses notes».³

Первые шаги в направлении совместного исследования речевых афатических расстройств были предприняты датскими лингвистами и психоневрологами. Они обсуждали общие проблемы на специальной конференции в Амстердаме в 1943г., на которой невролог Бернард Брауэр указал на необходимость основных фонологических концепций для исследования афазии. И именно использование этих концепций помогло проиллюстрировать то, что Джексон и Фрейд (1953) понимали под тесной связью между функциональной ретроградной амнезией и развитием языковой модели, подтверждая, таким образом, мнение Джексона, что при повреждениях мозга ранние приобретения более сильны и устойчивы, чем те, что добавились позднее.

В работах Лурии (1947) и Гольдштейна (1948) мы встречаем первые попытки неврологов систематически использовать принципы современной лингвистики при анализе афатических нарушений. Когда, например, Лурия говорит, что при так называемой сенсорной афазии нарушение слуховых восприятий на деле сводится к распаду фонологической восприимчивости, то весь синдром этого нарушения подпадает под чисто лингвисти-

³ Обедняется не его фонетика, а именно его фонология. Его можно сравнить с пианистом, который, имея в своем распоряжении прекрасную клавиатуру и пальцы, потерял бы память или забыл мелодию и даже не смог бы вспомнить ее ноты.

ческий анализ. И эта монография, базирующаяся на огромном клиническом материале, и последние работы Лурии, в которых проявляется все большее лингвистическое мастерство и все большая ориентация на науку о языке, дают нам прочное основание для объединенного медицинского и лингвистического исследования языковых патологий. Специалисты по патологии должны объединиться со специалистами по языку, чтобы справиться с этой важной задачей и искоренить остатки того «хаоса», который выявил Хэд среди современных взглядов на афазии (1926).

В своем недавнем обзоре лингвистических проблем, связанных с исследованием афазии, московский лингвист Иванов (1962) подчеркивал, что прежде всего нам нужно иметь больше образцов спонтанной, свободной речи пациентов, тогда как сейчас нашим обычным, а часто и нашим единственным, материалом являются медицинские тесты и собеседования, которые, скорее, демонстрируют металингвистические операции пациента, чем ненавязанные ему, привычные высказывания. Приходится добавить, что некоторые из этих тестов не отвечают даже элементарным требованиям лингвистической методологии. Если тот, кто проводит эксперимент, недостаточно ознакомлен с наукой о языке, он дает искаженное толкование фактов, в особенности, если критерий его классификации заимствован из устаревших школьных грамматик и никогда не подвергался тщательной лингвистической проверке. Статистика, отталкивающаяся от подобных классификаций, может запутать исследование афазии.

Один подход к исследованию речевой патологии находится в противоречии с лингвистической реальностью — это та гипотеза, что при афазии языковые нарушения могут рассматриваться как единое общее афатическое расстройство с предположительно непохожими типами афазии, представляющими различия скорее в степени нарушения, чем в его качестве. Любой лингвист, имевший возможность рассматривать различные варианты афатической речи, может только подтвердить и поддержать взгляды тех неврологов, психиатров и психологов, которые все яснее видят в этом именно качественное разнообразие афатических форм. Лингвистический анализ этих форм необходимо ведет к определению единых и ясных синдромов так же, как к их структурной типологии. Лингвистические ошибки, совершенные приверженцами унитарной ереси, не позволили им распознать различные речевые ошибки больных афазией.

**Первая дихотомия:
Кодирующие (Комбинация, Смежность) расстройства /
Декодирующие (Селекция, Сходство) расстройства**

В основе нашего речевого поведения лежат две операции: *селекция* и *комбинация*. Крушевский в *Очерке о науке о языке*, опубликованном восемьдесят лет назад (1883) и до сих пор имеющем жизненно важное значение, связывает эти две операции с двумя моделями отношений: селекция основана на сходстве, а комбинация на смежности. Моя попытка исследовать этот двойственный характер языка и применить его к исследованию афазии, размежевав два типа нарушений, обозначаемых как «расстройство отношения сходства» и «расстройство отношения смежности» (Якобсон и Галль, 1956), встретила обнадеживающую поддержку специалистов по диагностике и лечению афазии. В свою очередь, их обсуждение этой дихотомии заставило меня понять, что разделение афазии на расстройства отношений сходства и смежности тесно связано с классической моторно-сенсорной дихотомией. Согласно Осгуду и Мирону (1963, стр. 73), «соответствие в афатических синдромах между этими двумя дихотомиями» рассматривалось Дж. Уэпманом (ср. так же Fillenbaum, Jones and Mayer, 1961); верификационные эксперименты привели Гудгласса (Goodglass and Mayer, 1958; Goodglass and Berko, 1960) к схожему выводу; обе дихотомии были четко объединены Лурией (1958, стр. 17, 27).

Прежде чем обсудить неразрывное единство этих двух разделений, которое требует объяснения, давайте приведем примеры их лингвистического соотношения. Мы все знаем, насколько неточны, односторонни и поверхностны традиционные термины «моторная» и «сенсорная» афазия. Тем не менее, если синдром, характеризующий данный тип афазии, может быть описан недвусмысленным образом, чисто конвенциональная система обозначений безобидна, пока мы осознаем, что это не больше чем конвенция. Предлагалось несколько терминологических замен. Прилагательные «экспрессивная» и «импрессивная» имеют слишком много значений; в частности, в лингвистике они используются в совершенно другом смысле. Обозначения «эмиссивная» — «рецептивная» яснее; однако нарушение внутренней речи, важное следствие моторной афазии, вряд ли можно подвести под название «эмиссивная афазия». Термины «кодирующие» и «декодирующие нарушения» точно обозначают типы повреждений. Они могут употребляться с возможным до-

полнением: «преобладающе кодирующие» и «преобладающе декодирующие», поскольку нарушения в одном из двух процессов кодировки в целом влияют также и на другой процесс. Это в особенности верно для декодирующих нарушений, которые влияют на кодирующий процесс гораздо больше, чем кодирующие на декодирующие. Примерами большей автономности декодирующих процессов могут служить чисто пассивное владение иностранными языками или то, что не умеющий говорить ребенок способен улавливать речь взрослых людей. Очень поучительны патологические случаи. Леннеберг (1962) наблюдал и описал случай с восьмилетним мальчиком, который научился понимать язык несмотря на врожденную неспособность к воспроизведению речи.

Классическая моторная (*alias* Брокковская) афазия — это основная разновидность кодирующих нарушений; соответственно, т. н. сенсорная (*alias* Берниковская) афазия — основная форма декодирующих нарушений. Поскольку именно превосходное описание шести типов афатических синдромов, сделанное Лурией, послужило отправной точкой для моей лингвистической интерпретации, то в этом докладе я буду следовать за Лурией в том, что касается обозначений этих шести типов, хотя даже сам Лурия, как и все мы, конечно же, согласен с Куртом Гольдштейном в том, что любая терминология, используемая в настоящее время, «в некоторой степени запутана» и «не отдает должного той сложности и разнообразию модификаций языка, которые встречаются у пациентов» (1948, стр. 148).

Традиционная афазия Брока, названная Лурией «эфферентной», или «кинетической», четко противопоставляется сенсорной афазии Вернике; одна представляет собой наиболее типичное расстройство смежности, другая — наиболее явное расстройство сходства. Комбинация повреждается при эфферентной афазии. На фонологическом уровне это означает трудности при употреблении фонемных пучков, трудности при воспроизведении слогов и трудности при переходе от фонемы к фонеме и от слога к слогу. Просодические черты (например, русское ударение, норвежская высота тона и чешское количество гласного звука) затрагиваются потому, что они вовлечены в слоговой Контекст. Существуют сложности при формировании последовательности, отраженные в вынужденных фонемных ассимиляциях. Фрай (1959) приводит типичный пример. Пациент при чтении последовательности слов: *wood, kick, wear, feet* (лес, ударить, носить, ноги) заменил на *w* начальную согласную четных слов, по образцу нечетных. Подобным ухудшениям в фонематических

образованиях сенсорная афазия противопоставляет неспособность употреблять определенные фонемные составляющие; отдельные различительные признаки, такие, например, как консонантная оппозиция низкий/высокий или глухой/звонкий, теряются.

На уровне значимых единиц при эфферентном типе афазии дефект прежде всего грамматический, а при сенсорном типе — лексический. Двигательный аграмматизм Гольдштейна (1948, стр. 81), или подлинный аграмматизм, как формулирует это Алажуанин (1956, стр. 16), действительно является наиболее типичным проявлением афазии. Поэтому так называемые «малые инструменты языка» — союзы, артикли, местоимения, — которые служат для сцепления грамматического контекста, остаются неповрежденными при сенсорном расстройстве, а в случае эфферентной афазии повреждаются первыми. Зависимость — это основное синтаксическое отношение; таким образом, при аграмматизме с его «телеграфный стилем» всевозможные зависимые слова — наречия, прилагательные, личные формы глаголов — теряются. При эфферентной афазии «упразднение предикатов, представляющее собой полную потерю способности составлять предложения» Jackson, 1958, стр. 60) есть, тем не менее, лишь сфокусированное выражение общей тенденции к упразднению любого синтаксического порядка. Вполне естественно, что из двух типов синтаксического подчинения, управления и согласования, последний несколько более устойчив в расстройствах отношения смежности при эфферентной афазии, поскольку согласование — это последовательная зависимость, которая привлекает так же и грамматическое сходство, тогда как управление построено на чистой смежности. В итоге речь сводится к корневым, независимым друг от друга словам — существительным и именным формам глагола — в голофрастическом их использовании. При сенсорной афазии, напротив, грамматическое подлежащее, единственный член предложения, который не зависит от контекста, легко теряется, поскольку основным условием его появления является скорее селекция, чем комбинация. Это ключевое слово синтаксической конструкции и чаще всего (а в некоторых языках даже обязательно) подлежащее отмечает начало синтаксической конструкции. Обеднение существительных, тенденция заменять их обобщенными местоименными субстантивами, а так же неспособность использовать синонимы и антонимы — симптомы ярко выраженного расстройства отношения сходства. Расстройство может вызвать нарушения в процессе нахождения слова или фонемы. Оба вида нарушений могут усиливать друг друга, по мы вряд ли сможем

вывести один из этих двух лингвистических уровней нарушения из другого — т.е. мы не могли бы проследить дезинтеграцию речевого кода вплоть до дезинтеграции кода фонологического (ср.: Critchley, 1959, стр. 289).

Похожим образом и морфология выявила заметный контраст между эфферентными и сенсорными нарушениями. В языках с богатой флективной системой, таких, как русский или японский (ср. Panse and Shimoyama, 1955), эфферентная афазия сказывается в значительном недостатке суффиксов. Даже в английском с его скудными грамматическими окончаниями наблюдается атрофия окончаний, особенно тех, «что выражают синтаксические отношения» (Goodglass and Hunt, 1958). У эфферентных афатиков, которых опрашивали Гудглас и Хант, распад трех фонетически тождественных окончаний — *z* с его автоматическим чередованием *iz* и *s* — представляет собой важную иерархию, подчиняется очень жесткому принципу и отвечает за порядок их разложения. Чем выше уровень грамматической конструкции, тем ближе она к разрушению. Предложение повреждается первым и потому окончание третьего лица единственного числа, которое выделяет субъектно-предикатные отношения (напр., *John dreams* (Джон спит) наименее жизнеспособно. Окончание притяжательного падежа (*John's dream* (сон Джона), выделяющее отношение внутри словосочетания, несколько более устойчиво. Слово — последняя из трех разрушаемых конструкций; отсюда окончание множественного числа у существительных (*dreams* (сны), не зависящее ни от предложения, ни от словосочетания, затрагивается меньше всего.

Тогда как при эфферентной афазии лексические корневые морфемы более жизнеспособны, чем грамматические морфемы (аффиксы) и грамматические слова (в особенности местоимения), при сенсорной афазии дела обстоят противоположным образом. Как указывали Бин (1957, стр. 93) и Лурия (1958, стр. 20), пациенты с этой формой афазии «теряют способность понимать корни слов», тогда как суффиксы «обычно остаются гораздо более понятными». Бин, кроме того, отмечает кардинальную роль местоимений в речи этих пациентов. Можно отметить, что слова с одним и тем же корнем, но с различными суффиксами связаны семантической смежностью (напр., *editor-edition-editorial-editorship* — редактор-редакция-редакторский-редакторство). Таким образом, пациенты с расстройством отношений сходства различают скорее суффиксы, чем корни, тогда как пациенты с расстройством отношений смежности различают скорее корни, чем суффиксы.

Повреждение внутренней речи, которое, как обнаружил Лурия, сопровождается эфферентными расстройствами, находит свое объяснение в сущностной характеристике этого типа афазии: распаде контекстуальной речи. Наша внутренняя речь — контекст наших высказываний; поскольку при эфферентном типе смежность уничтожается, нарушение внутренней речи неотвратимо. Соответствующее расстройство при сенсорной афазии — это потеря способности к металингвистическим операциям, которая является неизбежным результатом расстройств по сходству.

Дихотомия кодирующих и декодирующих нарушений находит свое типичное выражение в расходящихся или, можно сказать, полярных синдромах эфферентной и сенсорной афазии. В то же время эти два синдрома ясно показывают контраст между нарушениями смежности и сходства. Неразрывное единство двух разделений требует объяснения. Мы можем спросить, почему контекст нарушается при кодирующих расстройствах, хотя сохраняется при декодирующих расстройствах, где не выживают никакие автономные элементы. Ответ заключается в том, что порядок следования в кодирующих и декодирующих процессах кардинально различен. Кодирование начинается с селекции элементов, которые должны быть скомбинированы и объединены в контекст. Селекция является предшествующим этапом, тогда как построение контекста является следствием или конечной целью для кодирующего субъекта. Для декодирующего порядок обратный. Сначала декодирующий субъект сталкивается с контекстом, а затем он должен найти его составляющие; комбинация предшествует процессу декодирования, а селекция — это следствие, т.е. конечная цель декодирующего процесса. Кодирующий начинает с аналитической операции, за которой следует синтез; декодирующий получает синтезированные данные и переходит к их анализу. При афатических расстройствах следствие нарушается, тогда как предшествующее остается незатронутым; поэтому при кодирующих типах афазии повреждается комбинация, а при декодирующих типах — селекция (см. Табл. I.).

Табл. I

КОДИРУЮЩЕЕ		ДЕКОДИРУЮЩЕЕ
<i>нетронутое</i> — составляющие	X	контекст — <i>предшествующее</i>
<i>нарушенное</i> — контекст		составляющие — <i>следующее</i>

Отношения сходства лежат в основе операций селекции, тогда как в обнове комбинации лежит смежность. Таким образом, разница между кодирующими и декодирующими повреждениями сливается воедино с дихотомией нарушений смежности и сходства. Разница между кодирующими и декодирующими процес-

сами или, словами Гиппократ, между функцией мозга как «передатчика» говорящего и «толкователя» слушающего (см. Pentfield and Roberts, 1959, стр. 7) играет громадную роль при расстройствах речи и вызывает в корне различные типы синдромов, включающих в себя либо расстройства отношений сходства, либо расстройства отношений смежности.

Как я подчеркивал в предыдущем исследовании (см. выше стр. 239-259), метафора связана с расстройствами по сходству, а метонимия с расстройствами по смежности. Теперь, когда мы обсудили, с одной стороны, селекцию, основанную на сходстве, как первую часть кодирующего процесса, а с другой стороны, комбинацию, основанную на смежности, как начало операции декодирования, мы можем противопоставить два типа поэзии: лирику, которая, как правило, основывается на сходстве, и эпос, который в основном оперирует со смежностью. Мы вспоминаем, что метафора — это троп, присущий лирической поэзии, а метонимия — доминирующий троп в поэзии эпической. В этой связи, лирический поэт, замечаем мы, пытается представить себя как говорящего, тогда как эпический поэт принимает на себя роль слушающего и должен рассказывать о делах, о которых узнал по слухам. Здесь опять, на другом уровне, мы наблюдаем параллельное отношение кодирования со сходством, а декодирования со смежностью; и это совершенно соответствует проявляющейся в афазии большей стабильности отношений сходства при кодирующих процессах, и отношений смежности при декодирующих.

Вторая дихотомия: Ограничение / Дезинтеграция

От двух основных типов афазии — эфферентной и сенсорной — давайте перейдем к другим четырем типам, обсуждаемым в монографии Лурии. Их лингвистические симптомы должны быть выделены и вновь переосмыслены. Здесь мы находим две ослабленные формы: среди кодирующих типов существует то, что Лурия называет «динамической» афазией (1962, стр. 182), и среди декодирующих нарушений тип, который он называет «семантической» (1962, стр. 132; 1958, стр. 30; 1947, стр. 151). Употребление Лурией обозначения «семантический» несколько отличается от значения, которое придавал этому термину Хэд. Динамическое нарушение влияет только на те единицы речи, которые выходят за пределы предложения, а именно расширенные высказывания, особенно монологи. Другими словами, это нарушение затрагивает только те речевые комбинации, которые превышают размеры речевого кода, ибо комбинирование слов и

словесных групп в предложение — это наибольшая целостная конструкция, организованная полностью на основе обязательных грамматических правил.

Другой вариант того же синдрома был описан Лурией и его коллегами. Лурия определяет этот вариант как «разложение регулятивной функции речи» (1959; 1962, стр. 214). Взятый в своем лингвистическом аспекте, этот симптом, однако, может толковаться как неспособность перенести словесный диалог в несловесную, искусственную систему знаков или продолжать диалог, сочетая речевые высказывания с высказываниями перенесенными в эту систему. Такой вид семантической деятельности опять выходит за рамки комбинаций, обусловленных и регулируемых привычным речевым кодом. Пациент, как указывал Лурия (1962, стр. 244), постоянно «соскальзывает на привычные речевые клише».

В общем же, переход от речевых побуждений к ответам, относящимся к системе неречевых знаков, принадлежит к числу наиболее интересных лингвистических и семиотических проблем. Запрет на сновидения, связанный с кодирующими языковыми расстройствами (Аннаньев, 1960, стр. 336), был правильно истолкован как распад того кода, который обеспечивает переход от речевых сигналов к визуальным.

Речь больных динамической и семантической афазиями характеризуется двумя противоположными чертами; первая отмечена преувеличенной укорененностью в коде, вторая — односторонней укорененностью в контексте. Нормальный язык разграничивает классы слов и синтаксические функции: один и тот же класс слов может выполнять различные функции в предложении, а одна и та же функция может быть выполнена несколькими различными классами слов. Семантическая афазия стремится отбросить этот дуализм и приписать каждому классу слов единственную, присущую лишь ему функцию. В таких условиях любой класс определяется местом, которое его члены занимают в синтаксической последовательности, а разнообразие этих мест подлежит ограничению. Так, у существительного сохраняются только обстоятельственные функции (напр., *John likes Mary* (Джон любит Мэри)), тогда как подчиненные группы из двух существительных, особенно если они взаимнообратны, не будут правильно поняты; Лурия (1958, стр. 25) приводит следующие примеры: *брат отца* и *отец брата*, *круг под треугольником* и *треугольник под кругом*, как типичные, неверно понимаемые группы. Один из пациентов Лурии (1947, стр. 161) хорошо описал свои усилия, когда пытался понять смысл словосочетания

дочь матери: «Я знаю их две. Я представляю ... мать...и дочь...но кто из них? Странно, но я не могу уловить этого. Это связано с матерью или с дочерью?... Это не ясно, не могу проследить дальше.» Глагольные предикаты понятны, тогда как предикативные существительные, особенно, когда не выражена связка, ставят в тупик больного семантической афазией. Прилагательные доходят до него только в атрибутивной функции. Строгое предшествование субъекта объекту становится обязательным. В следствие этого пассивные конструкции озадачивают пациента, а в активных предложениях порядок субъект-объект становится необратимым. Даже в таких языках, как русский, где, обычно, свободные стилистические операции с порядком слов играют большую роль, измененный порядок слов понимается пациентом неправильно, несмотря на ясную информацию, предоставляемую окончаниями винительного и именительного падежа. Например, *сестру жена любит, sororem uxor amat*, понимается как *сестра жену любит, soror uxorem amat*. Синтагматическая ось подавляет парадигматическую ось.

Семантическая афазия упрощает и ужесточает синтаксические правила; более того, она стирает грамматические связи между предложениями, и этот недостаток можно наблюдать даже после выздоровления пациента. Среди словесных конструкций, подпадающих под обязательные правила, предложение обычно считается наибольшей конструкцией. Правда, правила грамматического наложения (сочинение и согласование) работают только внутри предложения. Однако анафорические правила, основанные только на отношениях сходства, пренебрегают границами предложения. Местоимения и артикли могут зависеть от более широкого контекста, чем границы предложения. Поскольку семантическая афазия относится к расстройствам по сходству, не удивительно, что может быть потеряно управление анафорическими местоимениями и артиклями. Профессор Дж. М Уэлман привел мне хороший пример: пациент, который оправился после семантического расстройства, внезапно сделал симптоматическую ошибку: «Моя жена сегодня не здесь. *Он* не пришел вместе со мной.»

**Третья дихотомия:
последовательность(сукцессивность) / одновременность
(симультанность)**

Описание и классификация афатических нарушений наводит на уместный вопрос: что повреждается — последовательность или симультанное расположение лингвистических объектов. Дихотомия последовательности и одновременности распределяет

основное разделение афатических нарушений на кодирующие (комбинация) и декодирующие (селекция) нарушения. Из двух способов упорядочивания, которые оперирует в языке — селекции и комбинации — именно последний страдает при кодирующих расстройствах. В языке есть две разновидности комбинирования: одновременность и временная последовательность; и именно последовательность нарушается при эфферентном и динамическом типах афазии кодирующего нарушения, тогда как третий тип, афферентная афазия, разрушает одновременность. На фонологическом уровне эфферентная афазия разрушает последовательные сцепления фонем, тогда как при афферентной афазии распадается комбинация одновременных различительных признаков в фонеме. Типичный лингвистический симптом афферентной афазии — это широкий спектр отклонений при употреблении фонем. При эфферентной афазии остаются только определенные элементы последовательности, а их контекст разрушается; точно так же, афферентная афазия сохраняет только отдельные элементы пучка одновременности, а остальной контекст заполняется почти что наобум. Сенсорная афазия, ориентированная на контекст, вызывает потерю отдельных элементов, т.е. отдельных признаков фонемы; очевидно, что теряются те признаки, которые наименее зависимы от своего симультанного и последовательного окружения.

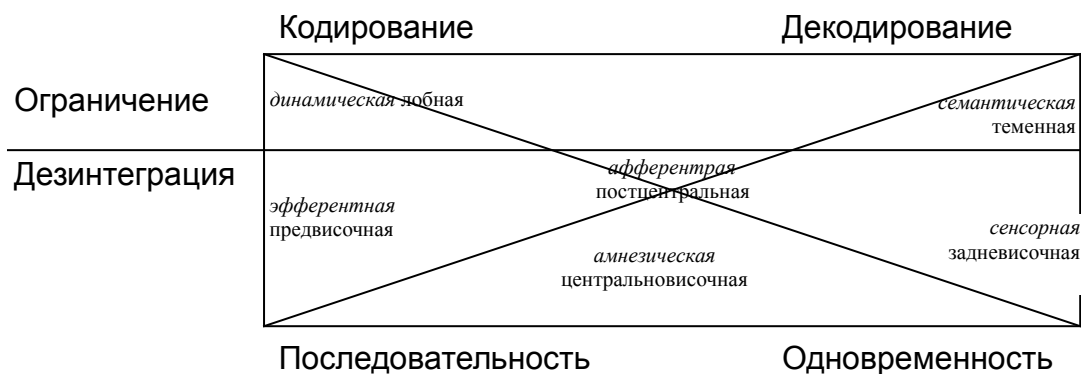


Рис. 1. Дихотомии, лежащие в основе 6 типов афатических нарушений.

Напротив, афферентная афазия, похоже, как раз сохраняет только те признаки, которые наименее зависимы от своего окружения и которые лежат в основе фонологической модели языка. Однако, как предостерегающе замечал Лурия (1947, стр. 111), наше знакомство с афферентной афазией все еще недостаточно:

Афферентная афазия — это кодирующее нарушение в симультанной комбинации, форма афазии, для которой Лурия временно пользуется термином «амнезическая». или «акустико-амнезическая» (1962, стр. 98), — это декодирующее нарушение при селекции в последовательности. В то время как сенсорная афазия влияет на тождество элементов относительно ряда одновременных, взаимозаменяющих возможностей, амнезическая афазия нарушает тождество только в том случае, если данный элемент является членом сочинительной пары (или больших соединений) слов (или предложении). Сочинительные группы занимают особое место среди синтаксических конструкций. Это единственные синтаксические группы без внутреннего наложения, единственные открытые группы со свободно добавляемыми и пропускаемыми членами; в конце концов они единственные, где, как тонко заметил де Гроот (1957, стр. 128), «существует, строго говоря, соподчинение, а именно чистое, внутреннее согласование». Таким образом, амнезическая афазия — это расстройство отношения сходства, которое вовлекает только грамматическую последовательность, основанную на чистом сходстве, а афферентная афазия — это расстройство смежности, которое вовлекает единственный ряд одновременных элементов в звуковой последовательности языка. Двуплановая (последовательная и одновременная) смежность различительных признаков мешает кодирующему, страдающему афферентной афазией, тогда как двуплановое (парадигматическое и синтагматическое) сходство паратактических слов или предложений мешает декодирующему, страдающему амнезической афазией.

Заключение

Эти краткие замечания предназначены, с одной стороны, для того, чтобы указать на специфические речевые симптомы, которые разграничивают шесть типов афазии, очерченные в работах Лурии (1947, 1962), а, с другой стороны, чтобы проследить взаимосвязь этих шести типов с точки зрения строго лингвистической точки зрения. В основе шести типов афатических нарушений было обнаружено три дихотомии (см. рис. 1). Речь, лишенная какой-либо когнитивной функции и сведенная только к эмотивным, вставным восклицаниям остается за рамками данного обзора.

Три типа афазии — т. н. эфферентный, динамический и афферентный типы — характеризуются расстройствами *смежности* с разрушением контекста; три других типа — по системе обозначений Лурии, сенсорная, семантическая и амнезическая — проявляют расстройства *сходства* с повреждением кода. Эти же две

группы, рассмотренные в смысле речевого поведения, противопостоят друг другу как *кодирующие* и *декодирующие* повреждения. Во всех трех типах расстройств смежности нарушается способность комбинировать; однако, при эфферентном и динамическом типах это нарушение влияет на объединение последовательных элементов, а при афферентном типе не получается объединять одновременные элементы. При трех типах расстройств сходства затрагивается способность выбирать и отождествлять; однако в сенсорном и семантическом типах страдает просто выбор среди одновременно нескольких возможностей и отождествление таких чередующихся элементов, а при амнезической афазии помехи связаны с выбором и с отождествлением только там, где дело касается элементов, собранных в сочинительную группу. Таким образом, кроме простых типов расстройств смежности, включающих только последовательный ряд, и расстройств, основанных только на одновременном ряде, возникают два сложных, промежуточных типа афазии: расстройство смежности, заключающее в себе ось одновременности (афферентная афазия), и расстройство сходства, зависящее от оси последовательности (амнезическая афазия). Поэтому вторая дихотомия оперативна — оппозиция *последовательности* и *одновременности* или, по терминологии Соссюра (см. 1922, стр. 115, 180), *сукцессивность* и *симультанность* — которая, в свою очередь, разделяет шесть типов нарушений на трехчленные группы.

В противоположность эфферентной афазии, изученная Лурпей динамическая афазия не повреждает ни фонемного, ни грамматического контекстов, но только те речевые контексты, которые содержат более одного предложения и, таким образом, превосходят размеры синтаксического целого. Предложение — это максимальный контекст, структурированный на основе кодированных правил; поэтому мы больше не ограничены обязательными правилами расстановки, когда происходит комбинирование предложений в высказывание (см. выше, стр. 243). С другой стороны, семантическая афазия, согласно Лурии, уничтожает любую разницу между морфологическими категориями с их синтаксическими функциями. В данном случае, потеря границы между морфологией и синтаксисом, кажется, способствует введению неологизмов. Интенсивность такой неологизации у афатиков и детей связана с недостатком у них свойственного нам резкого различия между двумя речевыми уровнями: готовыми словами и предложениями, готовыми только в своей грамматической модели, но относительно свободными в своем лексическом наполнении. Наш выбор слов в основном свободен, и их

комбинирование связано только формальными правилами построения предложений. Для афатиков этого типа и для детей на определенной стадии развития эта свобода расширена до выбора морфем и их комбинация связана только формальными правилами построения слова.

Следует вспомнить, что динамическая афазия принадлежит к речевым нарушениям, сфокусированным на коде и повреждающим контекст, и что семантическая афазия — это один из повреждающих код и сфокусированных на контексте типов. Соответственно, динамическая афазия влияет только на некодированные контексты, тогда как с другой стороны, семантическая афазия стремится сузить грамматический код, ограничивая автономию морфологических категорий за счет синтаксиса. Динамический и семантический типы отличаются от эфферентного и сенсорного типов тем, что первая пара — ограничительная, а вторая пара — разрушающая. Третья дихотомия — *ограничение/дезинтеграция* — включает только простые разновидности как кодирующих, так и декодирующих афатиков, но не применяется к сложным, переходным типам (см. Табл. II).

Таблица II
Афазия

	<i>Эффер</i>	<i>Сенсорн</i>	<i>Динам.</i>	<i>Семант</i>	<i>Аффер.</i>	<i>Амнез.</i>
Нарушено:						
кодир. (+) или декодир. (-)	+	-	+	-	+	-
послед (+) или нет (-)	+	-	+	-	-	+
Представлено:						
разруш. (+) или огран. (-)	+	+	-	-		

Излишне добавлять, что ограничивая свой обзор лингвистическим критерием, я не забывал о других аспектах афатических нарушений. *Suim siique*, я заботился о том, чтобы не допустить никакого смешения различных уровней. Однако нельзя не согласиться с пунктом программы Джексона 1878 г., что строгое разделение уровней не должно мешать «нам пытаться проследить соответствие между ними» (1958, стр. 156) и, в особенности,

Связь между повреждениями переднего участка коры головного мозга и кодирующими нарушениями, точно так же, как и связь между повреждениями и декодирующими нарушениями задних участков, широко признана. Далее необходимо отметить, что кодирующие нарушения последовательности соответствуют передним лобно-височным и лобным повреждениям (см. Лурия 1958, стр. 27, 30), тогда как декодирующие расстройства, заключающие в себе одновременность, симультанную ось языка, связаны с задневисочными и заднетеменными повреждениями. Переходные типы, которые связывают кодирующие нарушения с осью одновременности или декодирующие нарушения — с осью сукцессивности языка, явно соответствуют нарушениям заднецентральных (афферентная афазия: ср. Лурия, 1947, стр. 112) и центральновисочных участков (амнезическая афазия: ср.: Penfield and Roberts, 1959, стр. 42; Лурия, 1962, стр. 98). Обнаруживается красноречивое соответствие между срединным положением этих участков и срединным характером этих речевых расстройств по отношению к другим типам афазии.

Лобно-височные и задневисочные повреждения отвечают за основные типы кодирующих и декодирующих нарушений, а в противоположность этим двум разрушающим типам афазии, ограничивающие типы связаны с двумя полярными участками, а именно динамическое расстройство связано с передним, лобным участком мозга (ср. Лурия, 1962, стр. 182), («лобная внутренняя часть переднего мозга»), наоборот, семантическое расстройство — с заднетеменной и теменно-затылочными частями («задние внутренние участки») (см. Лурия, 1958, стр. 21; Приорам, 1960).

Неизбежно возникает вопрос: что является мозговым коррелятом соответствующей дихотомии — Последовательность / Одновременность? Позвольте мне процитировать гипотетический, но, тем не менее, очень интересный ответ на этот вопрос, который я получил от профессора Стэнфордского университета К.Прибрама:

Встает вопрос об истинном местонахождении повреждения при «эфферентной» афазии. Двустороннее удаление участка Брока не повлекло за собой появления афазии (Mettler, 1949). У обезьян, хотя они и не разговаривают, лобно-инсулярно-височные повреждения производят дефект «кодирования-последовательности». Поэтому, мне кажется, что афазия с нарушением «последовательности кодирования» возникает не из-за поверхностного повреждения участка, но из-за повреждения лобно-височной части мозга, при очень тяжелых нарушениях.

Если это так и если передняя лобная часть коры рассматривается как часть средне-основного переднего мозга (по таламокортикальным, филогенетическим и нейробиохемиористским причинам), появляется дополнительная польза от лингвистического анализа. Две лингвистические оси находят свое соответствие в мозге: Декодирование / Кодирование — Задний / Передний участки в мозге; Совпадение / Последовательность (или Симультанность / Сукцессивность) расположены как Дорсолатеральные / Медиобазильные участки мозга.

Исследование афазии не может и дальше проходить мимо того важного факта, что внутрилингвистическая типология афатических нарушений, обрисованная без какого бы то ни было соотношения с анатомическими данными, дает хорошо связанную и симметрически соотнесенную модель, которая оказывается удивительно близка топографии мозговых повреждений, лежащей в основе этих нарушений.

Краткое изложение

Шесть типов афатических расстройств, исследованных Лурией и традиционно обозначаемых как: I. *динамический* (с повреждением лобных частей мозга); II. *эфферентный моторный* (связанный с передней лобно-височной частью коры); III, *афферентный моторный* (заднецентральный); IV. *амнезический* (центрально-височный); V, *сенсорный* (заднетеменной); VI, *семантический* (теменно-затылочный), требуют и предполагают четкую симметричную лингвистическую классификацию.

Типы I-III влияют на процесс кодирования, тогда как типы IV-VI подразумевают, что вред нанесен декодирующим процессам. Для кодирующего за селекцией обычно следует комбинация, тогда как декодирующему сначала представлен контекст, и комбинация предшествует селекции. При афазии нарушается все, что следует, а все, что предшествует, остается незатронутым. Поэтому комбинация повреждается при кодирующих процессах, а селекция при преобладающе декодирующих. Разница между сложностями кодирования и декодирования сливается с дихотомией расстройств смежности и сходства.

Тип II сохраняет фонологические и грамматические единицы, но разрушает фонемные и/или грамматические последовательности, тогда как тип V ограничивает разнообразие таких единиц, сохраняя форму их группирования.

Тип I имеет общим с типом II повреждение объединяющих операций, но в типе I они затрагиваются только на более высоком уровне: повреждается комбинация предложений высказывания и

дискурсивных высказываний. Точно так же тип VI, в противоположность типу V, не влияет на более низкие типы языка. Набор фонем и слов остается, но морфологический уровень оказывается совершенно подавлен синтаксическим уровнем: синтаксические функции и порядок слов преобладают над морфологическими категориями.

Типы III и IV занимают переходное положение между I-II и V-VI. Комбинаторные процессы страдают во всех трех кодирующих типах, но если типы I и II влияют на различные виды последовательностей, больные афазией типа III не могут обращаться и различать одновременные пучки различительных признаков. Процесс селекции страдает во всех трех декодирующих типах, но только в типе IV нарушаются элементы, приведенные в последовательность. Таким образом из двух типов осей Соссюра, сукцессивность заключается в I-II и IV-ом; симультанность заключается в V-VI и III.

Литература:

- Alajouanine, T. (1956) // *Brain*, 79, 1.
- Alajouanine, T., Ombredane, A., and Durand. M. (1959), 1-e syndrome de désintégration dans l'aphasie (Paris: Masson).
- Аннаньев, Б.Г. (1960), Психология чувственного познания (Москва, Академия Педагогических наук).
- Бодуэн де Куртенэ, Ж. (1881), Подробная программа лекций в 1877-1878 учебном году (Казань: Издат. Университет).
- Бин Э.С. (1957) // *Вопр. Псих.*, 4, 90.
- Brain, W.R. (1961), *Speech Disorders* (London: Butterworths).
- Critchley, M. (1959), In *The Centennial Lectures commemorating the one hundredth anniversary of E.R. Squibb and Sons*, p.269 (New York: Putnam's Sons).
- Fillenbaum, S., Jones, L.V. and Wepman, J.M. (1961), *Language and Speech*, 2, 52.
- Freud S. (1953), *On Aphasia* (New York: International Universities Press).
- Fry, D.B. (1959), *Language and Speech*. 2, 52.
- Goldenstein. K. (1948), *Language and Language Disturbances* (New York, Grune and Stratton).
- Goodglass, H., and Berko, J. (1960), *J. Speech Res.* 3.257.
- Goodglass, H., and Hunt, J. (1958), *Word*, 14, 197.
- Goodglass, H., and Mayer, J. (1958), *J. Speech Dis*, 23. 99 .
- Groot, A.W. de (1957), *Lingua*, 6, 113.
- Head, H. (1926), *Aphasia and Kindred Disorders of Speech* (Cambridge University Press).
- Иванов В.В. (1962), Структурно-типологические положения, стр. 70, изд. Моложная Т.Н. (Москва, Академия Наук)
- Jackson, J.H. (1958), *Selected Writings*, vol. 2 (New York. Basic Books, Inc.).
- Jackobson, R. (1962), *Selected Writings*, vol. 1. p. 528 (The Hague, Mouton).

- Крушевский, Н. (1883), Очерк науки о языке (Казань; Издат. Университет).
- Lenneberg, E.H. (1962), *J. abnorm. soc. Psychol.*, 65, 419.
- Лурия Л.Р. (1947), Травматическая афазия (Москва, Изд. АМН СССР).
- Luria A.R. (1958), *Language and speech*, 1, 14.
- Luria A.R. (1959), *Word*, 15, 453.
- Лурия А.Р. (1962), Высшие корковые функции человека (Москва, изд. МГУ).
- Marie P. (1926), *Travaux et Mémoires*, vol. 1 (Paris, Masson).
- Mettler, F. (1949), *Selective Partial Ablation of Frontal Cortex* (New York, Hoeber).
- Osgood, C.E., and Miron, M.S. (1963), *Approaches to the Study of Aphasia: A report of an interdisciplinary conference on aphasia* (Urbana, University of Illinois Press).
- Panse, F., and Shymovama, T. (1955), *Arch. Psychiat. Nevenkr.*, 193, 131.
- Peirce, C.H. (1932), *Collected Poems*, vol. 2, eds. Harsthorne, C, and Weiss. P. (Cambridge, Mass, Harvard University Press).

ОБ АФАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯⁱ

Après tout, c'est ainsi que nous communiquons, par des phrases, même tronquées, embryonnaires, incomplètes, mais toujours par des phrases. C'est ici, dans notre analyse, un point crucial.

Эмиль Бенвенист. 3 сентября 1966 г.¹

Около тридцати лет назад, в 1941 г., когда я только еще собирался опубликовать свое первое исследование по афазии, *Детский язык, Афазия и Фонологические Универсалии*², я был удивлен тем, до какой степени лингвисты игнорируют вопросы, связанные с усвоением языка ребенком и с патологическим разрушением языка. В особенности игнорировалась сфера афазии. Тем не менее ряд неврологов и психологов настаивали на той важной роли, которую может играть в этой области лингвистика. Они понимали, что афазия есть прежде всего дезинтеграция языка, и поскольку языком занимаются лингвисты, именно лингвисты должны сказать нам, какова действительная природа этих разнообразных типов дезинтеграции. Такие вопросы поднимались,

ⁱ Впервые опубликовано в французском переводе, под заголовком «Les régies des dégats grammaticaux». в *Langue, Discours, Society*, под ред. J. Kristeva, J.C. Milner and N. Ruwet (Paris, 1975), со следующим посвящением: «C'est à Émile Bénveniste qui fut l'un des premiers à soutenir l'importance des études strictement linguistiques sur les *syndromes* de l'aphasie que je tiens à dédier en hommage d'admiration et d'affection cette étude basée sur mes rapports au Troisième Symposium International d'Aphasiologie à Oaxtepec, Mexique, novembre 1971, et au Congreso Peruano de Patologia del Lenguage a Lima, Peru, octobre 1973. [Перевод К. Голубович, К. Чухрукидзе]

¹ В конце концов, так мы и общаемся, посредством фраз, хотя порой усеченных, зачаточных или незавершенных, но всегда посредством фраз. Именно в этом, в аналитичности нашей речи и заключается узел проблемы.

Émile Bénveniste «La forme et le sense dans le langage». *Problèmes de linguistique générale* 2 (Paris, 197-1), 121.

² R. Jakobson, *Child Language, Aphasia and Phonological Universals* (The Hague: Mouton, 1968), translated from the German original of 1941 (См. *Selected Writings* 1, 328-401).

например, А. Пиком, А. Гелб, К. Гольдштейном и М. Иссерлин.³ Но среди самих лингвистов царило полное равнодушие в отношении вопросов афазии. Хотя и здесь, конечно же, наблюдаются исключения.

Таким образом, начиная с 1870-ых один из величайших предшественников современной лингвистики Бодуэн де Куртенэ, постоянно наблюдал и исследовал случаи афазии и в 1885 г. посвятил одному из них подробную монографию на польском «Из патологии и эмбриологии Языка»,⁴ за которой должны были последовать другие работы. Это исследование сочетает богатый и тщательно подобранный материал с пониманием огромной необходимости исследования детского языка и афазии для лингвистической теории и фонетики. Появлялась перспектива обнаружения общих законов, основанных на сравнении афатических синдромов с системами этнических языков. Несколько десятилетиями спустя Фердинанд де Соссюр, просматривая обзор Сеше *Programme et méthodes de la linguistique théorique* (1908), подчеркнул связь между открытиями Брока и наблюдениями различных форм афазии, которые представляли собой особый cas d'aphasie où la catégoric des substantifs tout entière manque, интерес для психологии и грамматики: Je rapelle par exemple les alors que les autres catégoric établies du point de vue de la logique restent a la disposition du sujet.⁵

Эти важные напоминания, однако, как и большинство призывов Бодуэна и Соссюра, оставались без непосредственного ответа. Но в настоящее время, начиная с сороковых и начала пятидеся-

³ См. А. Pick, «Aphasie und Linguistik», *Germanisch-romanische Monatsschrift* 8 (1920); A. Gelb and K. Goldstein, «Über Farbennamenamnesie nebst Bemerkungen über das Wesen der amnestischen Aphasie überhaupt und die Beziehung zwischen Sprache und dem Verhalten zur Umwelt», *Psychologische Forschung* 6 (1924); K. Goldstein, «Die pathologischen Tatsachen in ihrer Bedeutung für das Problem der Sprache», *Bericht über den XII Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Hamburg* (Jena, 1932); M. Isserlin, «Über Agrammatismus», *Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie* 75 (1922).

⁴ Jan Baudouin de Courtenay, «Z patologii i embriologii jezyka», в его *Prace filologiczne* 1 (1885-86).

⁵ — Я вспоминаю, например, те случаи афазии, когда отсутствует целая категория субстантивов, в то время как другие категории, установленные с точки зрения логики, остаются в распоряжении субъекта (R. Godel, *Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure* (Geneva-Paris, 1957, 51 ff; F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*, крит. издание R. Engler (Wiesbaden. 1967), 35.

тых наблюдается существенное изменение. Становится все яснее «à quel point l'approche linguistique peut renouveler l'étude de l'aphasie»⁶, как было отмечено А. Екенем и Р. Ангелепром. «Il faut, en effet, que toutes les utilisations du langage libre et conditionne soient analysées à tous les niveaux du système linguistique.»⁷

Вопрос об уровнях действительно важен. Слишком часто попытки рассмотрения лингвистического аспекта афазии страдают от недостаточного разграничения лингвистических уровней. Можно даже сказать, что сегодня самая главная задача лингвистики — это научиться разграничивать уровни. Несколько уровней языка автономны. Автономия не означает изоляции; все уровни взаимосотнесены. Автономия не исключает интеграции, и даже более того — автономия и интеграция тесно связанные феномены. Но во всех лингвистических вопросах, а особенно в случае афазии важно подходить к языку и к его разрушению в рамках данного уровня, помня в то же время, что любой уровень — это то, что немцы называют *das Teilganze* (часть целого) и что целое и взаимодействие между различными частями этого целого должны быть приняты во внимание. Здесь очень часто лингвисты совершают опасную ошибку, а именно, они подходят к определенным уровням языка с так называемым отношением гетеронимии (колониализма) скорее, чем автономии. Один уровень они рассматривают только с точки зрения другого уровня. В особенности, когда мы занимаемся афазией, надо сразу признать, что фонологический уровень, хотя он и не изолирован, сохраняет свою автономию и не может рассматриваться как простая колония грамматического уровня.

Надо принять во внимание взаимодействие между разнообразием и единством. Как говорит Екен: «L'aphasie est en même temps une et multiple»⁸. Должны быть выделены многообразные формы дезинтеграции языка, и было бы ошибочно исследовать это многообразие только с количественной точки зрения так, как если бы мы имели дело с различными степенями дезинтеграции, тогда как в действительности мы так же сталкиваемся со значительной качественной разницей.

⁶ — в какой степени лингвистический подход мог бы внести вклад в исследование афазии.

⁷ H.Écaen and R. Angelergus, *Pathologie du langage — l'aphasie* (Paris: Larousse, 1965). — Нужно, чтобы, в результате, все — и свободные и обусловленные виды применения языка, были проанализированы на всех уровнях языковой системы.

⁸ Ibid.

Более того, когда мы обсуждаем те формы афазии, в которых разрушение звуковой модели языка является важным фактором, мы должны помнить, что для современной лингвистики не существует такой области, как звуки сами по себе. Для говорящего и для слушающего звуки речи обязательно выступают как носители смысла. Звук и значение как для языка, так и для лингвистики являются неразрывной двойственностью. Ни один из этих факторов не может рассматриваться как простая колония другого: единство звука и значения должны исследоваться одновременно, и с точки зрения звука, и с точки зрения значения. Та степень, при которой звуки являются совершенно особым феноменом среди других аудиальных явлений, была прояснена замечательными экспериментами, проведенными в различных странах в течение последнего десятилетия: эти исследования доказали привилегированное положение правого уха, связанного с левым полушарием, при восприятии звуков речи. Не поразителен ли тот факт, что правое ухо является лучшим рецептором компонентов речи, в противоположность превосходству левого уха в восприятии неречевых звуков, неважно, музыкальные это звуки или шумы? Это показывает, что с самого начала звуки речи возникают как особая категория, на которую человеческий мозг реагирует особым образом, а эта особенность существует именно благодаря тому факту, что звуки речи выполняют вполне определенную и многообразную роль: разными способами они функционируют как носители значения.

Когда мы исследуем различные лингвистические синдромы афазии, мы должны уделять большое внимание иерархии лингвистических элементов и их комбинаций. Мы начинаем с наименьших единиц языка, «различительных признаков», или *mérismes*. как их предлагал называть Бенвенист.⁹ Фундаментальная роль, которую играют отождествление и различение этих лингвистических квантов при восприятии речи и при ее афатических нарушениях, была глубоко исследована и убедительно показана Шилой Блумстейн, ученым, соединившим в себе навыки прекрасного лингвиста и невролога.¹⁰ Французский эквивалент «различительных признаков» — *traits distinctif* или в редком обозначении Соссюра, *élément différentiel*. тогда как термин *trait*

⁹ É. Bénévist, «Les niveaux de l'analyse linguistique», в его *Problèmes de linguistique générale* 1 (Paris, 1966), 22 f.

¹⁰ Sheila E. Blumstein. *A Phonological Investigation of Aphasic Speech* (The Hague: Mouton, 1973); см. A.R. Lecours и F. Lhermitte, «Phonemic Paraphrasias», в H. Goodglass и S. E. Blumstein, eds., *Psycholinguistics and Aphasia* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973).

pertinent, иногда употребляемый французскими лингвистами, неверен, поскольку любой элемент языка является в определенном смысле имманентным, и понятия различительности (*distinctiveness*) и имманентности (*pertinence*) не совпадают.

Пучок одновременных различительных признаков называется «фонемой» в соответствии с французским термином *phonème*, введенном в 1870-ые, и он постепенно получает новое определение. Это важное и полезное понятие, при условии, что мы понимаем его производный, с точки зрения лингвистической структуры, второстепенный характер по сравнению с составляющими его различительными признаками. Упорные попытки упразднить понятие фонемы так же безосновательны, как и противоположные ретроградные попытки уменьшить и даже отбросить понятие различительных признаков в пользу фонем. В кратком изложении своей монографии Ш. Блумстайн указывает, что «понятие *различительные признаки* предоставило принципиальное объяснение частому повторению разного рода субституционных ошибок, которые совершают афатики» и что «более того, стратегии воспроизведения речи, продемонстрированные пациентами афатиками, наводят на мысль, что бинарные значения, приписываемые в фонологической теории признакам, могут быть существенной частью фонологической системы говорящего». Основной структурный принцип этих значений, а именно, оппозиция маркированных и немаркированных единиц, оказывается «существенным аспектом фонологического анализа», поскольку «понятие маркированности характеризует направление субституционных и упрощающих ошибок, делаемых афатиками».

Простейшая единица, имеющая свое собственное значение «морфема», — это понятие и термин, введенный Бодуэном де Куртенэ. К сожалению французская лингвистическая терминология, по свидетельству Милле, приняла и употребила этот термин в узком смысле, с тем, чтобы перевести немецкое обозначение Бругмана *Formant*, применимое к аффиксам, но не к корню, в результате чего возникли досадные колебания во французской системе грамматических обозначений.

О высшей морфологической единице, «слове» (*mot*), можно повторить то, что было сказано в отношении фонемы: это существенное понятие, которое нельзя ни отбросить, ни рассматривать как целую грамматическую единицу вместо морфемы.

Традиционная английская иерархия синтаксических структур — «*phrase*», «*clause*», «*sentence*» (словосочетание, придаточное предложение, предложение) весьма полезна при анализе спонтанной и необусловленной речи афатиков. Французская система менее

устойчива. Возможно, термин Люсьепа Тесньера¹¹ *noeud* (узел) подойдет для английского «phrase» и традиционные французские обозначения *proposition* и *phrase* для «clause» и «sentence».

Когда я работал над лингвистической интерпретацией афатических данных и затем рискнул систематизировать проанализированный материал в свете строго лингвистического критерия, шаг за шагом я стал замечать яркие соответствия между лингвистическими типами афазии и топографическими синдромами, обнаруженными специалистами при исследовании коры головного мозга (особенно А.Р. Лурией¹²), и обрисовал эти очевидные параллели в моих работах 1963 и 1966 гг.¹³ Я предпочитаю, однако, избегать сравнений, если они не прошли систематического, междисциплинарного контроля, моя же собственная работа ограничивается речевым аспектом афазии во всех ее многочисленных разветвлениях. Но я испытываю истинное вдохновение, когда читаю недавнее синтетическое исследование Л. Р. Лурии, великого исследователя церебральных механизмов и их участков как факторов разного рода афатических расстройств.¹⁴ Когда этот создатель нейролингвистики¹⁵, продолжая свое неутомимое исследование речевых расстройств, выражает «полное согласие с основными концепциями», предложенными в моих лингвистических попытках найти и классифицировать афатические синдромы, и предлагает дальнейшие, решительные отсылки к «физиологическим механизмам, лежащим в основе этих нарушений»; главным выводом, который можно из этого сделать, является необходимость все более тесного сотрудничества лингвистов и неврологов, совместного и глубокого исследования, которое обещает глубже проникнуть во все еще непознанные тайны — как мозга так, и языка.

Мы должны не только согласовывать, но так же и последовательно различать два в основе своей различных феномена, эмиссию

¹¹ L. Tesnière, *Éléments de Syntaxe structurale* (Paris. 1959)

¹² A.R. Luria, «Factors and Forms of Aphasia», *Ciba Foundation Symposium: Disorders of Language* (London, 1964); *idem. Higher Cortical Functions in Man* (N.Y.: Basic Books. 1966) — пер. с русского оригинала 1962.

¹³ См. R. Jakobson. «Toward a Linguistic Typology of Aphasic Impairments» (1963) и «Linguistic Types of Aphasia» (1960) в *Selected Writings II* (Hague: Mouton, 1971), 289-306. 307-333, репр. в *Studies on Child Language and Aphasia* (Hague; Mouton, 1971), 75-94, 95-125).

¹⁴ A.R.Luria, «Two Kinds of Aphasic Disorders», *Linguistics* 115 (1973).

¹⁵ Ср. A. R. Luria, «Basic Problems of Neurolinguistics» и *Current Trends in Linguistics* 12.4 (The Hague: Mouton, 1974).

и рецепцию. Используя термины Чарльза Сандерса Пирса, существуют два действующих лица (*dramatis personae*) «говорящий» и «тот, кому говорят» («*sayer*» и «*sayee*»). Их отношение к коду и сообщению совершенно различно, и в частности, двусмысленность, особенно омонимия, — проблема, с которой сталкивается «*sayee*». Без помощи контекста или ситуации, услышав «*sun*» [sʌn] — он не знает, имеется ли в виду «солнце» (*sun*) или «сын» (*son*), тогда как «*sayer*» (говорящий) совершенно свободен от вероятностной позиции у «*sayee*» (того, кому говорят), хотя он, естественно, может принять во внимание отношение «*sayee*» и предотвратить возникновение омонимических препятствий для последнего. Чтобы проиллюстрировать различие между моделью говорящего и моделью того, кому говорят, я позволю себе признаться, что, хотя я и способен следовать за отчетливо произносимой итальянской речью, я почти не способен произнести ни одной фразы на этом языке. Таким образом, в отношении к итальянскому я не могу действовать как адресант (*addresser*), но только как адресат (*addressee*), либо молчащий, либо отвечающий на другом языке. При исследовании афазии мы должны помнить о возможности радикального разрыва между двумя этими компетенциями и вполне естественного преобладания рецепции над эмиссией. Таково, например, положение младенца, который научился понимать речь взрослых, но, тем не менее, сам не способен ничего сказать. Способность декодировать может возникнуть раньше способности кодирования, и в случае афатиков, отдельно от нее.

Я хотел бы оставить обсуждение новых аспектов лингвистического исследования афатических нарушений звуковой структуры до следующего раза, несмотря на тот увлекательнейший горизонт, который эти проблемы открывают для фонологии. Если ограничивать себя при продвижении к высшему и чисто грамматическому уровню афазии, и при применении принципа объяснительного отождествления к строго лингвистическому анализу речевых нарушений, оставаясь на одном только этом уровне, можно добиться получения ясной и простой картины. Однако, чтобы проследить лингвистический синдром данного типа афазии, мы должны следовать нескольким генеральным линиям.

Во-первых, зоолог не будет начинать исследование различия между растениями и животными с рассмотрения таких переходных типов, как губки и кораллы. Вряд ли началом исследования полов будет концентрация всего внимания на гермафродитах. Конечно же, есть много гибридных, сложных, смешанных случаев афазии, но мы не знаем о существовании четко поляризо-

ванных типов, и эти строго отличные, так сказать, «чистые» случаи, как называют их неврологи, должны лечь в основу нашего исследования и классификации афатиков, а следовательно, направлять нас и в нашем исследовании пограничных случаев, какова бы ни была их частотность.

Во вторых, значительная разница между спонтанной и обусловленной речью, — факт, хорошо известный лингвистам, — должна быть также с вниманием учтена при исследовании афазии. В добавление к ответам пациента на вопросы врача, мы должны исследовать полностью спонтанную речь афатика, особенно в знакомой ему среде, и сравнить эти два структурно отличных друг от друга типа высказываний. Рассматривая вопрос обязательной (required) репродукции и репетиции, следует помнить, что эти процессы занимают совершенно особое место в нашем речевом поведении. На лондонском симпозиуме по речевым расстройствам, организованном «Ciba foundation» в 1963 г., лингвист А.С.Росс высказался о необходимости собрать все опубликованные или mimeографированные высказывания афатиков, воспроизведенные при разных формах диалога и с разными собеседниками.¹⁶ Такие материалы абсолютно незаменимы для получения лингвистического описания и классификации афатических синдромов. Нельзя получить достоверного лингвистического заключения на основе простого сбора ответов пациентов на вопросы врача, поставленных к тому же в весьма искусственные условия медицинского опрашивания.

С лингвистической точки зрения чистейшие формы афазии можно, по всей видимости, наблюдать при случаях полного аграмматизма. У нас имеются замечательные прозрения в суть этого вопроса таких специалистов, как Л. Ник. М.Иссерлин и Е.Саломон,¹⁷ а в настоящее время — А.Екена. А.Гудгласса и их соратников по лингвистике¹⁸. Именно Гудгласс обнаружил последовательную, прозрачную закономерность в обращении афатиков с английским суффиксом, являющимся тройным синонимом

¹⁶ A.S.C.Ross et al., «Edition of Text from a Dyphasic Patient», *Ciba Foundation Symposium: Disorders of Language*: (London, 1964).

¹⁷ A.Pick, *Die agrammatischen Sprachstörungen* (Berlin, 1913). M.Isserlin, op.cit.; E. Salomon, «Motorische Aphasie mit Agrammatismus», *Monatsschrift für Psychologie* 1 (1914)

¹⁸ H. Hécaen, ed., *Neurolinguistique...*, H. Goodglass, «Studies on the Grammar of Aphasics», *Journal of Speech and Hearing Research* II (1968); См. D. Cohen and H. Hécaen, «Remarques neurolinguistiques sur un cas d'agrammatisme», *journal de psychologie normal et patbologique* 62 (1965); H. Goodglass and J. Hunt, «Grammatical Complexity and Aphasia Speech», *Word* 14 (1958).

и исполняющим три совершенно разные грамматические функции, а именно функции суффикса /-z/ в двух его позиционных вариантах /-iz/ и /-s/. Этот же суффикс в тех же самых позиционных вариантах используется для выражения множественного числа существительных, напр., «dreams» в форме притяжательного падежа, как в «John's dreams», и в глагольной форме третьего лица настоящего времени, напр., «John dreams», однако последней выживающей в речи афатиков формой является мн. число существительного, «dreams».¹⁹ При усвоении речи ребенком мы наблюдаем обратный порядок, зеркальное отражение: существительное мн. числа «dreams», — первое появляющееся слово, следующим речевым приобретением является — «John's dream», за которым, в конечном итоге, появляется глагольная форма третьего лица — «John dreams».²⁰ Разгадка этой проблемы состоит в иерархии уровней: форма множественного числа «dreams» — это одно слово, за которым не имеется в виду никакого синтаксического продолжения, в форме «John's» — подразумевается уровень высказывания, где эта форма является определением такого заглавного слова, как «dream», и наконец, глагольная форма третьего лица, «dreams» участвует в пропозициональной последовательности с подлежащим и сказуемым.

Совершенно ясно, что более сложные синтаксические структуры вытесняются из речи в первую очередь, также как и отношения между подлежащим и сказуемым утрачиваются первыми в случаях аграмматизма. Дети начинают говорить однословными высказываниями (голофразами), затем они достигают уровня полноценного словосочетания — «little boy», «black cat», «John's hat» и т.д. — последними появляются конструкции, включающие в себя подлежащее и сказуемое. Приобретение подобных конструкций является на самом деле настоящей речевой и умственной революцией. Только на этом уровне появляется независимая от *hic et nunc*, реальная речь. Ученые говорят о некоем «психологическом предикате» в случае когда ребенок видит кошку и произносит слово «кошка». Эта голофраза интерпретировалась как предикат, которым наделяется животное, увиденное ребенком. Но только когда ребенок приобретает способность употреблять подлежащее и сказуемое в их соотношении, только на этом дихотомическом уровне язык становится равен себе в речи ребенка. Уче-

¹⁹ H. Goodglass and J. Berko, «Agrammatism and Inflectional Morphology in English», *Journal of Speech and Hearing Research* II (1968).

²⁰ J. Berko, «The Child's Learning of English Morphology», *Word* 14 (1958).

ные разных стран, наблюдающие за развитием речи детей, стали свидетелями одного и того же явления. Двух-трехлетний мальчик подходит к отцу и говорит «dog meow» (или «meows»), («собака мяукает»), отец поправляет его: «Нет, мяукает кошка, а собака лает». Ребенок расстраивается и начинает плакать. Если, однако, отец готов принять участие в игре, говоря ребенку, «Да, собака мяукает, а дядя лает,» малыш обычно остается доволен. Однако может случиться и так, что малолетний адресант расстраивается именно из-за такого ответа родителя, потому что считает, что говорить о мяукающей собаке — это лишь его детская привилегия, на которую не могут претендовать взрослые. Эта ситуация отражает важный лингвистический факт: в процессе изучения родного языка, ребенок осознает что у него есть право накладывать различные предикаты на одно и то же подлежащее, «dog» («the dog... runs, sleeps, eats, barks»), также, впрочем, как и комбинировать разные подлежащие («dog, cat, Peter, Mommy») с одним и тем же предикатом (напр., «runs»). Почему же тогда ему не довести эту свободу до того уровня, когда он сможет выбирать новые предикаты, как в высказывании «dog meows»? Злоупотребление этой свободой является побочным эффектом речевого и умственного освобождения ребенка от определенной ситуации. До тех пор, пока он просто произносит «runs», или «cat», или «dog», он полностью зависим от окружающего временного и пространственного контекста, но имеет с появлением предложения с подлежащим и сказуемым он вдруг начинает говорить о вещах отдаленных друг от друга в пространстве и времени, о событиях относящихся к далекому прошлому или будущему, и, более того, даже строить целые истории, полные вымысла. Именно эта способность утрачивается в случаях полной грамматической афазии.

Очень показательны в этом отношении — и при усвоении речи, и при ее распаде — наблюдения за высказываниями в повелительном наклонении. В повелительных конструкциях не подразумевается существование пропозициональной модели, основанной на взаимодействии подлежащего и сказуемого. Предположение о том, что повелительные конструкции — попросту трансформированные повествовательные конструкции, совершенно безосновательно. Императив — это самая элементарная речевая форма. Именно по этой причине повелительные конструкции, появляющиеся на самом раннем этапе речевого развития у детей, наиболее устойчивы при грамматической афазии, а явная тенденция флективных языков сводить императивные

формы до голого корня, в свою очередь является убедительной демонстрацией примитивной сущности императива.

Отсутствие личных местоимений, так удивляющее исследователей аграмматизма, — явление параллельное исчезновению маркеров пространственно-временных соотношений. Эти феномены входят в категорию «шифтеров», т.е. тех грамматических классов, общий смысл которых состоит в обозначении связи с тем сообщением, в котором они появляются.²¹ Эти двухсторонние, порой совпадающие классы фигурируют в качестве типичных маркированных суперструктур в грамматических системах, этот факт и объясняет позднее появление в речи детей этих структур, а также их внезапное исчезновение при классических случаях аграмматической афазии.

Когда мы приступаем к рассмотрению²² так называемой «сенсорной» афазии — того типа речевого нарушения, который был недавно выделен ЖДюбуа и А.Екеном и их помощниками, — и сравниваем ее с аграмматизмом, лингвистическая полярность этих двух типов афазии выступает особенно отчетливо. Очевидно, противопоставленность между этими двумя видами синдромов можно продемонстрировать по пунктам.

Суть этого расхождения в том, что при сенсорной афазии ядерные элементы грамматической структуры, такие как, например, существительные, выпадают, тогда как у пациентов аграмматического типа основной инвентарь их речевого словаря формируются именно с помощью существительных. При сенсорной афазии проявляются различные пути, по которым происходит поражение статуса существительных: они просто опускаются или замещаются местоимениями, разного рода приблизительными синонимами, фигуральными выражениями и т.д. Короче говоря, под удар попадают существительные, функционирующие в качестве морфологических единиц в наименьшей степени зависящих от контекста, а среди подобных морфологических единиц, хотя и не всегда, но прежде всего наблюдается выпадение грамматических подлежащих как самых независимых компонентов предложения, функция которых в наименьшей степени обусловлена контекстом. Именно такие самодостаточные единства составляют самую большую проблему для пациентов этого типа.

²¹ См. R. Jakobson, «Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb», in *Selected Writings II* (The Hague: Mouton, 1971), 1971, 130-147.

²² J. Dubois. H. Hécaen et al., «Analyse linguistique d'énoncés d'aphasiques sensoriels». *Journal de psychologie normal et pathologique* 67 (1970), См. Е.С. Бейн, «Основные законы структуры слова и грамматического строения речи при афазиях». *Вопросы психологии*, 1957.

Однажды в Париже доктор Т. Алажуанин представил нам пациента, страдающего типичной сенсорной афазией, полученной в результате автомобильной аварии, когда он находился за рулем грузовика. Чрезвычайно трудно давалось ему начало предложения, даже более того, целое высказывание с именным или местоименным подлежащим. Когда я спрашивал у него, пишущего, что он делает, он отвечал «J'ecris». Когда я повторял тот же вопрос указывая на присутствующего студента, ответ «Il écrit» также следовал незамедлительно. Однако мой вопрос «Что делаю я?», вызвал некоторую задержку, после чего он сказал «Vous écrivez»; то же самое произошло, когда этот вопрос был задан по отношению к пишущей медсестре. Эту любопытную разницу в ответах легко объяснить: во французском vous и elle являются независимыми местоимениями, функционирующими в качестве грамматических субъектов даже в эллиптических предложениях («Qui écrit!» — «Elle!»), тогда как je, tu, il — всего лишь предглагольные местоимения.

Можно только согласиться с утверждением, что при сенсорной афазии главным образом утрачиваются не только подлежащие, но вообще существительные, потому как в отличие от аграмматизма, который представляет собой прежде всего разрушение синтаксиса, при сенсорной афазии на самом деле, полностью сохраняется синтаксическая модель и поражаются главным образом независимые, полностью аутосемантические морфологические категории.

Взаимоотношение между методом обращения с существительными и глаголами составляют один из основных вопросов в изучении речи и речевых расстройств. Дж.Уэпман²³ продемонстрировал преобладание существительных над глаголами среди пациентов страдающих аграмматизмом. Сотрудник Лурии Л.С.Цветкова в своей интересной работе «К неврологическому анализу так называемой динамической афазии»²⁴ показала, насколько трудно для пациентов называть разные глаголы по сравнению с перечислением конкретных существительных. В лучшем случае воспроизводится всего лишь два или три глагола. Я позволю себе в целях эксперимента противопоставить эти данные новым, пока еще подготовительным исследованиям

²³ J.M. Wepman et al., «Psycholinguistic Study of Aphasia», в *Psycholinguistics and Aphasia*, ed. H. Goodglass and S.E. Blumstein (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973).

²⁴ Психологические исследования (Москва: МГУ. 1968); См. A.K. Luria and L.S. Zvetkova, «The Mechanisms of 'Dynamic Aphasia'». *Foundations of Language* 4 (1968).

Р.У.Сперри и МС.Гацаниги по восприятию речи среди пациентов, подвергшихся операциям на мозге.²⁵ Процент воспринятых существительных, улавливаемых правым полушарием, оказался очень высоким, за исключением отглагольных существительных, будь то *nomina actionis* без суффикса или *nomina actionis* с суффиксом *-er* (как в «locker», «teller» и т.д.). Аналогичным образом, прилагательные улавливаемые правым полушарием, опознавались легко, за исключением опять-таки образованных от глагольных корней, таких как «shiny», «dried» и т.п. Что касается глаголов, то «здесь способность к воспроизведению оказалась низкой». Эти данные заслуживают сравнения с данными эссе посвященными классификации языковых феноменов тополога Рене Тома.²⁶

Том ищет основание своих доводов в иерархии грамматических категорий, среди которых существительное в противоположность глаголу является наиболее устойчивым элементом, тогда как отглагольные существительные находятся на том же уровне, что и глаголы, прилагательное же занимает промежуточное положение между существительным и глаголом. Из сопоставления всех этих наблюдений и открытий следует, что глагол представляет собой маркированную категорию, суперструктуру по отношению к существительному; оба процесса — усвоение языка и его разрушение подтверждают такой порядок. Сведение «речевого восприятия, осуществляемого через правое полушарие», к чистым существительным объясняется их немаркированной сущностью. Смысловая маркированность глагола, в противоположность немаркированности существительного, заключается в его принадлежности к временной оси. Таким образом, невосприимчивость к глаголу и синтаксическим последовательностям, развернутым во времени, — это два весьма естественных и взаимосвязанных признака «темпоральной афазии».

Большое количество синтаксических проблем, которые мы встречаем при изучении афазии, можно исследовать в русле иерархии лингвистических структур, а именно, в соответствии с производными, маркированными и первичными, немаркированными разновидностями. Очень показательны в этом плане часто цитируемые примеры детской речи или речи афатиков в

²⁵ M.S. Gazzaniga, *The Bisected Brain* (N.Y.: Appleton Century Crofts, 1970).

²⁶ R. Thorn, «Sur la typologie des langues naturelles: Éssai d'interpretation psycholinguistique», в *The Formal Analysis of Natural Languages*, ed. M. Gross, M. Halle, and M.P. Schutzenberger (The Hague: Mouton. 1973).

языках, которые в номинативе и аккузативе имеют разные окончания. Так, например, русское предложение «Папа (ном.) любит маму (асс.)» можно подвергнуть инверсии, не изменяя соотношения между грамматическим субъектом и объектом, которые образованы с помощью двух различных флексий, однако и афатики, и малолетние ошибочно понимают это инвертированное предложение, а именно, «Маму (асс.) любит папа (ном.)» как «мама любит папу», потому что порядок слов в первом предложении нейтрален, немаркирован, члены же второго предложения маркированы для большей выразительности, а вышеупомянутые слушатели схватывают лишь немаркированный порядок слов. Пример доктора Гудгласса, «*the lion was killed by the tiger*» (льва убил тигр) афатики склонны понимать как «*the lion killed the tiger*» (лев убил тигра), так как при обычном, самом нейтральном порядке слов подлежащее функционирует как грамматический субъект, здесь же оно становится грамматическим объектом, и более того, это происходит потому, что пассив является суперструктурой, налагаемой на актив.

Нельзя не согласиться с доктором Гудглассом, совершенно справедливо отвергнувшем недавно появившиеся предположения, согласно которым афатические дефекты могут затронуть только функции воспроизведения, но не метаязыковую компетенцию пациента.²⁷ Подобные предположения основываются на очень суженном и условном понимании метаязыковой компетенции. Это далеко не статичное и одномерное явление. Любое речевое сообщество и каждый его член имеют в своем распоряжении многообразные возможности, среди которых способность к воспроизведению речи совершенно отличается от способности к ее восприятию; более того, есть существенная разница между способностью к устной и письменной речи, не говоря уже о решающем разделении процессов чтения и письма. Интерпретация этого различия как простой разновидности воспроизведения речи было бы чрезмерным упрощением. Различаются сами коды вышеупомянутых процессов. Паша способность к образованию эксплицитного стиля языка отличается от нашей способности к образованию разных эллиптических конструкций. Следует различать речевые дефекты афатика говорящего и афатика слушающего, и вряд ли ученый может свести их истолкование к проблемам воспроизведения. Изменения в речи афатиков явля-

²⁷ См. E. Weigl and M. Bierwisch, «Neuropsychology and Linguistics» in *Psycholinguistics and Aphasia*, ed. H. Goodglass and S.E. Blumstein (Baltimore, 1973).

ются не просто потерями или дефектами, а замещениями,²⁸ и эти замещения могут иметь систематический характер, или, например, регуляризация неправильных глаголов в стандартном языке, явление родственное постепенному приобретению ребенком навыков по освоению родного языка. Особые виды взаимоотношения между эксплицитными и эллиптическими кодами среди детей или афатиков представляют собой запутанную и неизбежную проблему для исследователей.

Несмотря на то, что лингвисты имеют широкие возможности описания и истолкования афатических фактов в рамках языка, не переступая лингвистического уровня, следует вспомнить, что один из предшественников афазиологии, а так же современной лингвистики, невролог Джон Хьюглингс Джексон рассматривал афазию как одну из разновидностей возможного семиотического расстройства, которая может встречаться либо поотдельности, либо сопутственно с другими дефектами. В качестве общего обозначения явления Джон Хьюглингс Джексон предпочитал термин «азимазия» предложенный Алланом Маклейном Хэмилтоном²⁹ Конечно, довольно часто расстройство может ограничиваться исключительно языком, но мы должны тщательно рассмотреть проблемы языка в отношении к другим проблемам языка, таким, как жесты, графика, музыка и т.д. и их взаимосвязь. Несмотря на то, что были проведены важные исследования алексии и аграфии, при изучении афазии часто игнорируются вопросы о связи и различии между речью и письмом. Когда, например, афазию обсуждают только и прежде всего на основании устной реакции пациента на написанные слова, проблема сущностной разницы между написанными и произнесенными словами не берутся в расчет. Существует также заметная разница между тем, как пациенты реагируют в своих высказываниях на сами объекты и на изображения этих объектов, так как изображения вступают в поле знаков, и являются семиотическими фактами. Такие вопросы, как разрыв между афазией и амузией, со всей ясностью продемонстрированные Е.Фейхтвангером в начале 1930-ых,³⁰ могут и должны сопоставляться с поразительно частым отсутствием слуха и музыкальных способностей среди великих поэтов, прославившихся именно

²⁸ См. John Hughlings Jackson, *Selected Writings 1* (New York, 1958)

²⁹ J.H. Jackson, *op. cit.*, Allan McLane Hamilton, *Nervous Diseases: Their Description and Treatment* (Philadelphia, 1878).

³⁰ E. Feuchtwanger, «Das Musische in der Sprache und seine Pathologie» *Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences* (Amsterdam, 1932).

«музыкальностью» стиха, которая в данном случае становится попросту метафорой.

Короче говоря, дальнейшее развитие лингвистических исследований афазии нуждается в большем сосредоточении на описании и классификации чисто языковых синдромов,³¹ но с постоянным соотношением их с семиотической структурой. Развитие любых лингвистических и, в частности, невролингвистических исследований зависит от специалистов, все больше и больше принимающих во внимание то, что факт различия между изучаемыми случаями болезни состоит не только в отсутствии или наличии определенных свойств, то также — и главным образом — в различии между преобладающими в каждом конкретном случае признаками, а именно, в разной иерархизации этих свойств.

³¹ См. такие недавно появившиеся исследования как *Disintegration of the Linguistic System in Aphasia* М. Заребиной — польский текст с заключением на английском языке. (Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1973).

ВКЛАД ЭНТОНИ В ТЕОРИЮ ЛИНГВИСТИКИ ¹

Монологи, произносившиеся в полусне двухлетним Энтони, записанные на пленку, расшифрованные с нее и проанализированные его матерью. Стэнфордским лингвистом Рут Уир, подводят нас к интереснейшей и до сих пор не исследованной области языка. Как обнаружилось при исчерпывающем анализе внутренней речи, проведенном Выготским, так называемая «эгоцентричная» речь детей — это «переходная связь между внешней и внутренней речью». Нас же учили, что «эгоцентричная речь — это внутренняя речь в ее функциях; это речь, направленная вовнутрь». В развитии ребенка речь оказывается «интериоризирована психологически прежде чем она интериоризируется физически». Энтони добавляет новый и совершенно уместный штрих к открытию Выготского.

Наша внешняя речь направлена к адресату и нуждается в слушателе. Наша внутренняя речь не встречается ни с каким слушателем и не должна достигать действительного адресата. Эгоцентрическая речь детей не относится ни к какому внешнему адресату, но терпит, а не редко даже предпочитает присутствие слушателя, в то время как их речь перед сном не подразумевает присутствия слушающих людей. Она полагается как подлинный монолог, *privatissimum* говорящего, готового пресечься, как только он поймет, что его одиночество было нарушено. Отсюда речевая деятельность ребенка в его детской кроватке на шаг приближает нас к подлинной внутренней речи, а именно, к наиболее сокровенной и непонятной ее разновидности — к речи снов. Монологи засыпающего Энтони демонстрируют наводящее на многие размышления проникновение в речь наших снов, которая в целостности нашего речевого поведения играет не менее важную роль, чем сами сны в нашей умственной жизни.

Для лингвистического исследования в этой пограничной области внутренней речи и речи снов особенно заманчивы многообразные случаи редукции и конденсации. Вряд ли можно встретить более благодатный текст для исследования радикальных эллипсисов на различных уровнях языка — фрагментацию не

¹ Предисловие к книге Рут Уир, *Language in a Crib* (The Hague, 1962). [Перевод К. Голубович]

только сложных предложений, подчиненных предложений и словосочетаний, но так же слов, употребляемых бок о бок в полных и в сокращенных формах: *Энтони* и *Энто* — *танцевать* и [тан], *ослик* и [ос] (*Anthony* и *Antho-*, *dance* и [daen-], *donke* и [don-]).

Иногда сложно отделить типичные черты внутренней речи вообще от тех, что характеризуют речевое развитие маленьких детей. Тем не менее здесь с легкостью можно найти новые ценные подходы к исследованию языка детей. Согласно тонким наблюдениям Рут Уир, снижение когнитивной, референтной функции в монологах Энтони усиливает все другие функции языка. Типичной особенностью речи детей является тесное переплетение двух функций — металингвистической и поэтической, — которые вполне раздельны в языке взрослых. Хотя центральная роль, которую играет при изучении языка усвоение метаязыка, хорошо известна, преимущественно металингвистическое отношение к языку у сонного ребенка вызывает большое удивление. Оно показывает нам пути, по которым происходит постепенное овладение языком. Многие из записанных отрывков имеют поразительное сходство с грамматическими и лексическими упражнениями в руководствах по самостоятельному изучению иностранного языка:

«What color — What color blanket — What color mop — What color glass....Not the yellow blanket — The white....It's not black — It's yellow... Not yellow — Red.... Put on a blanket — And yellow blanket — Where's yellow blanket....Yellow blanket — Yellow light....There is the light — Where is the light — Here is the light.» («Какой цвет — Какой цвет одеяло — Какой цвет тряпка — Какой цвет стакан... Не желтое одеяло — Белое...Это не черный — Это желтый... Не желтый — Красный... Клади на одеяло — Белое одеяло — И желтое одеяло — Где желтое одеяло... Желтое одеяло — Желтый цвет... Свет — Где свет — Вот свет.»)

Осуществляется выбор определений для одного главного слова и выбор главных слов для одного определения: «Big and little — Little Bobby — Little Nancy — Big Nancy.» («Большой и маленький — Маленький Бобби — Маленькая Нэнси — Большая Нэнси.») Антонимы (либо контрарные либо противоположно направленные) следуют один за другим: On the Blanket — Under the Blanket...Berries — Not berries... Too hot — Not too hot.» («На одеяле — Под одеялом...Ягоды — Не ягоды... Слишком горячий — Не слишком горячий.») Разделительный союз *или* (*or*) отсутствует. Члены парадигматической группы (либо лексической, либо грамматической), соединенные друг с другом соединительным союзом *и* (*and*), открыты для выбора: «Hat for Anthony and Bobo

— For Bobo — Not for Anthony — Hat for Anthony». («Шляпа для Энтони и Бобо — Для Бобо — Не для Энтони — Шляпа для Энтони»). Желанный выбор наконец сделан: обозначенным собственником является Энтони.

Он практикует различные грамматические формы с одной и той же вокабулой, особенно с одним и тем же глаголом: «*Fix the music — Music is fixed... Cobber crossed the street — Cobbers always cross the street... («Включи музыку — Музыка включена...Сапожник перешел через улицу — Сапожники всегда переходят улицу [с наречием наглядно противопоставляющим настоящее претериту]... «Anthony write — Pencil's always writing («Энтони пишет — Карандаш всегда пишущий [пара за которой следуют и поддерживают ее параллельная пара: улыбающийся — улыбается, smiling — smile]). «Take off— Took off.. See — I see... Where are you going — I am going.» («Убери — Убрал ..Видеть - Я вижу... Куда ты идешь — Я иду».) Вокабулы, употребляющиеся одновременно и в глагольной и в именной функциях, противопоставляются: «Can bite — Bite — Have a bite» («Могу укусить — Укус — Кусни»)... Broke the vacuum — The broke — Get some broke — Alice broke the baby fruit (Разбил пылесос — Разбился — Возьми немного мелочи — Элис разбила маленький фрукт) [слово *break* (разбивать, ломать) как правило заменяется чередуемым *broke*]. Существительные и глаголы нарочно употребляются бок о бок со своими анафорическими субститутами: «Take the monkey — Take it... Stop the ball — Stop it... Go for glasses — go for them...Don't jump — Don't ticklish — Don't do that» («Возьми обезьяну — Возьми... Останови мяч — Остановись...Иди за очками — иди за ними... Не прыгай — Не щекочи — Не делай этого»).*

Грамматические чередования и чисто фонематические минимальные пары намеренно связаны друг с другом: /tok/ — /tuk/ — /bæk/ — /tuk/ — /tek/ — /buk/... /wat/ — /nat/ — /nait/. *Light* (свет, огонь) и *like* (любить) или *likes* (любит) к *lights* (огни) прикреплены друг к другу. *Back* (обратно) и *wet* (мокрый) смешены в слово-гибрид *Babette*. Таким образом речь ребенка перед сном, лексические, морфологические и фонематические группы оказываются спроектированными с парадигматической оси на ось синтагматическую.

В цепочке повторяющихся предложений вариация внутри каждой пары ограничена до единицы:

<i>There's a hat</i>	<i>Вот шляпа</i>
<i>There's another</i>	<i>Вот другая</i>
<i>There's hat</i>	<i>Вот шляпа</i>
<i>There's another hat</i>	<i>Вот другая шляпа</i>

That's a hat *Это шляпа*

Причудливое взаимодействие двух синтаксических операций — правильно выделенных Рут Уир как «постройка» (build-up) и «расстройка» (break-down) — явно сходны с игрою сверстников Энтони, которые поочередно то собирают, то разбирают свои игрушки. Постепенное конструирование предложения из изначально отдельных и автономных компонентов, каждого со своей предикативной функцией, и, с другой стороны, поступательное наполнение и расширение рамок изначально предложения — одинаково поучительные процедуры, которые выводят на свет механизм синтаксического обучения и тренировки. Как информативны, например, границы предложения у Энтони, где место существительного выделяется артиклем, тогда как само существительное еще не выбрано:

Anthony takes the — Take the book...This is the — This is the — Book... That's a — That's a — That's a kitty — That a Fifi here Mommy get some — Mommy get some — Soap.»

(Энтони возьми — Возьми книгу... Это — это — книга...Это — Это — Это котенок — Это вот Фифи... Мама возьми немного — Мама возьми немного — Мыла»).

Предикативные сочетания без выраженного подлежащего только с деиктическим местоименным подлежащим (That's a kitty) и переходные формы между субъектно-предикатными повествовательными и побудительными последовательностями указывают на то, как четкие двусловные предложения могут смутить сонного ребенка. Предпочитаемые им типы предложений это просто дополнение к подразумеваемой или затребованной ситуации.

Языковая игра Энтони перед сном как общий итог его дня настоятельно требует дальнейшего исследования, в частности того, насколько обычны такие самообразовательные лингвистические игры среди засыпающих детей. Однако как бы ни была важна металингвистическая функция в записях Рут Уир, она права, усматривая здесь и присутствие других функций. В особенности последний и самый длинный из «параграфов» Энтони, обсуждаемый его матерью, с его восемь раз повторяющимся мотивом Daddy dance (Папа танцует), не только является изысканным уроком грамматики, но также и трогательным, полным горечи психоаналитическим документом, использующим весь запас выразительных средств ребенка. И самое главное — это подлинная и прекрасная поэтическая композиция, сопоставимая с шедеврами детского искусства — речевого и поэтического:

That's for he — Mamamama with Daddy — Milk for Daddy — OK — Daddy dance — Daddy dance — Hi Daddy — Only Anthony-Daddy dance- Daddy dance — Daddy give it — Daddy not for Anthony — No — Daddy — Daddy got — Look at Daddy (*falsetto*) — Look at Daddy here — Look at Daddy — Milk in the bottle — I spilled it — Only for Daddy — Up — that's for Daddy — Let Daddy have it — Take off — Take off — The — Turn around- Turn around — Look at donkey — that's the boy — That's the donkey — [dan] Daddy [dan] — Pick up the [den] — I can pick up — I can — How about — How about the Daddy — OK — Daddy's two foot — Daddy had some feet — [bi:be] — Put on a record for you — What Daddy got — Daddy got — On the plane — Look at the pillow — What color pillow — What color — Is not black — It's yellow — Daddy dance — Ah, Daddy — Take it to Daddy — Daddy put on a hat — Daddy put on a coat — Only daddy can — I put this in here — See the doggie here — See the doggie — I see the doggie (*falsetto*) — I see the doggie (*falsetto*) — Kitty likes doggie — Lights up here — Dady dance — Daddy dance — Daddy dance — With Bobo — What color's Bobo — What color's Bobo

(Это для него — Мамамама с Папой — Молоко для Папы — О'кей — Папа танцует — Папа танцует — Хэй Папа — Один только Энтони — Папа танцует — Папа танцует — Папа дай это — Папа не для Энтони — Нет — папа — Папа получил — Посмотри на Папу (*falsetto*) — Посмотри скорее на Папу — Посмотри на Папу — Молоко в бутылке — Я пролил его — Только для Папы — Вверх — Это для Папы — Дай это Папе — Уноси — Уноси — Это — Повернись кругом — Повернись кругом -0 посмотри на ослика — Это мальчик — Это ослик — [ас] Папа [ас] — Подними [ос] — Я могу поднять — Я могу — Как насчет — Как насчет Папы — О'кей — Две ноги Папы — У Папы есть немного ног — Запишу для тебя на пластинку — Что есть у Папы — У Папы есть — На самолете — Посмотри на подушку — Какого цвета подушка — Какого цвета — Не черного — Она желтого — Папа танцует — Ах, Папа — Отнеси это Папе — Папа одел шляпу — Папа одел пальто — Только Папа может — Я кладу это сюда — Посмотрика на собачку — Я вижу собачку (*falsetto*) — Я вижу собачку (*falsetto*) — Здесь свет — папа танцует — Папа танцует — Папа танцует — С Бобо — Какого цвета Бобо — Какого цвета Бобо).

ПОЭТИКА

О РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ¹

Страсть к собиранию пословиц владела мной с тех самых пор, как я научился выводить буквы. Я с рвением заполнял ими пустые календарные страницы. Беседы со специалистами по детской психологии, Шарлоттой Бюхлер и Розой Кац, только усилили мое убеждение в том, что такие инфантильные наклонности никогда не случайны в своем выборе и никогда не проходят без последствий для позднейшего развития. Пословица принадлежит одновременно и к повседневной речи, и к словесному искусству. Можно в совершенстве знать синтаксические и морфологические правила русского языка, так же как и его словарь, и тем не менее оказаться озадаченным предложением — *Семеро проехали на одном колесе* — если, конечно, слушатель заранее не знает смысла пословицы — «Пустое любопытство должно оставаться неудовлетворенным». Тождество первого и последнего слога —сé— в приведенной последовательности (*Семеро***колесе*), так же как и соответствие между обеими заударными двусложными группами в конце двух начальных слов (*Семеро проехали*) и предударными двусложными группами двух последних единиц (*на одном колесé*) превращает эту четырех словную группу в симметричное дихотомическое образование из двух бинарных частей. Таким образом, пословица — это наибольшая кодированная единица, возникающая в речи и, одновременно, самое короткое поэтическое сочинение. Относительность построения пословицы сжато выражена в присказке: *Пень не околица, одна речь не пословица*. Шестилетний мальчик, замороженный этими переходными формами между языком и поэзией, был обречен оставаться на распутье между лингвистикой и поэтикой.

Каждый говорящий прекрасно понимает, что любая пословица, которую он употребляет, — это речь, цитируемая внутри речи, и часто использует голосовые средства для того, чтобы эти цитаты выделить. Они воспроизводятся дословно, но отличаются от других цитат тем, что не имеют автора, к которому бы относились. Таким образом, в каждом, кто использует пословицы, развивается интуитивное чувство устной традиции, имеющее осо-

¹ Написано в Кембридже. Mass., для журнала *Arg* 60 (1975), посвященного Якобсону. [Перевод К. Голубович]

бую природу, и в своем дискурсе он обращается с этими готовыми формулами как со своей личной собственностью; точно так же члены речевого сообщества поступают с любым элементом данного речевого кода. Можно вспомнить вступительный параграф эссе Велимира Хлебникова *О пользе изучения волшебных сказок*: «Это не раз случалось, что будущее зрелой поры в слабых намеках открыто молодости».¹

На бедного Макара все шишки валяются — эта пословица навсегда поразила мое детское воображение. Таинственный Макар возникает как эпический герой *in pise*: склоняешься к тому, чтобы интерпретировать эту поговорку как заключительную отсылку к какой-то предполагаемой, но пропущенной истории, и во многих фольклорных образцах пословица часто является морализирующим посылом самого рассказа. Или, наоборот, пословица кажется зерном самого вымысла. Желание Толстого придумать истории «на пословицы» — яркое выражение этого отношения. Пословица может закрывать или открывать действительное или вымышленное повествование, *не бывший, но вполне возможный эпос*, согласно лаконичному утверждению Юрия Олеши, но в любом случае в двух этих видах словесного искусства обнаруживается тесная взаимосвязь, и исторические связи между их формами вполне естественны (см. стр. 458 f., 461).

Несмотря на то, что от начала моей «полевой работы», меня отделяет много лет, детское беспокойство о Макаре никогда не покидало меня. Я часто мог бормотать *кара Макара* или выкрикивать поговорку, посвященную тому же герою: *куда Макар телят не гонял* — с нечаянным тяжело падающим ударением на четыре его оксютона. Почему этот несчастный парень должен был скитаться по миру? Тройной провербиальный перевертыш *Макар да кошка, комар да мошка* не помог разрушить моей зачарованности, несмотря на впечатляющее обратимое чередование *к* и *м* в обеих фразах. Если пословицы рождают эпические ассоциации, противоположный переход от эпической речи к гномическим формулам не менее плодотворен. Дети усердно практиковали свойственное русскому искусству вкрапления в дискурс провербиальных изречений, и таким образом, учились соотносить свой индивидуальный опыт с установленными максимами: по сути своей пословицы — нельзя не согласиться с *Lidov'a prislov'l s logich'eho blediska* (Прага, 1956) — это парадигматические логические пропозиции. Однако пословицы являлись

¹ См. Собр. произведений Велимира Хлебникова, 1928-1933 т. V. стр. 196.

только одним из механизмов, знакомивших нас с устной поэзией.

Увлеченность фольклором все возрастила, не переставая держать нас, московских детей, во власти своих чар, даря странные вокабулы, темные, неясные мотивы, загадочные, бросавшие нам вызов аллюзии.

В парке Чистые Пруды детишки продолжали водить хороводы под старинные песни, играть в традиционные народные игры, скандировать считалки: *Ты не бойся тивуна, Тивун тебе не судья*. Однако кто был *тивун*? Никто из игроков не смог бы ответить. Древнерусское *тивун*, или *тиун* ('слуга'), заимствованное из древне-норвежского *þjónn* ('слуга'), является, как не раз отмечали исследователи народного творчества, одним из тех архаизмов, которые, с неясным и неопределенным значением, вошли в считалки вместе с причудливыми словосочетаниями и многими преобразованными варваризмами. Этот фантазмагорический словарь, колеблющийся между смыслом и бессмыслицей, был неразрывно связан с особой образной формой и роскошной звуковой текстурой считалок, что делало их в течение ранних моих лет прекрасным предисловием к позднему поэтическому поиску заумного языка. В своем тщательном описании и собрании «игровых прелюдий» — *Русский фольклор, I: Игровые прелюдии* (Иркутск, 1930) — Г.С. Виноградов внимательно рассмотрел содержащиеся в них бессмысленные слова и признал главную сущность считалок в магической жеребьевке, на что указывают и их диалектные обозначения, *гадалка* и *ворожитка*. Виноградов отсылает к Арефьеву, енисейскому этнографу, знакомому с искусством шаманов, открывшему, что, используя совершенно загадочные слова и выражения, дети хотят придать более таинственный и сверхъестественный характер своему счету и «употребить своего рода шаманизм». Эти соображения заставили Виноградова увязать игровые прелюдии с воплощениями, обожествлением и предсказаниями.

Мне довелось прочитать исследование Александра Блока *Поэзия заговоров и заклинаний* (1908), вскоре после того, как оно было опубликовано, и я был изумлен и обрадован тем, как резко это исследование порывало с представлениями, которым нас обучали в наших учебниках по устной литературе. Оно содержало прекрасный пример «странных волшебных песен», полных непонятных слов и исполняемых для защиты от русалок:

Ау, Ау / шиксАрдА кАвдА! //
шивдА, внозА, / миттА, минозАм, ///

и захватывающих своим настойчивым повторением звука *а* (здесь написанное с большой буквы), своими дважды, даже трижды гипнотически повторяемыми звуковыми последовательностями (зд. выделенными курсивом; и жестким разделением четверостишия на двустишия, строфы, полустиишия и двучлены, взаимосвязанные двойными двугласными ассонансами, сначала внутри полустииший начального стиха, затем между полустиишиями второго стиха и затем внутри стихов второго двустишия, в то время как все четыре стиха связаны на концах воедино гласным *А*: *ау — ау / аа — аА // иа оа / — иа оА /// ****;аА // — ***иу / ***иА // ***ии / ***иА ///*. Эта согласованность усилена четверным повтором одного из этих ассонирующих гласных — второго на протяжении второго стиха (четыре *а*) и первого на протяжении начального стиха (четыре *а*) и последнего двустишия (четыре *и*) Четверостишие проявляет сжимающуюся изосиллабическую тенденцию : 4/5 // 4/5 /// 3/6 // 5/5 ///. Каждое двустишие заканчивается полустиишием 2+3, более того, содержит одно инвертированное двустишие 3+2. В первом двустишии каждый стих имеет одно полустиишие из двух силлабических двучленов 2+2, тогда как в каждом стихе второго двустишия одно полустиишие начинает с тетрасиллабического двучлена. Таким образом, каждый из четырех образцов представлен в четверостишии двумя полустиишиями. Эта кристальная магическая формула заставила меня перейти от собирания и толкования детского фольклора к длительному изысканию и исследованию опубликованных русских заклинаний, особенно заумных речевых заговоров. Накануне 1914 г. я поделился содержанием своих выписок с поэтом Велимиром Хлебниковым и в ответ получил его последнюю брошюру *Ряв* с посвящением: «В Хлебников. Установившему родство с солнцевыми девами и Лысой горой Роману Якобсону в знак будущих Сеч.» В своей драматической поэме *Ночь в Галиции* Хлебников немедленно использовал мою маленькую подборку, в особенности «Песню ведьм с Лысой горы» из *Сказаний русского народа* И.Сахарова, с причудливой ремаркой «Русалки поют по учебнику Сахарова, который держат в руках». Пять лет спустя, когда мы, готовя публикацию, продумывали его собрание сочинений, Хлебников вспомнил ту же самую подборку образцов заговоров и написал в своей посмертно опубликованной заметке: «Заклинания являются как бы заумным языком внутри народ-

ного слова. Этим словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы».²

В то же время другой тип чистой неологизации в устной русской поэзии (наречия, на которых говорят во время хлыстовских экстатических ритуалов) — сосредоточил мое внимание на внутренней структуре этих заклинаний, их семантической интерпретации самими говорящими и тех чертах, которые разделяют между собою заумные высказывания различных «пророков», относящиеся, таким образом, к общему коду. Московские архивы Министерства юстиции сохранили записки специального комитета, который занимался деятельностью сектантов в середине восемнадцатого века. Согласно описаниям, данным в этих документах (*Описание документов и бумаг, хранящихся в Моск. Архиве Министерства Юстиции, VI*), найденным мной в Румянцевской библиотеке, петербургский наставник хлыстов, Иван Чуркин, учил верующих, кружась на месте, произносить следующую фразу. *Киндра фендра киравека*. Достаточно даже поверхностного знакомства с начатками фонетики, чтобы увидеть строгую избирательность и повторяемость используемых звуков и обнаружить, что все четыре нечетных звука этой последовательности содержат переднюю гласную, тогда как безударное *a* фигурирует в качестве гласной среди четырех четных звуков. Все три внутренних *a* в этой формуле, заполняющие второй слог трех его членов, вводятся звуком *p*. а первым двум — *pa* — предшествует один и тот же пучок *нд*. Из четырех нечетных передних гласных первый и третий — это *и* с предшествующим согласным *к*. тогда как второй и четвертый — *е* с предшествующим губным фрикативным, сначала *фе*, затем *ве*.

Документы вышеупомянутого комитета содержат два других примера глоссолалии, записанных у двух других ересиархов. Я был поражен их сходством. Первые два «слова» заклинания, записанные в 1747 г. у московского торговца Сергея Осипова — *рентре фенте* -- соответствуют словам текста Чуркина по количеству слогов (2+2). теми же пучками и тем же числом идентичных согласных (кроме глухоты дентального взрыва и отсутствия *к*). В глоссолалии московского монаха Варлаама Шишкова, допрошенного под пыткой в 1748 г., тоже возникает несколько аналогий; в особенности восклицание *натруфунтру*. переводимое этим эзотерическим учителем как «будь боязлив, человек, перед молитвой», полностью соответствует консонантному строению процитированной фразе, принадлежащей Осипову. Определение сектантами дара к наречиям как *говорения ино-*

² См. там же.

странными языками легко находит свое оправдание в употреблении всеми тремя говорившими таких откровенно чуждых для русского языка черт, как согласная *ф* и пучки *ндр* или *нтр*. «Стабильность поэтических приемов и обозначений» в словесном искусстве хлыстов и традиционный характер их импровизаций, наблюдаемый издателем московских документов В.В. Нечаевым, может быть также расширен и до глоссолалии.

Способный и эксцентричный крестьянин — умелый ремесленник и преданный сектант — жил в деревне Захаровка Белевского района Тульской области, где я и встретил его, оставаясь на летних каникулах с семьей моего друга Владимира Жебровского. В начале 1914 г. сестра последнего, Ольга, в поисках мастерского зашла в его избу и увидела его сидящим на полу и тщательно глядящим кошку по спине: «Что вы делаете?» — «*Купюру по фендре глажу*» — ответил он. Этот переданный мне ответ удивил меня и, поскольку заклинание Чуркина было еще свежо в моей памяти, я попросил Ольгу спросить мужика, что такое *киравека*. «*Киравека — слово старое, слово мудрое*», — был его ответ. «А что это значит?» — «*А пословицу знаешь? у бабы волос долог... Оно не твоего ума дело*». Таким же образом экстатическая речь кружащихся пророков характеризовалась ими, согласно обзору Нечаева, как находящаяся вне их собственного разума (*Я говорю не от своего ума*).

В «странном языке» экстатических пророком обнаруживается не только яркая, по-настоящему ощутимая однородность, но так же и любопытное сходство с малопонятными «игровыми прелюдиями» или заклинаниями, в особенности же это проявляется в склонности к необычным фонемам, таким как *ф* и пучкам *н* плюс *т* или *д* без или с последующим *р*. «Если бессмыслица — это искусство, у него должны быть свои законы построения». Когда применяешь этот завет Элизабет Севелл к абстрактному фольклорному искусству, становится ясно, что структурные правила, лежащие в основе этих жеребьевок, колдовства и пророчеств так четки и прозрачны, что заставляют исследователя ожидать и находить явно более сложные, но все же аналогичные композиционные принципы в других, уже стратифицированных видах устной традиции — формах с взаимобменом между их внешним и внутренним уровнями.

Директор Лазаревского Института В.Ф. Миллер, настоящий знаток эпической традиции, был для всех нас живым олицетворением усердия и любви к фольклорной поэзии. Наши занятия русским языком и литературой начались под руководством В.В. Богданова, серьезного фольклориста и издателя весьма информа-

тивного журнала *Этнографическое обозрение*, и продолжились под руководством Нарского — вдохновенного и вдохновляющего преподавателя письменной и устной традиции, необычайно одаренного и глубоко ей преданного. Среди профессоров Московского университета любой специалист по славянским языкам и литературам был страстным знатоком устной поэзии; фольклору были посвящены специальные курсы и семинары, занимавшему важное место в общих курсах по русскому языку и литературе. Когда в 1915 г. факультетом был установлен премия им. Ф.И. Буслаева за студенческие работы, первой из предложенных была тема «Язык мезенских былин». Студенты и младшие университетские сотрудники активно участвовали в собраниях московских этнографических и фольклорных. В марте 1915 г. группа молодых студентов основала Московский Лингвистический кружок; нашей первоочередной задачей считалось исследование московского диалекта и фольклора и коллективное исследование стихов и языка былин, записанных, как утверждают, в XVIII в. Киршей Даниловым. Почти все организаторы кружка провели летние каникулы 1915 и 1916 гг. в лингвистических и фольклорных экспедициях. Исследование диалекта и устной традиции Верейского района Московской области стали целью совместного исследования, проводившегося в мае и июне 1915 г. П.Г.Богатыревым, Н.Ф.Яковлевым и мной. Мы встретили замечательных рассказчиков и записали около двухсот сказок, вместе с большим количеством песен, примет, пословиц, загадок, верований, ритуалов и обычаев. Народная традиция в городском районе и по соседству с ним оказалась гораздо более устойчивой, жизнеспособной и продуктивной, чем это обычно принято думать. Проект, представленный профессором Е.Н. Елеонской и принятый комиссией по фольклору. — о подготовке обширного издания сказок, собранных в различных районах Московской губернии — обязан своим появлением нашему Верейскому опыту.

Смешение правды и фантазии, действительности и стереотипных вымыслов, мигрирующих в пространстве и времени, которое мы наблюдали в историях, рассказанных нам крестьянами о событиях исторического прошлого, имело поразительную аналогию со сплетнями тех же самых информантов, когда они обсуждали события дня, например, неудачи на германском фронте, глупые неурядицы в официальных кругах, приключения Распутина, который был втиснут в традиционный образ фольклорных сказок о жуликоватом слуге, обманывающем своего хозяина, или наконец о шедших в Москве уличных боях и их местных интерпретациях. Многочисленные записи о нашей полевой работе и

наши исследования собранных волшебных сказок и других повествований исчезли (я все еще надеюсь, что временно), и в ленинградских архивах Академии Наук остался только план моего и богатыревского доклада об этой экспедиции, сделанного на заседании вышеупомянутой комиссии в конце 1915 г. В нем с осторожным намеком на «высокопоставленную персону», завуалированным языком упоминалось, что московские слухи о связи царицы с Германией были превращены деревенскими сказителями в записанные нами в деревне Смолинское странные легенды о полотне и хлебе, предназначенных для русских солдат, но в действительности отправленных царской женой и ее свитой немецким войскам, или о ее предательских дарах сражающимся — рубашках, пропитанных смертельным ядом, которые на третий день убивали носившего

Когда в конце мая мы втроем начали наш сбор этнологических материалов в селе Новинское, слухи о беспорядках в Москве и ограблениях преимущественно немецких магазинов распространялись в поразительно раздутой и искаженной форме. Посетители местных чайных соперничали друг с другом в рассказывании басен о русских генералах, закованных в цепи и проведенных через всю Москву на глазах всего народа за сдачу галицинской крепости и о городских облавах на немецких шпионов, пойманных во время составления тайных замеров и планов (*плантов*) отравления колодцев и распространение эпидемий. Глубоко укоренившиеся сказочные клише были приспособлены к текущей ситуации.

Вышеупомянутое сообщение 1915 г. содержит краткий отчет о попытках крестьян причислить нас самих к злодеям из этих буквально на наших глазах зарождающихся сказов. Шпионские вымыслы, циркулировавшие в Новинском, были отнесены изобретательной местной жительницей и к нам троим. Клеветнические слухи были быстро подхвачены сначала деревенскими женщинами, а затем и мужчинами, которые хоть и смеялись обычно над дикими сплетнями женщин, насмешливо называя их «Деревенским вестником», но тем не менее поспешили разделить их домыслы. Слухи разрастались: нас вроде бы «слышали», когда мы говорили друг с другом по-немецки, нас «видели», когда мы отравляли колодцы. Окруженные явно враждебной толпой, мы должны были открыть наши чемоданы и предъявить их содержимое. Когда Н.Ф. встряхнул свою рубашку с тем, чтобы показать, что в ней ничего не спрятано, старая женщина запричитала; *«Натютки, напущаеть, напущаеть»* (колдует). Искавшие подозревали, что пузырьки с ядами были спрятаны у нас на груди или

в подмышках. Наши документы были объявлены фальшивыми, а наши очки признаны доказательством нашей немецкости. Приходили другие жители деревни и толпа снабжала их все более и более сложными и фантастическими сведениями о трех обнаруженных «немцах». Мы наблюдали радикальный пример возникновения, разветвления и смешения формульных ответов на животрепещущие темы. Как утверждалось в нашем докладе, «возникало то, что, вероятно, можно назвать коллективным творчеством». Когда после горячего обсуждения нам наконец удалось покинуть деревню, женщины все еще кричали: «Чего это мужики медлят?» Люди вновь взбудоражились; они опять решили свести счеты с нами, и мы увидели вооруженных кольями крестьян, бежавших за нами вслед. Капралу, случайно оказавшемуся здесь же, удалось предотвратить насилие, но уловки трех злодеев, чье вероломство обмануло бдительность народа, превратилось в избитую, обычную тему страшных историй, рассказывавшихся со все большими прикрасами не только в Новинском, но так же и в окружающих деревнях.

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ? ⁱ

«Гармония — результат контраста,» — сказал я.
«Весь мир создан из противоположных элементов. А...» «А поэзия, — вмешался он, — настоящая поэзия — чем живее и неповторимее ее мир, тем противоречивей контрасты, среди которых и возникает тайное сродство».
Карел Сабина (1813 — 1877). биограф и близким друг чешского поэта-романтика Карела Хинека Махи (1810-1836).

Что такое поэзия? Чтобы определить значение этого слова, мы должны были бы сопоставить то, что является поэзией, с тем, что не является ею. Но даже установить, чем не является поэзия, теперь уже не так-то просто.

Список приемлемых поэтических тем во времена неоклассического и романтического периодов был вполне ограничен. Традиционный инвентарь — луна, озеро, соловей, скала, роза, замок и тому подобное — хорошо известны. Романтикам даже в сновидениях не разрешалось покидать проторенный путь. «Сегодня во сне я видел, что стою среди руин, продолжающих беспорядочно рушиться вокруг меня, — пишет Маха. — И внизу в озере я увидел купающихся нимф ... влюбленного, идущего на могилу своей возлюбленной, чтобы соединиться с нею ... А затем груды и груды костей вылетали из окон готических руин». Готические окна, желательно со светом луны, просачивающимся сквозь них, почитались превыше всех остальных окон. В наши же дни чудовищные зеркальные стекла универсальных магазинов и крошечные, засиженные мухами оконные стекла деревенских гостиниц имеют одну и ту же поэтическую ценность. И вылететь из них в

ⁱ Вначале было прочитано как лекция на чешском в Художественном обществе Мане, Прага, и опубликовано под названием «Co je poezie?» в журнале *Volné smery* 30 (1933-1934), стр. 229-39. Перевод на англ. M. Heim'n впервые появился в сборнике *Semiotics of Art: Prague School Contributions*, изд. L. Matejka и I. Titunik (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1976), стр. 165-75. [Перевод К. Голубович]

наши дни может почти все, что угодно. Чешский сюрреалист Витезслав Незвал пишет:

Меня может поразить посреди предложения сад
Или гальюн — не имеет значения
Я больше не различаю вещи по той привлекательности
И по той неприметности, которыми вы их наградили ⁱ

Для современного поэта, как и для старшего Карамазова, "не бывает такой вещи, как некрасивая женщина". Ни один укромный уголок, ни одна трещина, ни одно занятие, ландшафт или мысль не выступают за пределы предмета поэзии. Другими словами, вопрос о предмете поэзии, материале, не имеет сегодня никакого смысла.

Можно ли тогда ограничить набор поэтических приемов? Ни в малейшей степени; вся история искусств свидетельствует об их постоянной изменчивости. Назначение приемов также не обременяет искусство никакими запретами. Достаточно только вспомнить, как часто дадаисты и сюрреалисты предоставляют случайному происшествию писать за них поэзию. Стоит только понять, какое наслаждение великий русский поэт Хлебников получал от типографских ошибок, типографская ошибка, сказал он однажды, часто является первоклассным художником. В средние века расчленение классических статуй объяснялось *невежеством*, сегодня скульптор сам производит свое расчленение, но результат (визуальная синекдоха) тот же самый. Как интерпретировать музыку Мусоргского или живопись Анри Руссо? Как гениальность или как художественное невежество их создателей? Что порождает грамматические ошибки Незвала? Недостаток школьного знания или сознательное отрицание такового? Каким бы образом смягчился диктат нормы русского литературного языка, если бы не украинец Гоголь и его нечистый русский? Что бы написал Лотреамон вместо *Shants de Maldoror*, если бы он не был безумен? Подобного рода спекуляции принадлежат к категории анекдотических тем, наподобие известной темы для

ⁱ Мы приводим собственный перевод Якобсона с чешск., по сравнению с которым русский художественный перевод не всегда расставляет те же резкие акценты; ср.:

Чем сильнее забыто искусство рассказывать просто.

Тем сильнее ослепляет сад среди фраз.

Я уже не различаю яви по топ красоте или уродливости, какие вы ей присудили.

Пер. В. Логовского и Л. Голембы (Антология чешской поэзии в 3-х гг. т.1., М. 1959).

сочинения: «Что бы ответила Гретхен Фаусту, если бы была женщиной?»

Но если б нам и удалось выделить приемы, характеризующие поэтов данного периода, нам все равно пришлось бы установить разграничительную линию между поэзией и непоэзией. Те же самые аллитерации и другие типы эвфонических приемов употребляются в данный период и в риторике; более того, они возникают даже в повседневном, разговорном языке. Разговоры в трамваях полны шуток, основанных на тех же фигурах, что и самая сложная лирическая поэзия, а композиция сплетен часто соответствует тем законам построения речи, которым следуют лучшие торговцы, или, по крайней мере, лучшие прошлогодние торговцы (в зависимости от степени умственного развития сплетников).

Черта, ограничивающая произведение поэзии от того, что не является им, не столь незыблема, как границы земель китайской империи. Новалис и Малларме считали алфавит величайшим произведением поэзии, русские поэты восхищались поэтическими качествами списка вин (Вяземский), инвентарного списка царских одежд (Гоголь), расписания (Пастернак) и даже счета из прачечной (Крученых). Сколько современных поэтов считает, что репортаж — это более художественный жанр, чем роман или рассказ? Хотя *Pohorská vesnice* (Горная деревня), рассказ одного из ведущих прозаиков середины девятнадцатого века Божены Немцовой (1820-1862), вряд ли сегодня может похвалиться большим количеством поклонников, ее частная переписка является для нас блестящим поэтическим произведением.

Здесь уместен небольшой анекдот. Однажды, когда чемпион мира по классической борьбе проиграл уже почти побежденному противнику, один из зрителей вскочил, заявив при этом, что схватка была проиграна нарочно, вызвал победителя и одержал над ним верх. На следующий день в газете появилась статья, в которой говорилось, что о втором, как и о первом, было условлено. Зритель, который вызвал победителя первой схватки ворвался тогда в редакцию газеты и дал пощечину редактору, ответственному за публикацию. Но позже выяснилось, что и газетная статья, и зритель с задетым самолюбием действовали как актеры в заранее подготовленной мистификации.

Не верьте поэту, который во имя истины, реального мира или чего-нибудь другого отказывается от своего творческого прошлого в поэзии или искусстве. Толстой яростно пытался откреститься от своих произведений, но вместо того, чтобы перестать быть писателем, он только прокладывал пути к новым литера-

турным формам. Как правильно было замечено: когда актер срывает маску, зритель видит лишь грим на его лице.

Не верьте критику, который выворачивает поэта наизнанку во имя чего-то Истинного и Подлинного. Все, что он на самом деле делает, это оттесняет одну поэтическую школу, т.е. один набор приемов, деформирующих материал, во имя другой поэтической школы, другого набора деформирующих приемов. Художник играет не меньше, когда объявляет, что на этот раз занимается чистой *Wahrheit (Истиной)*, а не *Dichtung (Поэзией)*, как и тогда, когда он уверяет свою аудиторию, что данная работа является чистым вымыслом, что «поэзия как целое — это одна большая ложь и что поэт, который не способен убедительно врать с первого слова, ничего не стоит».

Есть историки литературы, которые знают о поэте больше, чем сам поэт, больше, чем эстетик, анализирующий структуру его работы, и психолог, который исследует структуру его души. С убежденностью учителя воскресной школы эти историки литературы отмечают, что из произведений поэта является «человеческим документом», а что «свидетельством художественной ценности», что является «искренним» и «естественным взглядом на жизнь», а что «притворным» и «литературно выработанным взглядом», что «идет от сердца», а что «показное». Все цитаты, приведенные здесь, взяты из исследования *Hlavacek's Decadent Erotica*, главы из работы Федора Солдана. Солдан описывает отношения между эротическим стихотворением и эротической жизнью поэта так, словно он имеет дело скорее со статичными статьями в энциклопедии, а не с диалектическим единством и его постоянными сдвигами, словно он рассматривает знак и объект им обозначаемый как моногамно и неизменно привязанные друг к другу сегменты, словно он никогда не слышал о вековом психологическом принципе — ни одно чувство не чисто настолько, чтобы к нему не примешивалось чувство противоположное.

Многочисленные исследования в сфере истории литературы все еще применяют дуалистическую схему *психическая реальность — поэтический вымысел*, выискивая между ними отношения механистической причинности, так что нельзя не припомнить проблему, мучившую старого французского аристократа, а именно, хвост ли приделан к собаке, или собака к хвосту.

В качестве примера того, насколько бесплодными могут оказаться такие уравнения, давайте рассмотрим дневник Махи, крайне поучительный документ, который в свое время был опубликован с большими купюрами. Некоторые историки литературы пол-

ностью сосредотачиваются на опубликованных произведениях поэта, оставляя в стороне все биографические проблемы: другие пытаются восстановить жизнь поэта как можно более подробно. Признавая достоинства обоих подходов, мы совершенно отвергаем подход тех историков литературы, которые заменяют подлинную биографию официальными, школьными интерпретациями. Дневник Махи был очищен по цензурным соображениям затем, чтобы юноши с мечтательными глазами, восхищающиеся его статуей в пражском Петрин Парке, не растеряли бы своих иллюзий. Но как однажды сказал Пушкин, литература (не говоря уже об истории литературы) не может принимать в расчет пятнадцатилетних девочек. А пятнадцатилетние девочки, в любом случае, читают гораздо более опасные вещи, чем дневники Махи.

Дневник с эпической прозрачностью описывал физиологические акты автора — как половые, так и оральные. В точном порядке и с неумолимой аккуратностью бухгалтера он регистрирует, как и сколь часто Маха получал сексуальное удовлетворение от своей подруги Лори. Карел Сабина так писала о Махе: «пронзительный взгляд его темных глаз, высокий лоб, изборожденный глубокими мыслями, задумчивое выражение лица, которое столь часто было отмечено бледностью, это, плюс женственно утонченные черты, — вот что больше всего привлекало к нему любовь прекрасного пола.» И именно так в рассказах и стихотворениях Махи предстает женская красота. Однако в дневнике детальное описание внешности его подруги напоминает скорее сюрреалистические изображения женского торса без головы у Йозефа Жимы.¹

¹ **Стихотворения:** Твои голубые глаза. Малиновые губы. Золотые волосы. Час, который украл у нее все, запечатлел прекрасную печаль и глубокую грусть на ее устах, очах и челе... **Проза**

(Маринка): Черные волосы ниспадали тяжелыми локонами вокруг ее бледного, благородного лица, которое несло в себе признаки красоты замечательной, и струились вниз по белому платью, которое, застегиваясь у самой шеи и достигая маленьких ступней, обрисовывало ее высокую и стройную фигуру. Черный пояс стягивал ее хрупкое тело, а черная шпилька собирала волосы вокруг ее прекрасного, высокого, белого лба. Но ничто не могло коснуться красоты ее черных, глубоко посаженных горящих глаз. Ни одно перо не в силах описать это выражение грусти и страстной тоски.» (Цыгане): «Ее темные кудри еще больше подчеркивали прекрасную бледность нежного лица ее, а черные глаза, которые улыбались в первый раз за сегодняшний день, еще не покинула их непреходящая тоска».
Дневник: «Я поднял ее юбку и осмотрел ее спереди, с боков и сзади...Какая потрясающая задница... У нее были прекрасные белые бедра...Я играл с ее ногою, и она сняла чулок и села на кровать и т.д.

Возможно ли, что отношения между лирической поэзией и дневником соответствуют отношениям между *Dichtung* и *Wahrheit*. Вовсе нет. Оба эти аспекта равноценны; они всего лишь два разных значения, или, в более научной терминологии, различные семантические уровни одного и того же объекта, одного и того же опыта, или, как сказал бы кинорежиссер, две различные съемки одной и той же сцены. Дневник Махи — это такое же поэтическое произведение, как и *Máj* (*Ма́й*, эпическая поэма, которой больше всего прославился Маха) и *Marinka* (*Маринка*, рассказ). В нем нет и следа утилитаризма; это чистое искусство для искусства, поэзия для поэта. Если бы Маха был жив сегодня, он мог бы точно так же оставить лирическую поэзию («Маленький олень, маленький белый олень, услышь мою просьбу...») для своего собственного, личного пользования, а опубликовать — дневник. Его бы вследствие этого сравнивали с Джойсом и Лоуренсом, с которыми у него есть много общего, и критик написал бы, что эти три автора «пытаются дать правдивый портрет человека, сбросившего с себя все ограничения и установки и теперь просто плывет, уносится течением, вздымается как чистый животный инстинкт». Пушкин написал стихотворение, которое начинается так:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Толстой в старости возмущался шутливым письмом, которое Пушкин написал другу, где он отзывался о женщине из этого стихотворения в следующих словах: «С Божьей помощью я поймел сегодня Анну Петровну» (В оригинале еще грубее). Но средневековые фарсы, такие, как чешский *Mastičkár* (*Маменька*), совершенно далеки от богохульства! Ода и бурлеск одинаково ценны; это просто два поэтических жанра, два способа выражения одной и той же темы.

Темой, никогда не перестававшей мучить Маху, было подозрение, что не он был первым любовником у Лори. В *Мае* этот мотив принимает следующие формы:

О нет, то не она! Мой ангел!
Почему она пала прежде чем я узнал её?
Почему мой отец был ее соблазнителемⁱ

ⁱСр.:

Она со мною! Ангел мой!
О, как тебя я не узнал?
Отец мой соблазнитель твой.

и

Мой соперник — мой отец! Его убийца — его сын!
Он, соблазнитель мой возлюбленной.
Неизвестный мне.ⁱ

В одном месте своего дневника Маха описывает как, уже дважды обладав Лори, он говорил с ней еще раз «о том, что она позволила кому-то еще обладать собой.» Она хотела умереть. «O Gott», — сказала она, — *wie unglücklich bin ich!*ⁱⁱ. За этим следует еще одна эротическая сцена, после чего дается подробное описание того, как поэт испражнялся. Отрывок кончается так: «Боже, прости ее, если она обманывает меня. Я не прощу. Только если она меня любит. Кажется, что да. Что ж, я бы женился на шлюхе, если бы знал, что она любит меня.»

Кто бы ни утверждал, что дневниковый вариант — это фотографически точное воспроизведение реальности, а *Май* — чистая выдумка со стороны поэта, он упрощает дело. Возможно, *Май*, будучи столь насыщенным своими Эдиповыми обертонами, даже еще более откровенен, чем дневник, — в том, что касается демонстрации душевного экзгибиционизма (мой соперник — мой отец).² Мотив самоубийства в поэзии Маяковского когда-то считался простым литературным приемом. Так бы думали и до сего дня, если бы Маяковский, как Маха, умер от пневмонии в возрасте 26 лет.

Сабина пишет, что «записки Махи содержат фрагментарное описание человека неоромантического толка. Оно является точным изображением самого поэта, так же как и той принципиальной модели, с которой он копировал своих скупаемых любовью персонажей». Герои фрагмента «убил себя у ног своей возлюбленной, которую страстно любил и которая даже еще более страстно отвечала на его любовь. Считая, что она была соблазнена, он старался выпытать у нее имя ее соблазнителя, с тем, чтобы ото-

(Там же.)

ⁱ Ср.: Убил отца. Родитель мой
Запятнан совращеньем!
Так мой поступок роковой
И стал двойным отмщеньем.

(Там же.)

ⁱⁱ — О. Боже мой, как я несчастна!

² См. также *Цыгане*. «Мой отец! Мой отец соблазнил мою мать — нет, он убил мою мать — он использовал мою мать — он не использовал мою мать, чтобы соблазнить мою возлюбленную — он соблазнил возлюбленную моего отца — мою мать — и мой отец убил моего отца!»

мстить за нее. Она все отрицала. Он кипел от ярости. Она клялась, что ничего не произошло. Затем точно молния его осенила мысль: «Чтобы отомстить за нее, я должен буду убить его. Моим наказанием будет смерть. Пусть он живет. Я не могу.» И вот он решает совершить самоубийство, твердый в своем убеждении, что его возлюбленная — это «многострадальный ангел, не желающий причинять горя даже своему соблазнителю». Затем в последнюю минуту он понимает, что «она обманула его» и что «ее ангельское лицо превратилось в лицо дьявола». Вот как Маха описывает свою собственную любовную трагедию в письме к доверенному другу: «Я однажды говорил тебе, что есть только одна вещь, способная свести меня с ума. Она наступила: «ein Notzucht ist unterlaufen» («начался период принудительного воспитания»). Умерла мать моей возлюбленной. Страшная клятва была произнесена в полночь у ее гроба... и... это было неправдой — и я — ха, ха, ха! — Эдвард, я не сошел с ума, но я бушевал, говорил высокопарно».

Итак, мы имеем три варианта: убийство и наказание, самоубийство и высокопарная речь, за которой следует смирение. Каждый из них был пережит поэтом; все они равноценны, не взирая на то, какая именно из данных возможностей была воплощена в частной жизни поэта, а какие — в его работах. Кто может провести линию между самоубийством, дуэлью, приведшей к смерти Пушкина, и классически нелепым концом Махи? ³ Многостороннее взаимодействие поэзии и личной жизни отражается не только в типичной для Махи повышенной способности к самовыражению, но и в той сокровенной манере, в которой литературные мотивы переплетаются с жизнью. Более того, социальная функция настроений Махи так же достойна исследования, как и их физиологический генезис. Как замечал в своем блестящем памфлете *Rozervanez (Неудовлетворенный)* современник Махи, критик и драматург Дж. К. Тиль, слова Махи: «Моя любовь была обманута» не относятся к нему лично, они обозначают некую роль, поскольку лозунг его литературной школы провозглашает, что «только боль может быть матерью настоящей поэзии». На уровне

³ Вот как Маха описывает свое лихорадочное состояние за три дня до смерти: «Когда я прочел, что Лори вышла, я впал в ярость, которая могла прикончить меня. С тех пор я выглядел очень плохо. Я разбил все здесь, разбил на куски. Моей первой мыслью было, что я должен уйти и что она может делать все, что хочет. Я знал, почему я не хотел, чтобы она даже покидала дом». Он угрожает ей в ямбах: «bei meinem Leben schwor ich Dir, Du sicht mich niemals wieder» («клянусь своей жизнью, ты меня никогда больше не увидишь»).

истории литературы (и только на этом уровне) Тиль прав, утверждая, что иметь возможность сказать, что он несчастлив в любви, было только к вящей пользе Махи.

Тема соблазнитель — ревнивый любовник— это удобный способ заполнить паузу, период истощения, тоски, следующий за удовлетворением желаний. Тяжелое чувство недоверия превращается в старый мотив, хорошо разработанный традиционной поэзией. Маха в письме к другу сам подчеркивает литературную окраску этого мотива: «Ни Виктор Гюго, ни Эжен Сю в самых ужасающих своих романах не были способны описать те вещи, которые случились со мною. Я был тем, кто пережил их, и я — поэт». Вопрос о том, существовало ли какое-то действительное основание для столь разрушительного недоверия Махи или — как намекает Тиль — оно возникло из свободного поэтического вымысла, важен лишь для судебной медицины, и только для нее

Каждый речевой акт, в некотором смысле, стилизует и преобразует описываемое им событие. То, каким образом он делает это, определяется его намерением, эмоциональным содержанием, аудиторией, которой он адресован, предварительной «цензурой», которую он проходит, набором готовых образцов, к которым он принадлежит. Поскольку «поэтичность» (poeticity) речевого акта, очень хорошо показывает, что коммуникация не имеет тут основного значения, то «цензура» может быть ослаблена, приглушена. Янко Краль (1822-1876), по настоящему одаренный словацкий поэт, который в своих прекрасных шероховатых импровизациях блестяще уничтожает границу между бредом и народной песней, и который даже более свободен в полете своего воображения, более непосредствен в своем изящном провинциализме, чем Маха,— Янко Краль наравне с Махой представляет собою классический пример Эдипова комплекса. Вот данное Боженой Немцовой в письме к другу описание ее первых впечатлений от Краля: «Он ужасно эксцентричен, а его жена, хотя и очень хорошая и юная, ужасно наивна. Право же, она при нем только служанка. Он сам сказал, что была лишь одна женщина, которую он когда-либо любил превыше всего, — и этой женщиной была его мать. Он ненавидел своего отца с тою же страстью: его отец мучил его мать (совсем как он теперь мучает свою жену). Он утверждает, что не любил никого с тех пор, как она умерла. Как мне кажется, этот человек закончит свои дни в сумасшедшем доме!» Но хотя это своими безумными нотками, напугало даже стойкую Божену Немцову, необычайная печать инфантилизма Краля не вызывает никакой тревоги в его стихотворениях. Опубликованные в собрании, названном *Cítanie sludjucej mladeze*

(Чтение для студентов), они кажутся не более, чем маской. Однако же в действительности они обнажают любовную трагедию матери и сына в таком грубом и прямом смысле, какой редко знала поэзия.

О чем баллады и песни Краля? Страстная материнская любовь, которая «никогда не может быть разделена»; неотвратимый отъезд сына, проходящий в твердой уверенности, несмотря на сонет матери, что «Все было напрасно. Кто может идти против судьбы? Не я.»; невозможность вернуться «из дальних земель домой к матери». Мать в отчаянии ищет сына: «Через весь мир мой стон из могилы, но нет вестей о моем сыне». Сын в отчаянии ищет мать: «Зачем идти домой к твоим братьям и отцу, зачем в твою деревню, крылатый сокол? Твоя мать ушла в широкое поле». Страх — физический страх странного Янко, приговоренного к уничтожению, вместе с мечтой Янко об утробе его матери, напоминают темы таких современных поэтов сюрреалистов, как Незвал.

Вот отрывок из *Historie šesti prázdných domů* (История шести пустых домов):

Мама,
Можешь ли ты меня оставить там внизу
В пустой комнате, где никогда не бывает гостей
Мне нравится быть твоим арендатором
И будет ужасно, когда меня наконец заставят уйти
Сколько движений ждет меня
И самое страшное из всех
Движение к смерти.ⁱ

А теперь отрывок из *Zverbovaný* Краля (Завербованный):

О мама, если ты действительно любила меня
Зачем предала ты меня в руки судьбы?
Не видишь разве что ты выбросила меня в этот чужой мир
Как юный цветок, вырванный из цветочного горшка,
Цветок, который никогда не нюхали.
Если его хотели сорвать, зачем растили?

ⁱ Ср.: Мама, меня преследуют видения,
которые преследую я сам,
Я хотел бы навсегда остаться там внизу
Среди витрин со зверьками воображения.
Мне так не хочется выходишь из ветхого паноптикума
на базарную площадь, где казнят действительность.

Пер. Ю. Вронского (Витезслав Незвал. *Избранное* 2-х тт. Т 1. 1988. М. «Худ. лит-ра».)

Тяжело, тяжело долине без дождя
Но в сто раз тяжелее Янко под пыткой.ⁱ

Неизбежная противоречивость внезапного притока поэзии в жизнь не менее внезапна, чем ее оттока. Вот опять Незвал: на этот раз и ключе школы *поэтизма*, созданию которой он способствовал:

Я никогда не ходил по этому пути.
Если б я потерял яйцо, кто бы нашел его?
белое яйцо черной курицы
Он был в лихорадке целых три дня

Собака лаяла всю ночь
Священник, священник идет
Он благословляет все двери
Как павлин своим опереньем

Идут похороны, похороны, идет снег
Яйцо бегаёт, бегаёт вокруг гроба
Вот та к шутка
В яйце дьявол

Моя больная совесть портит меня
Тогда живи без яйца
Читатель безумец
яйцо было пустым.

Ярые приверженцы поэзии бунта были либо настолько обескуражены этими поэтическими играми, что постарались по мере сил заглушить их, либо настолько раздражены, что говорили об упадке Незвала и творческом предательстве. Я глубоко убежден, однако, что эти детски непосредственные стихотворения не менее значительный прорыв, чем тщательно продуманный, беспощадный экзгибиционизм его антилирики. Они части единой борьбы, объединенной борьбы за то, чтобы не позволить относиться к слову, как к фетишу. Вторая половина девятнадцатого века была периодом внезапной, резкой инфляции лингвисти-

ⁱ ср.: Матушка, ты, видно, сына не любила —
На беду, на горе меня породила!
В мир пустой, холодный брошен твой сыночек,
словно на морозе кинутый цветочек.
Если его запах люди не вдыхали,
А сорвать решили — так зачем сажали?
Засыхает поле без дождя, без влаги —
В сто раз тяжелее Яничку, бедняге.

Пер. И. Гуровой: Янко Краль. *Стихи* (изд. Татран, Братислава, 1972).

ческих знаков. Это утверждение легко доказать с точки зрения социологии. Наиболее типичным культурным феноменом того времени является намерение скрыть это явление любой ценой и поддержать веру в книжное слово всеми доступными средствами. Позитивизм и наивный реализм в философии, либерализм в политике, школа Junggrammatiker (школа младограмматиков) в лингвистике, успокаивающий иллюзионизм в литературе и на сцене (с иллюзиями как наивного натурализма, так и солипсически декадентских разновидностей), атомизация метода в литературной теории (а так же в гуманитарных и в естественных науках в целом).

А что же сегодня! Современная феноменология обнажает одну лингвистическую фикцию за другой. Она умело демонстрирует первостепенное значение различия между знаком и обозначаемым объектом, между значением слова и содержанием, на которое направлено значение. Аналогичный феномен существует и в социополитической науке: отчаянное противостояние бесформенному, пустому, безопасно абстрактному жаргону и фразерству, идеократическая борьба со «словами-обманками», если использовать образное выражение. В искусстве именно кино ясно и отчетливо показало, что язык — лишь одна из многих возможных знаковых систем, точно так же как астрономия доказала, что земля — лишь одна из планет, и перевернула таким образом взгляд человека на мир. Путешествие Колумба в основном уже положило конец мифу об исключительности Старого Света, но только с недавним культурным подъемом в Америке ему был нанесен последний удар. Кино также когда-то считалось не более чем экзотической областью искусства, и только по ходу развития, шаг за шагом, разбило оно предшествовавшую ему идеологию. И наконец, поэзия поэтистов и поэтов, принадлежащих к соответствующим школам, дает глубокую гарантию автономности слова. Шутливые стихи Незвала нашли поэтому активных сторонников.

В последнее время среди критиков стало довольно модно высказывать сомнения относительно того, что называется формалистским исследованием литературы. Школа, говорят ее клеветники, не может уловить связи искусства с действительной жизнью, она призывает к подходу «искусство ради искусства», она идет по следам кантианской эстетики. С подобными возражениями критики настолько односторонни в своем радикализме, что, забывая о существовании третьего измерения, они предпочитают видеть все в одной плоскости. Ни Тынянов, ни Мукаржовский, ни Шкловский, ни я — ни один из нас никогда не про-

возглашал самодостаточности искусства. Если мы и пытались что-то показать, так это то, что искусство — составная часть социальной структуры, компонент, который взаимодействует со всеми остальными и сам изменяем, поскольку и сфера искусства и его взаимоотношения с другими элементами социальной структуры находятся в постоянном движении. Мы выступаем не за сепаратизм искусства, но за автономность эстетической функции.

Как я уже отмечал, содержание понятия *поэзии* нетвердо и обусловлено временным фактором. Но поэтическая функция, *поэтическое*, является, как подчеркивали «формалисты», элементом *sui generis*, который не может быть сведен к другим элементам. Он может быть выделен и сделан независимым, как многообразные приемы, скажем, в живописи кубизма. Но это особый случай; с точки зрения диалектики искусства он имеет *raison d'être*, однако остается особым случаем. В большинстве своем *поэтическое* — только часть сложной структуры, но та часть, которая с необходимостью трансформирует другие элементы и определяет вместе с ними природу целого. Таким же образом масло никогда не является ни цельным блюдом само по себе, ни случайной приправой к обеду, механическим компонентом; оно изменяет вкус еды, и эта его функция может порой стать настолько всепроникающей, что, например в чешском, рыба, зажаренная в масле начала терять свое первоначальное название *sardinka*, получив новое наименование *olejovka* (*olej*- 'масло' + *-ovka*, производный суффикс). Только когда произведение речи обретает статус *поэтического*, поэтическую функцию основополагающей важности, мы можем говорить о поэзии.

Но как *поэтическое* проявляет себя? *Поэтическое* присутствует, когда слово ощущается как слово, а не только как представление называемого им объекта или как выброс эмоции, когда слова и их композиция, их значение, их внешняя и внутренняя форма приобретают вес и ценность сами по себе вместо того, чтобы безразлично относиться к реальности.

Почему это необходимо? Почему необходимо особо подчеркивать тот факт, что знак не совпадает с объектом? Потому что кроме непосредственного сознания тождественности знака и объекта ($A=A$) есть необходимость непосредственного сознания неадекватности этого тождества (A не есть A). Причиной, по которой существенна эта антиномия, является то, что без противоречия не существует подвижности представлений, подвижности знаков и связь между представлением и знаком становится автоматической. Прекращается активность, и чувство реальности умирает.

ДОМИНАНТА¹

Первые три этапа формалистских исследований можно коротко охарактеризовать следующим образом: (1) как анализ звуковых аспектов литературного произведения; (2) как проблемы значения внутри структуры поэтического произведения; (3) как объединение звука и значения в одно неделимое целое. На этом последнем этапе особенно актуально понятие доминанты; доминанта — это важнейшее и наиболее разработанное понятие теории Русского Формализма. Ее можно определить как фокусирующий компонент произведения искусства: доминанта управляет остальными компонентами, определяет и трансформирует их. Именно она обеспечивает целостность структуры.

Доминанта определяет специфику произведения. Специфической чертой языка, образующей тесноту стихового ряда, очевидно, является его просодическая модель, его стиховая форма. Может показаться, что это просто тавтология: стих есть стих. Тем не менее, мы должны постоянно держать в уме, что элемент, обособляющий данную разновидность языка, доминирует над всей структурой и таким образом функционирует в качестве обязательных и неотъемлемых составляющих этой разновидности; они же, в свою очередь, преобладают над всеми остальными элементами и оказывают на них самое непосредственное влияние. И все же стихотворение само по себе не является однородным понятием и неделимым единством. Стихотворение представляет собой систему ценностей, как и любая система ценностей оно образует иерархическую систему ценностей высшего и низшего порядка, во главе которых располагается основной элемент, доминанта, без которой (в рамках данного литературного периода и данного художественного течения) стихотворение нельзя было бы ни понять, ни оценить. Например, в чешской поэзии 14-го в. неотъемлемым элементом для

¹ Из неопубликованного чешского текста лекций о Русской формалистской школе, предоставленного весной 1935 г. в Университете Масарика в Брно. Первый английский перевод Х. Игл появился в журнале *Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views*, ed. L. Matcjka and K. Pomorska (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971). [Перевод К. Чухрукидзе]

определения стиховой формы являлась вовсе не силлабическая схема, а рифма, поскольку существовали стихотворения с неравным количеством слогов в строке (именуемые «безразмерными стихами»); они, тем не менее, воспринимались как стихи, тогда как нерифмованные стихи в ту эпоху совершенно не воспринимались. С другой стороны, в чешской реалистической поэзии второй половины 19-го столетия рифма стала весьма необязательным приемом, в то время как силлабическая схема приобрела характер обязательного, неотъемлемого компонента, без которого стихотворение нельзя было бы отнести к поэтическому произведению; с точки зрения этой системы, свободный стих расценивался как недопустимая *аритмия*. К настоящему моменту для чешского языка, возвращенного на современном свободном стихе, ни рифма, ни силлабическая модель не являются обязательными компонентами; эту функцию выполняет интонационная цельность — доминантой в стихе становится интонация. Если бы нам пришлось сравнить размеренный, регулярный стих древнечешской *Александраиды*, рифмованный стих периода реализма и размеренный рифмованный стих сегодняшних дней, мы бы во всех трех случаях имели возможность наблюдать одни и те же элементы — рифму, силлабическую схему и интонационное единство, — но другое распределение иерархии ценностей — разные элементы, приобретающие статус специфических, обязательных и незаменимых; именно эти специфические элементы и определяют речь и структурное распределение других компонентов.

Мы можем определить доминанту не только в поэтическом произведении, созданном отдельным художником, и не только в масштабах поэтических канонов, среди набора норм данной поэтической школы, но также в искусстве данной эпохи, рассматриваемой как отдельное целое. Например, очевидно, что в искусстве Ренессанса такой доминантой, точкой отсчета для определения эстетического критерия того времени, являлось собой изобразительное искусство. Другие искусства тоже ориентировались на критерии визуальных искусств и оценивались в соответствии со степенью их близости с последними. С другой стороны, в искусстве романтизма наибольшее значение придавалось музыке, романтическая поэзия ориентировалась на музыку: поэзия этого времени стремилась к музыкальности. Интонация романтического стиха имитирует мелодию. Такая нацеленность на доминанту, являющуюся на самом деле внешним фактором для поэтического произведения, основательно меняет структуру стихотворения с точки зрения звуковой фактуры, синтаксической структуры и образности; при этом изменяются

метрический и строфический критерии, а также их композиционная роль. В эстетике реализма доминантой стало искусство слова, соответственным образом видоизменилась и иерархия поэтических ценностей.

Более того, как только понятие доминанты становится для нас точкой отсчета, отношение к произведению искусства по сравнению с отношением к остальным видам культурных ценностей существенно изменяется. Например, взаимоотношение между поэтическим произведением и другими словесными сообщениями приобретает большую определенность. Отождествление поэтического произведения с эстетической, или, точнее, поэтической функцией (поскольку мы имеем дело со словесным материалом) характерно для эпох, проповедующих самодостаточное, чистое искусство (*l'art pour l'art*). На раннем этапе развития школы формализма все еще можно было наблюдать отчетливые следы такого отождествления. Тем не менее, подобное уравнивание безусловно ошибочно: поэтическое произведение не ограничивается только лишь эстетической функцией, но имеет в добавлении к ней много других функций. В действительности интенции поэтического произведения часто очень тесно соотносятся с интенциями философских сочинений, социальной дидактики, и т.д. Поэтическое произведение не исчерпывается эстетической функцией, также как и эстетическая функция не ограничивается поэтическим произведением. Речь оратора, каждодневный разговор, газетные статьи, объявления, научные трактаты — все они могут руководствоваться эстетическими соображениями, они могут быть носителями эстетической функции, часто использовать слова в иных целях, нежели просто в качестве референции.

Прямой оппозицией этой резко монистической позиции является механистическая позиция, согласно которой признается множественность функций поэтического произведения; она же, осознанно или неосознанно, расценивается, как механическое скопление функций. Ввиду того, что поэтическое произведение тоже имеет функцию референции, оно иногда воспринимается приверженцами вышеупомянутой точки зрения как прямой документ, свидетельствующий о культурной истории, социальных отношениях и биографиях. В отличие от одностороннего монизма и одностороннего плюрализма, существует также точка зрения, совмещающая в себе знание о множественности функций поэтического произведения и понимание его целостности. Иначе говоря, именно той функции, которая объединяет и определяет поэтическое произведение. С этой точки зрения, поэтическое произведение не может расцениваться ни как произведе-

ние, выполняющее исключительно эстетическую функцию, ни как произведение, выполняющее ее же, наряду с другими функциями; скорее всего, поэтическое произведение можно определить как словесное сообщение, эстетическая функция которой является его доминантой. Конечно же, знаки, указующие на то, как осуществляется эстетическая функция, не являются неизменными и всегда однотипными. Каждый отдельный поэтический канон, любая система временных поэтических норм тем не менее включает в себе незаменимые дифференцирующие элементы, без которых произведение не может быть узнано как поэтическое.

Определение эстетической функции поэтического произведения как доминанты позволяет нам установить иерархию различных лингвистических функций внутри поэтического произведения. Обладая лишь референтной функцией, знак имеет минимальную внутреннюю связь с отдельным объектом, и поэтому он, сам по себе имеет минимальное значение; с другой стороны, экспрессивная функция требует более прямого, тесного взаимоотношения между знаком и объектом и следовательно, большего внимания к внутренней структуре знака. По сравнению с референтным языком эмотивный язык, первым делом выполняющий экспрессивную функцию, обычно, более близок к поэтическому языку (который нацелен именно на знак как таковой). Поэтический и эмотивный языки часто совпадают друг с другом, и поэтому эти две разновидности языка довольно часто по ошибке отождествляются друг с другом. Если эстетическая функция является доминантой словесного сообщения, тогда это словесное сообщение может, несомненно, пользоваться приемами экспрессивного языка; в таком случае эти компоненты подчинены основной функции произведения, т.е. они трансформированы его доминантой.

Изучение явления доминанты оказало большое влияние на определение основных положений формализма в связи с литературной эволюцией. Что касается эволюции поэтической формы, вопрос не столько в исчезновении определенных элементов и появлении других, сколько в сдвиге во взаимоотношениях между различными компонентами системы; другими словами, вопрос в смещении доминанты. Внутри данной совокупности поэтических форм вообще и особенно внутри системы поэтических норм, основополагающих для данного поэтического жанра, элементы, которые были изначально второстепенными, приобретают статус основных, первостепенных. С другой стороны, элементы, первоначально выполняющие функцию доминанты, ста-

новятся вспомогательными и необязательными. В ранних работах Шкловского поэтическое произведение определялось как простой набор художественных приемов, поэтическая эволюция же представлялась ни чем иным, как субституцией определенных приемов. По мере дальнейшего развития формализма, появилась точная концепция поэтического произведения как структурированной системы, как постоянно управляемой иерархии художественных приемов. Поэтическая эволюция вызывает сдвиги (shifts) в этой иерархической системе. Иерархия художественных приемов изменяется в рамках данного поэтического жанра; более того, изменения воздействуют одновременно и на иерархию поэтических жанров, и на дистрибуцию художественных приемов среди отдельных жанров. Жанры, которые первоначально стоят во втором ряду, — вспомогательные варианты, — выступают вперед, в то время как канонические жанры отходят на задний план. В разных формалистских работах с этой точки зрения исследуются отдельные периоды истории русской литературы. Чуковский анализирует эволюцию поэзии восемнадцатого века; Тынянов и Эйхенбаум, в группе с несколькими своими учениками, исследуют эволюцию русской поэзии первой половины девятнадцатого века; Виктор Виноградов изучает эволюцию русской поэзии, начиная свои исследования с творчества Гоголя; Эйхенбаум занимается эволюцией творчества Толстого в сравнении с русской и европейской прозой того времени. Представление об истории литературы в России существенно изменяется; оно становится несравненно богаче, в то же время более монолитной, синтетичной и упорядоченной, чем *membra disjecta* (составляющие) предыдущих литературных школ.

Однако проблемы эволюции не ограничиваются историей литературы. Возникают также вопросы, касающиеся изменений во взаимоотношениях между отдельными искусствами; здесь особенно плодотворным является внимательное исследование промежуточных сфер между живописью и поэзией, таких, как иллюстрация; или анализ пограничных областей между музыкой и поэзией, романса, например.

И наконец, возникает проблема изменений во взаимоотношениях между искусствами и другими тесно соотнесенными с ними культурными областями; это особенно касается взаимозависимости между литературой и остальными видами словесных сообщений. В этой области размытость границ, изменение в содержании и степени отдельных индивидуальных сфер особенно познавательны. Подобные промежуточные жанры представляют особый интерес для исследователей. В определенные периоды

они оценивались как экстралитературные и экстрапоэтические, тогда как в другое время могли выполнять важную литературную функцию, включая в себя элементы, на вычлениии которых строится беллетристика, в то время как формы канонической литературы лишены этих элементов. Такими переходными жанрами являются, например, различные формы *litterature intime* — письма, дневники, записки, рассказы о путешествиях и т.д., — которые в определенные периоды (например, в русской литературе первой половины девятнадцатого века) функционируют в рамках цельного комплекса литературных ценностей.

Другими словами, постоянные сдвиги в системе художественных ценностей подразумевают такие же сдвиги при оценке различных явлений в искусстве. Нормы, к которым с точки зрения старого искусства относились с пренебрежением или порицали за несовершенство, дилетантство, заблуждения или просто неправильные приемы, нормы считающиеся еретичными, декадентскими, недостойными появления на свет, новой системой принимаются в качестве позитивной ценности. Представители реализма критиковали стихотворения поздних русских романтиков, таких, как Тютчев и Фет, за ошибки, за очевидную небрежность и т.д. Тургенев, опубликовавший эти стихотворения, существенно откорректировал их ритм и стиль, чтобы улучшить и уравнять их с существовавшей в то время нормой. Тургеневская редакция этих стихотворений стала канонической версией, и только в наши дни оригинальные тексты были реабилитированы, восстановлены и признаны в качестве первых шагов к новому пониманию поэтической формы. Чешский филолог Ж. Краль игнорировал поэтические произведения Эрбена и Челаковского, считая их ошибочными и слабыми с точки зрения поэтической школы реализма; современная эпоха благоговейно относится к этим стихотворениям, выделяя именно те черты, которые не совпадали с канонами реализма. Сочинения великого русского композитора Мусоргского не соответствуют требованиям музыкальной инструментовки конца девятнадцатого века; искусный в свое время мастер по композиторской технике, Римский-Корсаков, придал им новую музыкальную форму в соответствии с доминирующими в то время музыкальными пристрастиями; однако новое поколение выдвинуло ценности, идущие вразрез с прежними правилами инструментовки, сохранившимися по причине «неискушенности» Мусоргского и временно вытесненные редактурой Римского-Корсакова, и естественным образом устранило всю правку из таких, например, сочинений, как «Борис Годунов».

Сдвиг, трансформация взаимоотношений между индивидуальными художественными компонентами стали центральной проблемой формалистских исследований. Этот аспект формалистского анализа в области поэтического языка имел новаторское значение для лингвистических исследований в целом, так как побуждал к преодолению и восполнению разрыва между диахроническим историческим методом и синхроническим методом, используемым в противоположной, хронологизирующей области. Именно формалистские исследования со всей очевидностью продемонстрировали, что сдвиги являются не только историческими положениями (вначале было А, потом А' заняло место А), но также действуют в качестве непосредственно воспринимаемых синхронных явлений, наиболее релевантных художественных ценностей. Читатель стихотворения или зритель картины явно осознает два положения: традиционный канон и художественную новизну как отступление от канона. Инновация понимается именно как то, что противопоставлено традиции (Background). Формалистские штудии пролили свет на то, что именно эта одновременность, с одной стороны приверженности к традиции, с другой же — отступления от нее составляет суть каждого нового произведения искусства.

О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ АЛЛИТЕРАЦИИ ГЛАСНЫХ В ГЕРМАНСКОМ СТИХЕ ⁱ

Исландский — единственный германский язык, в блистательной поэзии которого до наших дней сохранился аллитерационный стих. За редкими исключениями, по-прежнему верно высказывание Уилльяма Крейги о том, что «для современного исландского поэта не может быть поэзии без аллитерации» (стр. 24). Так и не утратило своей актуальности правило, сформулированное семь с половиной веков назад в *Перечне Размеров* Снорри Стурлусона: «Если Hofustafn [начальный звук четной строки] — согласный, то Stuolar [поддерживающие звуки] должны быть такими же. Но если это гласный, то поддерживающие звуки должны быть гласными. И для большей красоты лучше этим гласным быть разными» (стр. 206).

Вариация гласных в аллитерирующих слогах, хотя и не строго обязательна, тем не менее является поразительной тенденцией, связывающей современную исландскую поэзию с древнейшими исландскими, норвежскими и английскими поэтическими образцами. «Все гласные чередуются», согласно лаконичной формулировке Хойслера (стр. 95). Как в традиции раннего средневековья, так и в практике современных исландских поэтов правило различия гласных относится ко всем аллитерирующим слогам — как к начинающимся с гласных, так и к начинающимся с согласных (на материале древнеанглийского и древнеисландского это показали Лоуренс и Холльмерус, современные исландские примеры — в приложении Сигрид Вальфеллс).

Стремление сохранить тождество начальных согласных, избегая ассонанса последующих гласных, очевидно. Но если в так называемой аллитерации гласных сами гласные — лишь переменные, то что же является инвариантом? Например, какая фонематическая единица связывает три аллитерирующие слова *alls — eini — ooauiðlegi* в двустишии Э. Бенедиктссона? Представляется целесообразным начать обсуждение этой проблемы на материале живого поэтического языка, знакомого современным писателям

ⁱ Опубликовано в «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationforschung», XVI (1963), с важным дополнением Сигрид Вальфеллс. [Перевод Д. Епифанова]

и читателям и доступного непосредственному наблюдению исследователя.

Фонемный состав современного исландского языка описывался Эйнарсом Хаугеном (1941, 1948) и Кемпом Мэлоуном (в работе 1953 г., перепечатанной в 1959). Эти исследования подводят к новому этапу: разложению исландских фонем на пучки различительных признаков по строго соотносительным принципам, с последовательным удалением всего лишнего. Это позволяет нам преодолеть тот недостаток, который Хауген метко окрестил «элементом произвольности в фонемных решениях» (958, стр. 57) и «создать предпосылки для целостного фонемного анализа», не допускающего других толкований. В то время как вокализм исландского изучался с этой точки зрения Хрейном Бенедиктссоном, консонантизм все еще ждет исчерпывающего исследования своих различительных признаков. Вкратце о нем можно сказать следующее. Современный исландский консонантизм характеризуют четыре бинарные оппозиции: напряженные/ненапряженные и компактные/диффузные. Третья и четвертая оппозиции — тупые/акутные и непрерывные/прерывные относятся только к диффузным. Различием между напряженными (*fortes*) и ненапряженными (*lenes*) образованы следующие пары: /k/:/g/ = /p/:/b/ = /f/:/v/ = /t/:/d/ = /s/:/p/. Последняя пара, кроме того, характеризуется избыточным различием резкий/мягкий. Помимо согласных, т.е. фонем с консонантными и без вокальных характеристик в современном исландском есть два плавных — непрерывный /l/ и прерывный /r/. Обе фонемы обладают как консонантными, так и вокальными чертами. И, наконец, глайды — невокальные и неконсонантные фонемы с единственным признаком. К парам отмеченных, напряженных согласных и противопоставленных им не отмеченных, ненапряженных согласных, типа /p/:/b/, /t/:/d/ и т.п., следует добавить аналогичное противопоставление придыхательного приступа /h/, единственным признаком которого является напряженность, гладкому (мягкому или ровному) приступу, единственной не отмеченной какими-либо признаками, нулевой фонеме исландского. Характеризуя их по способу произношения, можно сказать, что в то время как у напряженных смычных придыхание является лишь одним из нескольких признаков, для напряженного глайда придыхание — единственный отличительный признак (соответственно, с повышенным *Durchschnittsluftvolumenverbrauch*: см. O. von Essen, 1957, стр. 13). Сходным образом, ненапряженные смычные, будучи лишены придыхания,

имеют целый ряд других признаков, в то время как ненапряженный глайд вообще лишен каких бы то ни было признаков

Фонемный статус упомянутых выше фонем уместно пояснить следующей таблицей:

	t	d	s	p	p	b	f	v	k	g	h	#
консонантный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
напряженный	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
компактный	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+		
тупой	-	-	-	-	+	+	+	+				
непрерывный	-	-	+	+	-	-	+	+				

В начальном четверостишии «Olafs rima Graenlendings» в каждом двустишии имеется аллитерация глайдов: три напряженных глайда аллитерируют во втором двустишии, три ненапряженных глайда в первом, в то время как гласные в аллитерирующих слогах разные:

Veri signuð okkar att
auðgist hauðríd fríða;
berí tignarhvarmínn hátt
heíða auðnín víða

Пиковой фонеме (или фонемам) слога в исландском всегда предшествует хотя бы одна открывающая фонема, или, говоря словами Хаугена, «ядру» предшествует «оболочка» (1958, стр. 59) Эту оболочку могут формировать и консонантные фонемы, и глайды, как отмеченные, так и неотмеченные. Полная идентичность первых или только открывающих фонем в аллитерирующих между собой слогах — sine qua non исландского стихосложения. Повтор начального согласного или напряженного или ненапряженного глайда обязателен.

Правило полного сходства относится только к одной начальной фонеме, за исключением трех групп согласных: «Сочетания sk, st, sp аллитерируют только, соответственно, с sk, st, sp и никогда — с простым s» (Saran, стр. 230); каждая из трех групп выступает в аллитерации как неделимое целое. В силу этой особенности оказывается возможным воспользоваться строго фонетическими пояснениями из работы Стетсона (стр. 83 и далее): «Здесь мы имеем дело со составным согласным, имеющим при этом только один консонантный удар; основные качества группы согласных проявляются во время консонантного удара, в то время как сопутствующие проявляются во время подготовительной фазы*** В

таких группах, как 'sp', 'st', 'sk', фрикативный осуществляется во время подготовительной фазы». Определение исландских, — а также и любых других германских — stafir может означать только то, что любой превокальный смычный ударного слога участвует в аллитерации.

Ég veit hver var þin hinzta hjartans þrá
hugljuf moðir, — bornin þin að sjá
ég veit þau orð, er síðast sagðir þú
sem sorgleg mér í eyrum hljóma nú

Основная, универсальная модель слога (см. Jakobson, 1962, стр. 541) состоит из открывающей фонемы и вокального пика. На первом элементе основана аллитерация, в то время как второй образует минимальную рифму. Таким образом, в приведенном выше четверостишии из «Moðir mín» Йоханна Бьярнарсона повторяется начальная открывающая фонема hinzta — hjartans — hugljuf, síðast — sagðir — sorgleg и, с другой стороны, конечная гласная в конце рифмующихся строк: þrá — sjá, þu — nú.

В первой строке четверостишия Бенедиктссона Guoir vigja þogorio nu («Olafs ríma Graenlendings») согласный конечного моносиллаба nú аллитерирует с предшествующим þogorio, в то время как гласный того же моносиллаба связан перекрестной рифмой с конечным словом третьей строки, trú.

Рабочая схема аллитерации, которую мы видим в современном исландском, очень точно соответствует древнегерманскому Stabreim (см. особенно Lehmann, 1954, 1958). Все предпринимавшиеся ранее попытки объяснить примеры такого типа, как Ág vas alda, þat es ekki vas как настоящую аллитерацию гласных, потерпели неудачу. Совершенно справедливо отмечали (Lehmann 1953, стр. 21), что и в начале слова, и в положении после согласного гласные в аллитерирующих слогах ведут себя одинаково: правило их различия действует в обеих позициях. А там, где действие этого правила ослабевало, вследствие чего оказывалось возможным повторение одного и того же гласного (как это произошло в среднеанглийской и саксонской поэзии четырнадцатого века), инновация распространялась с равным успехом и на начальные, и на постконсонантные гласные. Но если гласные в обоих случаях ведут себя одинаково, то становится очевидным, что сами гласные никогда не являются носителями аллитерации. Так называемая «теория сонорности» приписывала сущность аллитерации некоему особенному качеству, которое объединяет все гласные, отличая их от остальных звуков речи: «die den Vokalen eigene Klangfulle», согласно Кауфману (стр. 214),

или — в формулировке Жиричека — «ihr gemeinsamer Charakter als reine Stimmlaute» (стр. 548). Однако это предположение представляется весьма маловероятным, поскольку больше нигде среди всего аллитерационного арсенала германской поэзии мы не находим ни малейшего намерения выделить какой-то один из сопутствующих признаков аллитерирующих фонем, для того, чтобы превратить его в их единственный связующий элемент. Более того, у нас даже нет примеров того, чтобы один из различительных признаков терял значение для аллитерации, так, чтобы, к примеру, /p/ мог аллитерировать с /b/ или /f/.

Поиск связующего элемента «аллитерации гласных» в открывающей фазе слога, — а не в его пике — имеет долгую историю. Однако со времен гипотезы Раппа (Rapp 1836, стр. 53 и далее) решение проблемы упорно искали в «теории гортанного приступа», как ее назвал Классен, историк и критик этой теории. Гипотеза о существовании остановленного приступа во всех древнегерманских языках, в которых развилась аллитерационная поэзия, была сострепана специально для того, чтобы оправдать аллитерацию разнородных начальных гласных; а с другой стороны, «единственный довод, приводившийся в ее пользу — это утверждение о том, что гортанный приступ был необходим для аллитерации гласных, *circulus vitiosus!*» (Classen, стр. 13)

Кок был прав, спрашивая, «Huru vet man, ai vara germanska förtäder hade just en dylik Vokalensatz?» (стр. 113). «Тяжелый приступ», или — с поправкой Эссена — его ослабленная (*gelindere*) форма, «твердый приступ» (*fester Einsatz*), который мы наблюдаем в современном германском, некоторые филологи довольно произвольно распространили на весь древнегерманский мир.

Это утверждение не только безосновательно, но и бесполезно. В поэзии современной Исландии аллитерация начальных гласных является жизнеспособным средством, хотя твердый приступ «не играет никакой роли в экономии исландского, а и речи многих его носителей никогда не появляется» (Malone, 1923, стр. 103): исландцы, более того, с большим трудом овладевают навыками его произнесения при изучении немецкого (Kress, стр. 59), а те, в чьей речи он все-таки встречается, произносят его только «спорадически» (Einarsson, стр. 3), в частности, перед гласными с наиболее сильным ударением, за которыми следуют определенные таутосиллабические согласные (Kress, там же), при скандирующей, эмфатической декламации стихов, особенно — для того, чтобы выделить *ljóðstafir* (аллитерирующие элементы).

Краткое положение Зиверса: «Alle silbischen Vokale alliterieren untereinander vermöge ihres gleichen Slimmeinsatzes» (Sievers, стр.

36) остается в силе, хотя выделение начальных гласных на самом деле имело место в ранне-германских языках — как посредством гладкого или твердого приступа, так и озвученного [6], который — по версии Хаммериха — был общим продолжением какой-то индоевропейской ларингальной фонемы (Hammerich. стр. 33, 71). Фонемный статус, впрочем, остается неизменным, независимо от того, участвует ли в предварении гласного деятельность гортани; таким образом, гладкий приступ современного исландского или английского и немецкий *Fester Ansatz* представляют собой неотмеченный ненапряженный глайд в противопоставление отмеченному напряженному глайду, обозначаемому как /h/, или, в древнегреческом варианте, *spiritus asper*. Оба греческих глайда, в отличие от гласных и согласных представленные на письме диакритическими значками, в фонемной системе соответствуют двум группам согласных: *spiritus asper* — напряженным, а *spiritus lenis* — ненапряженным. «Гладкое дыхание», πνεῦμα ψιλόν, в сравнении с противопоставленной ему фонемой имело, — как это точно подметил Стуртевант (Stutervant, 1937. стр. 117), «чисто отрицательное значение». Таким образом, глубоко укоренившееся убеждение в том, что *spiritus lenis* осуществлялся посредством гортанной остановки, вообще ничем не оправдано.

Под влиянием произносительных привычек родного языка Хойслер утверждает, что без твердого приступа «*wurde der Stabreim kaum hörbar*» (Heusler. стр. 95), но это утверждение неприемлемо. Различие между придыхательным и мягким приступом легко определить на слух, следовательно, и тот и другой выступает как независимый носитель аллитерации. Различие между двумя глайдами, напряженным и ненапряженным (в какой бы форме не выражался последний), представляет собой все ту же фонемную оппозицию между наличием и отсутствием начального превокального придыхания.

В древненорвежском, где [j] и [v] были позиционными вариантами гласных фонем /i/ и /u/ (ср. Sievers, стр. 36 и Gering), неслоговые варианты естественным образом могли «аллитерировать» с различными гласными, или, точнее сказать, иногда включались в ряд различных согласных в аллитерации ненапряженных глайдов (*_jotna* — *_allra* ; *_vaetr* — *_atta*) — так же, как это происходило в аллитерации напряженных глайдов (*hjon* — *har* , *hvila* — *hers*).

В начале «речевой меры» (иначе говоря, «фразовой групп!») ненапряженный глайд противопоставляется напряженному глайду, с одной стороны, и любому открывающему согласному —

с другой. Следует заметить, что у речевой меры существуют два стилистических варианта, которые Хеффнер подробно исследовал на материале современного английского (Heffner. стр. 173 и далее, стр. 200 и далее). Более эксплицитный вариант, называемый «лексическим произношением», характеризуется одинаковой трактовкой слова как при изолированном произнесении, так и внутри речевой меры. В то время как в более эллиптическом, размытом варианте между соседними словами устанавливаются тесные связи. В частности, если у второго из двух соседних слов нет начального согласного, но у первого есть конечный, то этот конечный согласный переходит от заключающей к открывающей функции, гладкий приступ второго слова утрачивается, а гласный становится постконсонантным.

При таком разговорном, прозаическом или прозаически ориентированном произнесении начальный слабый глайд слова внутри речевой меры или морфемы в составе сложного слова уже не слышен:

I förum, viðöldu ogóáttar kast
margtöorö Þítt mér leið i minni

(E. Benediktsson, «Móðir min»)

Harm, sem dómur himins felldi,
hefur ljósið gert að eldi
_og sitt guðgdómsæðli að synd;
_en i skuggasvipsins dráttum ***

(там же, «Svarti skóli»)

И все же, как бы ни исполнялись эти строки, аллитерация ненапряженных глайдов остается значимой, поскольку потенциально существует дискретное фразовое членение, которое отмечает все границы между словами и даже между границами частей сложных слов. Каким бы ни было статистическое соотношение между эксплицитным и эллиптическим субкодами, последний является не более чем производной от первого, а переключение кода с фразового на лексическое произношение все равно остается возможным.

При декламации традиционной французской поэзии — даже в классической трагедии, исполняемой *Comedie Française*, *E caducs* опускается, и тем не менее эти гласные остаются важнейшими, неприкосновенными элементами все еще действующего метрического канона. Если они и не произносятся, то в любом случае являются воспроизводимыми, правила обращения с ними известны любому, кто владеет французским литературным языком.

По мнению Стуртеванта, «не требует доказательств то, что любая обязательная черта стихосложения должна каким-то образом восприниматься на слух» (1924, стр. 337). Если речь идет о существовании в том или ином языке хотя бы скрытой возможности превращения любого такого элемента в слышимый, — тезис неопровержим. В то же время отсюда не следует делать вывода о том, что эта черта всегда проявляется при звуковом исполнении данных стихов. Далекая от того, чтобы быть «филологическим фантомом», цезура (или, лучше, «словораздел», учитывая двусмысленность латинского термина) является жизненно важным элементом стиха. Есть филологи, которые считают что, к примеру, в устной эпической традиции внимание исполнителя «сконцентрировано на грамматике и метре» и что он «не думает о словах». Тем не менее, достаточно нескольких наблюдений над поэтической техникой южнославянских гусяров, чтобы рассеять все сомнения. В среде сербских крестьян было — и до сих пор осталось — немало рапсодов, исполняющих тысячи эпических строк (по памяти или импровизируя), регулярных декасиллабов, в каждом из которых имеет место обязательный словораздел после четвертого слога, а словораздел перед четвертым слогом также категорически избегается (иными словами, обязательна «перемычка»). В большинстве случаев этот словораздел представляет собой не более чем обычную границу слова, не отмеченную синтаксической паузой. Тщательнейшее исследование фонографических записей подтверждает: ни в музыкальном исполнении, ни в фонетической структуре нет и намек на существование словораздела. Разумеется, исполнитель мог делать то, что Хеффнер называет «небольшой остановкой в потоке речевых движений» в конце четвертого слога. А вот сделать такую остановку перед этим слогом он не мог никогда. Здесь лежит заметное различие между словоразделом после четвертого слога и перемычкой перед ним. Впрочем, на деле исполнитель вообще избегает таких пауз. Лишенный какого-либо фонетического воплощения, словораздел особенно важен. Гусяр может быть совершенно неграмотным (а в прошлом неграмотными были все), очевидно неспособным к размышлениям о слогах или их счете, лексическим либо синтаксическим границам и их распределении, о долгих и кратких и их роли в каденции строки, — и тем не менее он демонстрирует безотказную интуицию, непосредственное восприятие всех метрических элементов. И когда крестьяне, успешно перенявшие у гусяров искусство запоминания, импровизации и пения эпических декасиллабов, намеренно производят отдельные строки без привычного слогораздела

после четвертого слога, гусляр немедленно выговаривает им за пение «не в лад».

Стуртевант, склонный к преуменьшению нашего ощущения слов и их границ, был убежден, что «это сознание недостаточно сильно для того, чтобы быть управляющим фактором при сочинении стихов» (стр. 348). Устная и письменная поэзия различных эпох и народов предоставляет нам множество фактов, убедительно доказывающих обратное. Сравнительная метрика показывает, что такие грамматические явления, как единство и границы слова (начальная и конечная) как правило являются одними из основополагающих основ стиха (ср. Jakobson, 1923, стр. 29 и далее, стр. 28 и далее).

Таким образом, автономная роль начальной границы слова сводится к нулю германской «аллитерацией гласных», отводящей неизменную роль ненапряженным глайдам независимо от выражения или подавления этих анлаутных сигналов во время конкретной речевой реализации. Позволим добавить, что более уместным термином для обозначения так называемой аллитерации гласных была бы аллитерация ненапряженных (или нулевых) глайдов или, проще, нулевая аллитерация.

Литература:

- Benediktsson, H., «The Vowel System of Icelandic». *Word* XV (1959), pp. 282-312.
- Classen, E., «Vowel Alliteration in the Old Germanic Languages», University of Manchester Publications: Germanic Series 1 (1913).
- Sir William A. Craigie, *The Art of Poetry in Iceland* (Oxford, 1937).
- Einarsson, S., *Beitrage zur Phonetik der islandischen Sprache* (Oslo, 1927).
- von Essen, O., *Allgemeine und angewandte Phonetik* (Berlin, 1957).
- Gering, H., «Altnordisch», v. PBB XIII (1888), pp.202 — 209.
- Hammerich, L. L., «Laryngeal before Sonant» // *Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk — filolog. Meddelser* XXXI, Nr. 3 (1948).
- Haugen, E., «On the Consonant Pattern of Modern Icelandic», *Acta Linguistica* II (1941), pp.98 — 107
- Haugen, E., «The Phonemics of Modern Icelandic», *Language* XXXIV (1958), pp. 55 — 88.
- Heffner, R.-M.S., *General Phonetics* (Madison, Wis., 1949).
- Heusler, A., *Deutsche Versgeschichte I* (Berlin — Leipzig, 1925).
- Hollmerus, R., «Studier over alliterationen i Eclclan» // *Skrifter utgivna av Svenska Litteratursalskapet i Finland* CCLVIII (1936)
- Jakobson, R., *O ccesskom stixe* (Berlin, 1923)
- Jakobson, R., *Selected Writings I* (The Hague, 1962).
- Jakobson, R., Fant, G., Halle, M., *Preliminaries to Speech Analysis* (Cambridge, Mass, 1961).

- Jinczck. O., rev. of «Ostnordiska och latinska Medeltidsordsprak» by A. Kock and C. af Petersens. *Zeitschrift für deutsche Philologie* XXVIII (1896), pp. 545 — 550
- Kaufmann, F., *Deutsche Metrik* (Marburg, 1897).
- Kock, A. (and C. af Petersens), *Ostnordiska och latinska Medeltidsordsprak I* (Copenhagen, 1889 — 1894).
- Kress, B., «Die Laute des moderncn Islandischen», // *Arbeiten aus dem Institut für Lautforschung an der Universital Berlin*, Nr. 2 (1937).
- Lawrence, J., *Chapters on Alliterative verse* (London, 1893)
- Lehmann, W. P. (and Dillard, J.L.), *The Alliterations of the Beowulf* (Austin, Tex., 1958).
- Lehmann, W.P. *The development of Germanic Verse Form* (Austin, Tex, 1956)
- Lehmann. W. P. (and Takemitsu Tabusa), *The Alliterations of the Beowulf* (Austin, Tex., 1958)
- Malone, K., *The Phonology of Modern Icelandic* (Menasha, Wise., 1923)
- Malone, K., «The Phonemes of Modern Icelandic» (1952), *Studies in Heroic Legend and in Current Speech* (Copenhagen. 1959).
- Rapp, K. M., *Versuch einer Physiologie der Sprache* (Stuttgart, 1836).
- Saran, F., *Deutsche Verslehre* (Munich, 1907).
- Sievers, E., *Altgermanische Metrik* (Halle. 1893).
- Stetson, R.H., *Motor Phonetics* (Amsterdam, 1951).
- Sturluson, Snorri, *Edda* (Reykjavik, 1907)
- Sturtevant, E.H., «The Doctrine of Caesura, a Philological Ghost», *Am. Journal of Philology* XLV (1924), 329 — 350.
- Sturtevant, E.H., «The Smooth Breathing», *Transactions and Proceedings of the Am. Philological Association* LXVIIII (1937). pp. 112—119.
- Victor, W., *Elements der Phonetik des Deutschen, Englischcn und Frazosischen* (Leipzig, 192.3).

СЕМИОТИКА

ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ СЕМИОТИКИⁱ

Эмиль Бенвенист в своем замечательном исследовании, «Взгляд на развитие лингвистики», заглавие которого я заимствую для своего обзора, привлек наше внимание к тому, что «предмет лингвистики двойственен: это одновременно наука о языке и наука о языках.^{***} Лингвист занимается языками, лингвистика же в первую очередь есть теория языков. Тем не менее ^{***} огромное количество вопросов, касающихся разных языков, объединяет нечто общее: при предельной степени обобщения они всегда ставят вопрос о статусе языка в целом.»¹ Мы рассматриваем язык в качестве универсального инварианта по отношению к различным локальным его проявлениям, которые изменяются в зависимости от пространства и времени. Точно таким же образом семиотика призвана изучать различные системы знаков и выявлять проблемы, проистекающие из методического сравнения этих отличающихся друг от друга систем, т.е. она ставит общую проблему ЗНАКА: знака как всеобъемлющего понятия по отношению к отдельным подклассам знаков.

Мыслители античности, Средневековья и Возрождения не раз пытались решить проблему знаков и знака. К концу семнадцатого столетия, в последней главе о трехчастном делении наук своих знаменитых *Опытов* Джон Локк возвел эту сложную проблему на уровень одной из «трех наиважнейших областей интеллектуальной деятельности», предложив обозначить ее термином «*semeiotike* (греч.), или 'доктрина о знаках' наиболее обычными из этих знаков являются слова», по той причине, что они применяются для передачи наших мыслей и, являясь знаками наших идей, тоже необходимы. Это знаки, которые люди нашли наибо-

ⁱ Доклад, открывающий Первый Международный Конгресс по Семиотике, Милан, Июнь 2, 1974. Первая публикация — на французском: *Coup d'oeil sur le developement de la linguistique*. Bloomington, Indiana, 1975. [Перевод К. Чухрукидзе]

¹ É. Benveniste, *Coup d'oeil sur le developement de la linguistique* (Paris: Academie des inscriptions et belles-lettres, 1963).

лее пригодными и поэтому используют их в общем порядке, представляют собой членораздельные звуки.²

Третью книгу своих *Опытов о человеческом разумении* (1694) Локк посвящает словам, функционирующим в качестве «важнейших инструментов познания», правилам их использования и их отношению к идеям.

II

Еще в начале своей научной деятельности Иоганн Генрих Ламберт обратил внимание на *Опыты*. Во время работы над «Новым Органоном» (1764),³ занимающим весьма значительное место в развитии феноменологической мысли, он признавался, что несмотря на критическое отношение к сенсуалистской доктрине Локка, он, тем не менее, испытал большое влияние его идей.⁴ Каждый из двух томов *Нового органа* делится на две части, третья из четырех частей всего трактата, *Semiotik oder Lehre von Bezeichnung der Gedanken und Dinge*, за которой следует *Phänomenologie* — открывает второй том (сс. 3-214) сочинения Ламберта; локковскому тезису она обязана как термином *semiotic* (семиотический), так и темой труда: «исследование необходимости символического познания в целом и языка в частности» (параграф 6), при условии, что этот процесс символического познания «является неотъемлемым звеном мышления» (параграф 12).

В предисловии к своей работе Ламберт предупреждает нас о том, что хотя он исследует проблемы языка в девяти главах *Семиотики* (*Semiotik*) (2-10), остальным типам знаков посвящает лишь одну главу, «так как язык сам по себе является не только необходимостью, имеющим неограниченное поле распространения, но он также может соседствовать со всеми типами знаков». Автор желает уделить внимание исследованию языка, «для того, чтобы лучше узнать его конкретную структуру» (параграф 20) и подступить к общей лингвистике, *Grammatica universalis*, изучение

² John Locke, *Essay Concerning Human Understanding* (London, 1694), Book IV, Ch. 21, sec. 4.

³ J.H. Lambert, *Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrthum und Schein* 1-2 (Leipzig: Johann Wendler, 1764). Reprint: *Philosophische Schriften* 1-2, ed. Hans-Werner Arndt (Hindelsheim: Georg Olms, 1965).

⁴ См. Max E. Eisenring, *Johann Heinrich Lambert und die Wissenschaftliche Philosophie der Gegenwart* (Zurich: Muller and Werden, 1942), 7, 12, 48ff., 82.

которой все еще впереди. Он напоминает нам, «что в нашем языке сочетаются произвольные, естественные и обязательные элементы. Поэтому учебник по общей лингвистике должен первым долгом обсуждать естественные и обязательные элементы, произвольные же, по возможности, — отдельно, но и тесной связи с естественными и обязательными элементами.»

Согласно Ламберту, разница между этими тремя элементами, которую мы находим в системе знаков, обнаруживает тесную взаимосвязь со следующим важным явлением: «первопричины языка сами по себе уже имманентны человеческой природе», вот почему проблема требует тщательного рассмотрения (параграф 13). Проблема алгебры и других систем искусственных научных языков по отношению к естественным языкам (*wirkliche Sprachen*) рассматривается Ламбертом (параграф 55ff) в качестве двойного перевода (*gedoppelte Übersetzung*).

В этой книге он изучает разницу в употреблении естественных и произвольных знаков (параграфы 47 и 48); естественным аффективным знакам (*natürliche Zeichen von Affecten*) он уделяет наибольшее внимание (параграф 19) «Для того, чтобы суметь выразить понятие, лежащее в глубине души,^{***} или по крайней мере указать на него себе и остальным», Ламберт рассматривает, например, роль, которую играют жесты, таким образом он предвидит семиотический масштаб *симулякров* (которые спустя столетие появляются вновь в списке Пирса под названием *икон* или *образов*).⁵ Ламберт поднимает проблему знаков, внутренняя структура которых основывается на взаимоотношениях подобия (*Ähnlichkeiten*), при интерпретации же знаков метафорического порядка он выделяет эффекты синестезии (параграф 18). Несмотря на суммарный характер его рассуждений по поводу неязыковых средств коммуникации, от внимания исследователя не ускользают ни музыка, ни хореография, ни гербовые знаки, ни эмблематика, ни церемонии. Трансформацию знаков (*Verwandlungeri*) и правила их сочетаемости (*Verbindungskunst der Zeichen*) Ламберт ставит на повестку дня для будущего изучения.

⁵ Charles Sanders Peirce, *Collected Papers I* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931), 588. В дальнейших ссылках на *Collected Papers I-VIII* (1931-1958) подзаголовки в тексте обозначены арабскими цифрами, которые сопровождаются римскими обозначениями номера тома и разделены периодом.

III

Именно в русле творческой инициативы Локка и Ламберта идея и предмет семиотики вновь приобретают актуальность в начале 19-го столетия. Уже в начале своей карьеры молодой Жозеф Мари Хойне-Вронский, ознакомившись с трудом Локка, сделал наброски своего эссе, опубликованного лишь в 1879 г.⁶ Автор, связанный через своего ученика Иржи Брауна с феноменологией Гуссерля и считающийся «величайшим из польских мыслителей»,⁷ исследует «способность означивания» (*facultas signatrix*). Сущность знаков должна быть изучена, во первых, в их отношении к категориям существования, т.е. МОДАЛЬНОСТИ (правильные/неправильные знаки) и КАЧЕСТВА (определенные/неопределенные знаки), во вторых, в их отношении к категориями производства, т.е. их связи с КОЛИЧЕСТВОМ (простые/сложные знаки), с ОТНОШЕНИЕМ (естественные/искусственные знаки) и ОБЪЕДИНЕНИЕМ (опосредствованные/непосредственные знаки). Согласно программе Хойне-Вронского, именно «совершенство знаков» («совершенство языка», по терминологии Локка, и «Vollkommenheit der Zeichen» согласно Ламберту) составляет предмет СЕМИОТИКИ» (стр. 41) Следует заметить, что эта теория сводит сферу «означивания» к когнитивной деятельности: «Такой вид сигнации возможен для сенсорных актов, а также для сенсорных и понятийных содержаний, связанных с объектами нашего знания», тогда как «сигнация актов воли и чувства» вообще не представляется «возможной». (стр.38ff)

IV

Пражский философ Бернад Больцано в своей основной работе *Наукоучение* (1837),⁸ главным образом в последних двух из написанных им четырех томов, уделяет достаточно много внимания и семиотике. Автор часто цитирует *Опыты* Локка и *Новый органон*, и хотя он и обнаруживает в работах Ламберта «по семиотике*** ряд очень ценных замечаний», но считает, что они не имеют большого значения «для становления наиболее общих

⁶ J.M. Hoene-Wronski, «Philosophie du langage». *Septs manuscrits inedits ecrits de 1803 à 1806* (Paris. 1897).

⁷ Jerzy Bronislaw Brau, *Aperçu de la Philosophie de Wronski* (Rome: P.U.G., 1969)

⁸ Bernard Bolzano, *Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik nit steter Rücksicht auf deren bisberige Bearbeiten* 1-4 (Sulzbach: J.E.v.Siedel, 1837). Reprint ed. Wolfgang Schultz (Leipzig: Felix Meiner, 1930-1931)

дается определение обоих понятий — учения о знаках, или семиотики (*Zeichenlehre oder Semiotik*). Если в этой главе и некоторых других частях работы внимание автора занимает в первую очередь исследование относительного (телеологического) совершенства знаков (*Vollkommenheit oder Zweckmässigkeit*) и, в частности, знаков используемых в логическом мышлении, то именно в начале третьего тома (параграф 285, сс. 67-84) Больцано старается ознакомить читателя с фундаментальным понятием теории знаков; этот параграф полон идей и озаглавлен как «означивание наших представлений» (*Bezeichnung unserer Vorstellungen*).

Параграф начинается с определения двойственной природы знака: «Объект***, через осмысление которого мы стремимся узнать в обновленном виде другой смысл, связывающийся тотчас с мыслимым бытием, понимается нами как знак». За этим следует целая цепь двойственных понятий, многие являются новыми, те же, что заимствованы из предшествующих источников, заново определены и расширены. Так, например, размышления Больцано о семиотике проясняют различие между значением (*Bedeutung*) знака и смыслом (*Sinn*), который этот знак приобретает в контексте имеющихся обстоятельств, затем говорится о различии между (1) воспроизведением знака адресантом (*Urheber*) и (2) его восприятием адресатом, колеблющимся между пониманием и непониманием (*Verstehen und Missverstehen*). Автор устанавливает различие между мыслью и языковым выражением знака (*gedachte und sprachliche Auslegung*), между общими и частными знаками, между естественными и окказиональными знаками (*natürlich und zufällig*), произвольными и непроизвольными, аудиальными и визуальными (*hörbar und sichtbar*), простыми (*einzel*) и сложными (*zusammengesetzt*, что значит «целое, части которого сами являются знаками»), между моносемичными и полисемичными, точными и фигуральными, метонимическими и метафорическими, опосредованными и непосредственными знаками; к этой классификации он добавляет поясняющие примечания по поводу значения подобного различения знаков (*Zeichen*) и индексов (*Kennzeichen*), которые лишены адресанта, и наконец, он высказывается по поводу животрепещущей темы, по вопросу о взаимоотношениях между intersубъективным (*an Andere*) и интрасубъективным (*Sprechen mit sich selbst*) видами коммуникации.

Еще молодой Гуссерль в своем исследовании, *Zur Logik der Zeichen (Semiotik)*, написанном в 1890 г., опубликованном же лишь в 1970 г.⁹, сделал попытку установить категории знаков и ответить на вопрос, каким образом мы можем знать, что язык, являющийся основной системой знаков, «с одной стороны содействует, а с другой, препятствует процессу мышления». Критический анализ знаков и их усовершенствование понимаются Гуссерлем как настоящая задача, решением которой должна заняться *логика*:

Более глубокое проникновение в природу знаков и искусств создаст для логики перспективу изобретения в дополнительном порядке таких процедурных и символических методов, которые еще не доступны для человеческого мышления; задача эта состоит в установлении правил для их изобретения.

Рукопись 1890 года содержит ссылку на главу «Semiotik» из *Теории науки*, которая признана одной из самых важных (*wichtig*) глав (стр. 530): ставя перед собой две цели в этом эссе, структурную и регулятивную, Гуссерль на самом деле следует примеру Больцано, которого он позднее называл величайшим логиком нашего времени. Как признается сам феноменолог, в семиотических идеях его *Логических исследований* легко просматриваются «следы идей Больцано»; второй том *Исследований*, включающий в себя представленный в виде системы трактат об общей семиотике, оказал большое влияние на начальный этап в структурной лингвистике. Как замечает Элмар Холленштайн, в своем экземпляре рукописи *Теории науки III* Больцано, Гуссерль сделал несколько заметок на полях параграфа 285, он также подчеркнул термин *Semiotik* и его определение в немецком переводе *Опытов Локка, Über den menschlichen Verstand* (Leipzig, 1897).¹⁰

⁹ E.Husserl, «Zur Logik der Zeichen (Semiotik)». *Gesammelte Werke* 12 (The Hague: Nijhoff, 1970).

¹⁰ E.Hollenstein, *Linguistik, Semiotik, Hermeneutik: Plädoyers für eine strukturelle Phänomenologie* (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976), 206, fn.9.

С 1863 года природа знаков составляла излюбленную тему исследований Чарлза Сандерса Пирса (1839-1914) (cf. V.488 и VIII. 376), особенно после того, как он с большой уверенностью заявил о своих научных убеждениях в работе *О новом списке категорий* («On a New List of Categories»), опубликованной в 1867 г. Американской Академией Наук и Искусств (cf. 1. 545-559); за этим последовали две незамысловатые статьи в *Журнале Спекулятивной Философии* (*Journal of Speculative Philosophy*) в 1868 г. (cf. V. 213-317), и наконец материалы, собранные в 1909-10 годы для издания его незавершенного тома *Эссе о Значении* (*Essays on Meaning*) (cf. II. 230-32; VIII. 300).¹¹

Следует заметить, что на протяжении всей жизни мыслителя идеи, побудившие его неустанно прокладывать пути новой науки о знаках разрослись и вглубь и вширь, и несмотря на это, они сохранили цельность и прочность. Что касается терминов «semiotic», «semeiotic», или «semeotic», они появляются в рукописях Пирса только в начале столетия; именно в это время теория о сущности и фундаментальных разновидностях возможного семиозиса «начинает занимать внимание великого исследователя» (I.444; V.488), Вставленное им греческое semeiotike, так же как и краткое определение «доктрины о знаках» (II.277), наводит на след Локка, на известные *Опыты* которого часто ссылался наш верный приверженец этой доктрины. Несмотря на большое богатство оригинальных и полезных открытий в семиотической системе Пирса, последний, тем не менее, сохранил тесную концептуальную связь со своими предшественниками — «величайшим логиком формалистом своего времени». Ламбертом (II.346), *Новый органон* которого он цитирует (IV.353), с Больцано, о котором узнал благодаря его «ценному вкладу в прояснение человеческих представлений» и его «трудам по логике в четырех томах» (IV.651).

Тем не менее, Пирс совершенно справедливо утверждал: «Я являюсь, как мне кажется, пионером, или даже одиночкой, в процессе расчистки обширного поля семиотики и обоснования правил науки, которую я называю семиотикой (semiotic),*** и я нахожу это поле слишком пространным, а работу слишком трудной для первопроходца» (V.488) Пирса со смелостью можно назвать «самым изобретательным и самым универсальным из

¹¹ См. Irwin C Lieb, ed, *Charles S. Peirce's Letters to Lady Welby* (New Haven, Conn.: Whitlocks, 1953), 40.

американских мыслителей», ¹² сумевшим сделать заключительные выводы и расчистить почву для воздвижения на свой страх и риск здания новой науки, которую европейская философская мысль предвидела и предвосхитила уже два столетия назад.

Семиотическая система Пирса включает в себя все множество сигнификативных явлений, таких как: стук в дверь, отпечатки пальцев, внезапные выкрики, картины или музыкальные партитуры, беседы, спокойное размышление, литературные произведения, силлогизмы, алгебраические уравнения, геометрические диаграммы, определение погоды с помощью флюгера или простую закладку в книге. При сравнительном изучении нескольких знаковых систем, осуществленном исследователем, обнаружились основные сходства и различия, долго остававшиеся незамеченными. Пирс продемонстрировал в своих работах особую проницательность, поставив проблему о категориальной природе языка и показав это на примере фонологического, грамматического и лексического аспектов слова, а также выявив процесс объединения слов в предложения, а предложений, в свою очередь, в высказывания. В то же время автор осознавал, что его исследование «должно охватить всю общую семиотику», и предостерегал свою собеседницу по переписке, леди Уэлби: «Вам, вероятно, грозит опасность впасть в заблуждение, если вы ограничите ваши штудии исключительно языком.» ¹³

К сожалению, большая часть работы Пирса была опубликована в сороковых годах нашего века, т.е. спустя 20 лет после смерти автора. Потребовалось почти столетие, чтобы напечатать некоторые из его текстов, так что замечательный фрагмент одного из его курса лекций, прочитанных в 1866-67 — «Сознание и язык» — впервые появился лишь в 1958 г. (VII.579-96); тем не менее, в наследии Пирса все еще остается большое количество неопубликованных работ. Запоздалая публикация его трудов, появившихся вследствие этого в разрозненном и фрагментарном виде среди путаницы *Собрания сочинений Чарлза Сандерса Пирса*, тт. I-VIII, надолго воспрепятствовало полному и точному пониманию его концепций, а также, к большому сожалению, задержало возможность их благотворного влияния, как на гармоничное развитие семиотики, так и на науку о языке в целом.

Читатели и комментаторы этих работ часто допускали ошибки относительно основных терминов, введенных Пирсом, при том

¹² См. R.Jakobson, «Quest for the Essence of Language», *Selected Writings II* (The Hague-Paris: Mouton, 1971), 345 ff.

¹³ I.C. Lieb, ed, *op.cit.*, 39.

что они незаменимы для понимания его теории знаков, и тем более что этим терминам, даже несмотря на некоторую натяжку, даны определения, которые всегда ясно употребляются в авторском тексте. Так, например, употребление Пирсом терминов *interpreter* (интерпретатор) и *interpretant* (интерпретант) стало причиной необъяснимой путаницы, хотя Пирс четко обозначил различия между термином *interpreter*, определяющем получателя и шифровщика сообщения, и *interpretant*, который является ключом, с помощью которого получатель сообщения понимает полученное сообщение. Согласно популяризаторам Пирса, единственная функция приписываемая *interpreter* в его доктрине состоит в раскрытии каждого знака через опосредование контекстом, тогда как на самом деле отважный «пионер» семиотики призывал «выделять в первую очередь, Непосредственный Интерпретант, функция которого проявляется в правильном понимании самого знака, и обычно называется *смыслом знака*» (IV.536). Другими словами, это «все что является эксплицитным в самом знаке, независимо от контекста и условий, при которых осуществляется высказывание» (V.473); любая сигнификация является лишь «переводом одного знака в другую систему знаков» (IV. 127). Пирс выявляет способность любого знака быть переведенным в бесчисленные ряды других знаков, которые в каком-то смысле, всегда, эквивалентны (11.293) друг другу.

Согласно этой теории знак не нуждается ни в чем, кроме возможности быть интерпретированным, даже при отсутствующем адресанте. Симптомы болезней, таким образом тоже могут считаться знаками (VIII.185, 335) и в определенные моменты, медицинская семиология соприкасается с семиотикой, наукой о знаках.

Несмотря на несоответствие деталей в пирсовских исследованиях, деления знака на два взаимосвязанных аспекта, и в частности, традиция стоицизма, понимающая знак (*semeion*) как референцию от *signans* (*semainon*) к *signatum* (*semainomenon*) прочно удерживается Пирсом в его доктрине. В соответствии с произведенным им делением семиозиса на 3 части и выбранными им весьма туманными названиями, (1) *знаки-индексы* — имеют в виду отношение между *signans* и *signatum*, создаваемые на основе их существующей в действительности, фактической смежности; (2) в случае иконических знаков — отношение между *signans* и *signatum* осуществляется за счет фактического сходства; (3) *знак-символ* образует отношение между *signans* и *signatum* на основе «предписанной» (*imputed*), конвенциональной, условной смежности. Соответственно (cf. особенно II. 299, 292ff., 301, и IV. 447ff.,

537), условие функционирования символа отличается от условий функционирования иконических и индексных отношений». В отличие от этих двух категорий символ как таковой, не является объектом, он есть не что иное как «общее правило», которое должно быть четко отграничено от его функционирования в виде т.н. «реплик» (*replicas* или *instances*),ⁱ как их пытается определить Пирс. Толкование общих свойств определяющих и *signantia* и *signata* в языковом коде (каждый из этих аспектов «является разновидностью, а не единой вещью») открыло новые перспективы для семиологического исследования языка.

В настоящее время, трехчастное деление, о котором идет речь вызывает появление ошибочных взглядов. Пирсу пытаются приписать идею о делении всех существующих в истории человечества знаков на три строго отграниченных класса, в то время как автор просто-напросто рассматривает три способа образования знаков, один из которых «превалирует над другими», и в данной системе, часто оказывается переплетенным с двумя другими видами семиотического образования. Например,

Символ может содержать в себе иконический или индексальный знак (IV.447), Часто желательно, чтобы репрезентанты осуществляли одну из этих трех функций исключая две другие, или две из них, исключая третью; но самыми совершенными являются те знаки, в которых иконические, индексные и символические свойства гармонируют друг с другом равным по возможности, образом. (IV.448). Было бы очень трудно, если вообще возможно, привести в качестве примера абсолютно чистый индексальный знак, или найти любой другой знак совершенно лишенный индексальных свойств. (II.306). Диаграммаⁱⁱ, хотя она обычно и имеет черты свойственные как *символическим* отношениям, так и

ⁱ Символ, например, слово, является «общим правилом», которое получает значение только через разные случаи его применения, а именно через произнесенные или написанные — вещный характер — *replicas*.

ⁱⁱ Диаграмма — диаграмматичность понимается как синоним иконичности; в иконических знаках («образах» и «диаграммах») означающее по мнению Якобсона сходно с означаемым; такое сходство характерно для изображения действительности в живописи, скульптуре, кино, театре. Диаграмматическая иконичность проявляется, напр., в сходстве между линейным порядком слов в высказываниях типа «Пришел, увидел, победил» и его означаемым (последовательностью отображаемых событий), между редупликацией и обозначаемыми ею смыслами («множественность», «итеративность», «дуративность»)

черты приближающиеся по качеству к *индексальным* знакам, тем не менее, являет собой пример знака *иконического*. (IV.531).

Свои настойчивые попытки создать исчерпывающую классификацию семиотических феноменов, Пирс завершил очертив таблицу состоящую из 66 делений и подразделений¹⁴; она охватывает функции «почти любого вида знака» — функции известные под давним уже термином *semeiosis*. В семиотической системе Пирса, в которой предпочтение отдается не только символическим отношениям между *signans* и *signatum* среди языковых данных, но также и со-присутствию с ними иконических и индексальных отношений, здесь же находят свое место и обыденный язык, и различные типы формализованных языков.

VII

Вклад Фердинанда де Соссюра в развитие науки семиотики гораздо скромнее и ограниченнее. Его отношение к *science de signes* и название *semiologie* (местами *signologie*),¹⁵ сразу приписанное им этой науке, находится, по всей видимости, в некотором отдалении от направления, созданного такими фигурами как Локк, Больцано, Пирс, Гуссерль. Вполне возможно, что он даже не знал об их исследованиях по семиотике. И тем не менее, Соссюр в своих штудиях задается вопросом: «Почему семиотика не существовала до сих пор?» (1:52). Мы остаемся в полном неведении относительно причины, вдохновившей Соссюра построить собственную систему. Его идеи, касающиеся науки о знаках дошли до нас в форме разрозненных записей, самые ранние из которых относятся к 1890-м,¹⁶ а также по двум последним из его трех курсов по общей лингвистике (1:33, 45-52, 153-55, 17011).

С конца нашего столетия, Соссюр пытался выработать «идеальную теорию семиологической системы»¹⁷ и обнаружить свойства «языка, как целостной семиологической системы»,¹⁸ имея в виду главным образом системы «условных

¹⁴ См. *ibid.*, 51-53

¹⁵ См. F. de Saussure, *Cours de linguistique générale*, критическое издание, подготовленное Рудольфом Энглером, 2 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974), 47ff. Дальнейшие ссылки на это издание (т.1. 1967; т.2, 1974) даются в тексте с номером тома и страницы в скобках.

¹⁶ См. Robert Godel, *Les sources manuscrites ciu «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure* (Geneva: Librairie E.Droz, 1957), 275.

¹⁷ См. *ibid.*, 49

¹⁸ F. de Saussure «Notes inédites», *Cahiers Ferdinand de Saussure* 12(1954), 71.

(конвенциональных) знаков»; самые ранние из заметок Соссюра по теории знаков касаются применения этой теории на фонологическом уровне языка; эти тезисы с большей ясностью, нежели, его более поздние высказывания, касающиеся той же проблемы, предусматривали появление:

взаимоотношений между звуком и смыслом, семиологическую ценность феномена, [который] может, и должен быть изучен вне всяких исторических отсылок, [так как] имея дело с семиологическими фактами, исследование языка, находящегося на одном и том же уровне, совершенно оправдано (и даже необходимо, хотя этот принцип не принимается во внимание и игнорируется).¹⁹

Тождество *Phoneme = Valeur semiologique* является основой *phonetique semiologique*, новой дисциплины, появление которой предвосхитил Соссюр начиная свою деятельность в Женевском Университете.²⁰

Единственная ссылка на семиологические теории Соссюра, появившаяся при его жизни — это короткое изложение, полученное от его родственника и коллеги, А.Навиля в книге вышедшей в 1901 г..²¹

Текст *Course de linguistique générale*, опубликованный в 1916 г. Шарлем Балли и Альбертом Сеше по записям сделанным слушателями Соссюра, настолько переработан и отредактирован издателями, что вызвал появление большого количества ошибочных представлений об учении лингвиста. В настоящее время, благодаря прекрасному критическому изданию Рудольфа Энглера (cf.fn. 15 сверху), мы можем сравнить их с прямыми отчетами студентов Соссюра, чтобы получить гораздо более правдивое и точное представление об оригинальном тексте его бесед.

В отличие от Пирса и Гуссерля, считавшими, что именно они заложили основу науки семиотики, Соссюр рассматривает ее всего лишь как будущую науку. Согласно записям, сделанным во время его курса, прочитанного между 1908 и 1911 годами и собранного несколькими студентами (cf. 1:xi), язык является в первую очередь знаковой системой, и поэтому должен быть классифицирован в качестве науки о знаках (1:47). Наука эта только-только начинает развиваться. Соссюр предлагает назвать ее *семиологией (semiologie)* (от греч. *semeion*, знак). Нельзя сказать,

¹⁹ Цитата извлечена Р.Якобсоном из «World Response to Whitney's Principles of Linguistic Science» (1971).

²⁰ *Ibid.*, 49.

²¹ Adrien Naville, *Nouvelle classification des sciences. Etude philosophique* (Paris: Alcan, 1901), гл.5.

каково будущее этой науки о знаках, но следует признать, что она имеет право на существование и что лингвистика занимает главный раздел этой науки: «лингвистика станет одной из разновидностей большого семиологического факта» (1:48); лингвистам придется различать семиологические свойства языка, чтобы правильно расположить язык-как-систему среди других знаковых систем (1:49); задачей новой науки станет выявление различий между этими системами, так же как и между их общими характерными свойствами — «Появятся общие законы семиологии» (1:47).

Соссюр подчеркивает, что язык не единственная система знаков. Существует много других: письмо, навигационные, трубные сигналы, жесты вежливости, церемонии, ритуальные правила (1:46ff.). По мнению Соссюра, «Обычаи основываются на принципах семиологии» (1:154). Законы трансформации в знаковых системах будут иметь абсолютно конкретные, тематические аналогии с законами трансформации в языке; с другой стороны, эти законы помогут обнаружить основные различия между этими системами (1:45,49). Соссюр предвидит определенные несоответствия в природе разных знаков и их социальном значении, такие как, например, личностные и неличностные факторы, осмысленные действия или спонтанные, зависимость или независимость от воли субъекта или социума, повсеместное распространение или ограниченное. Если сравнить различные знаковые системы с языком, то, согласно Соссюру, можно усмотреть, такие скрытые стороны, о которых ранее даже не подозревали; изучая ритуалы или любую другую систему ценностей по отдельности, легко можно заметить, что все эти системы имеют один и тот же предмет исследования, — специфические действия знаков, семиологию (1:51). Согласно тезису Соссюра, который не изменялся с тех пор как в 1894 г. он стал готовить незавершенное исследование Уильяма Дуайта Уитни, «язык — ни что иное, как лишь особое воплощение Теории Знаков; и (далее):

это положение должно оказать колоссальное влияние на изучение языка в русле теории знаков; оно станет новым горизонтом, который откроется для исследования природы знаков и обнаружения в теории знаков *целого ряда* других, новых сторон самого знака, а именно того, что знак не может полностью раскрыться, пока мы не увидим, что он не только не является вещью просто передающейся, но по сути своей, является вещью, которая *предназначена для передачи*.²²

²² Цитируется *infra*, 228.

(Вот почему, согласно Пирсу, знак нуждается в участии «интерпретатора»).

Итак, одновременно с предыдущими рассуждениями, Соссюр ставит проблему об «особенно сложной природе семиологии разговорного языка» (loc. cit) по сравнению с другими семиологическими системами. Согласно соссюровской доктрине, в этих системах используются знаки, которые осуществляют самый что ни на есть непосредственный уровень референции между *signatum* и *signans*, — это, согласно терминологии Пирса, иконические знаки, или *символы* (как их будет определять Соссюр в своем *Course*), являющиеся знаками, но не всегда произвольными.» Так, например, согласно утверждению 1894 года, чисто условные и так называемые «произвольные» знаки — это те, которые Пирс называет символами (*legisigns*). «Независимые символы», согласно ранним записям Соссюра, «обладают особенно важным свойством, проявляющимся в том, что они не образуют ни малейшей воспринимаемой связи с определяемым объектом.» В результате, «каждый, кто попадает в стихию языка, должен признать, что во всех аналогиях между небом и землей ему отказано.»²³

Несмотря на то, что Соссюр склонен усматривать непосредственный интерес семиологии в «произвольных системах», эта наука, как он утверждает, всегда будет расширять свою поле деятельности, поэтому трудно предсказать, каковы границы ее развития. (1:153ff). «Грамматика» игры в шахматы, учитывая ценностное соотношение между фигурами, позволяет Соссюру сравнить игру в шахматы с языком и прийти к заключению, что в этих семиологических системах, «понятие идентичности совмещается с понятием значимости (*value*) и наоборот» (1:249).

Именно вопросы связанные с тождеством и ценностью, согласно меткому замечанию сделанному Соссюром и начале века, кажутся основополагающими и для мифологических исследований, так как представляют собой «область родственную лингвистике»: на уровне семиологии все противоречия мыслительного процесса возникают из-за недостаточного осмысления того, *что такое идентичность* знака, или каковы свойства этой идентичности, когда мы говорим о такой несуществующей в общем-то вещи как *слово*, или о мифологических героях, о буквах алфавита, с *философской точки зрения* являющимися лишь различными формами знака.

«Эти символы, сами по себе, подчиняются тем же правилам переменности, что и все другие ряды символов *** — они все состав-

²³ *Ibid*

ляют часть семиологии.»²⁴ Идея подобной семиологической реальности, самой по себе не существующей «постоянно и, независимо от времени» (*a nul moment*) (2:277), была принята Соссюром, в 1908-09 годы, во время чтения курса, где он объявил о «способности значений к взаимному определению за счет совместности их расположения», а также добавил, что такая способность к определению может возникнуть только на синхронном уровне, «так как системы ценностей не могут оставаться не зависимыми от процесса смены эпох.» (2:304).

Семиотические принципы выработанные Соссюром в течении последних двадцати лет его жизни демонстрируют поразительную настойчивость и упорство. Цитируемые выше наброски 1894 года начинаются с непоколебимого утверждения:

Объект, который функционирует как знак никогда не может быть «тем же самым» дважды: он нуждается в немедленной перепроверке или предварительной договоренности, для знания того, в каких границах и от чьего имени мы имеем право назвать его тем же самым; в этом и состоит его фундаментальное отличие от обычного объекта.

Соссюр в этих записях настаивает на решающей роли «сплетенности неизменно отрицательных различий», что является первопричиной не-совпадения в сфере семиологических значений. Приступая к исследованию семиологических систем, Соссюр пытается «возразить против прошлых теорий», и говоря о 1894 годе, охотно ссылается на сравнения между синхроническими уровнями в языке и шахматной доской. Проблема «антиисторической сущности языка» послужит даже заглавием последних записей Соссюра 1894 года (2:282), и, более того, будет приложена ко всем его размышлениям о семиологических аспектах языка, а также всех *creations symboliques* (символические творения).²⁵ Эти два так и неразделенных принципа соссюрской лингвистики — *arbitraire du signe* и строго «статическая» интерпретация системы — чуть не заблокировали развитие общей семиологии, на которое так надеялся ученый и которое сам предсказывал (ср. Saussure, 1:170ff).

²⁴ См. Jean Starobinski, *Les mots sous les mots. Lex anagmmes de Ferdinand de Saussure* (Paris: Gallimard, 1971), 15.

²⁵ См. с его записями, опубликованными Arco Silvio Avalle, «Noto sul 'segno, *Strumenti critici* 19 (1972), 28-38; См. также с D.S.Avalle. «La semiologie de la narrativite chez Saussure», в *Essais da la theorie du texte*, изд. К.Буази (Paris: Editions Galilee, 1973).

Таким образом, важнейшую проблему семиологической инвариантности, которая сохраняет действенную силу во всех своих ситуативных и индивидуальных вариациях Соссюр проясняет благодаря весьма удачному сравнению языка с симфонией: музыкальное произведение представляет собой реальность, существующую независимо от различных его исполнений; «исполнения не достигают статуса самого произведения». Как замечает Соссюр, «реализация знака не является его основополагающим свойством»; «исполнение сонаты Бетховена еще не есть сама соната», (1:50, 53ff.). Мы имеем дело со взаимоотношением между *langue* и *parole* и с аналогичной связью между «моновокальностью» (*univocite*) произведения и множеством индивидуальных интерпретаций. Совершенно ошибочно, в тексте составленном Балли и Сеше, эти интерпретации представлены в качестве «отклонений, совершаемых [исполнителями].»

Соссюр по всей видимости был уверен, что в семиологии «произвольные» знаки займут основное место, но просматривать записи студентов для проверки достоверности утверждений, данных в текстах Балли и Сеше не имело бы смысла; вот они: «знаки, являющиеся полностью произвольными осуществляют идеальный уровень семиологического процесса лучше, чем другие знаки». (1:154).

Экспансионистская точка зрения на процесс становления науки, (*science en devenir*) заставляет Соссюра наконец признать, что «все, что может быть заключено в форму должно стать частью семиологии» (*loc.cit.*). Это утверждение, по-видимому, предвосхищает современные теории тополога Рене Тома, который ставит вопрос о том, не следует ли попытаться незамедлительно составить «общую теорию форм, независимо от специфической природы пространственного субстрата». ²⁶

VIII

Отношения между наукой о языке и языках, и наукой о знаке и знаках были лаконично и ясно изложены Эрнстом Кассирером в его обращении к Нью-Йоркскому Лингвистическому Кружку; в этом обращении он отметил, что «лингвистика является частью семиотики». ²⁷

Знаки несомненно принадлежат к сфере, которая в отдельных ее пунктах отличается от всех других реалий нашей окружающей

²⁶ R.Thom, «La linguistique, discipline morphologique exemplaire», *Critique* 30(1974), 244ff.

²⁷ E.Cassirer, «Structuralism im Modern Linguistics», *Word* 1 (1945), 115.

среды. Должны быть исследованы все участки этой сферы, принимая при этом во внимание все общие свойства, сходства и различия между отдельными типами знаков. Любая попытка установить определенные границы для семиотических исследований и исключить из них определенные типы знаков чревато расщеплением науки о знаках на две омонемические дисциплины, а именно, на *семиотику*, в широком смысле этого слова, и другую, аналогично названную область, но взятую в узком смысле. Кое-кто, например, может захотеть создать отдельную науку на основе изучения знаков, которые мы называем «произвольными», т.е. тех, которые мы используем в языке (во всяком случае так принято полагать), хотя даже лингвистические символы, как показал Пирс, можно с легкостью отнести к *иконическим* или *индексальным* знакам.

Каждый, кто считает систему языка единственной системой достойной быть предметом исследования для семиотики попадает в порочный круг определения (*petitio principii*). Ограниченность лингвистов, настаивающих на исключении из сферы семиотики знаков, распределенных отличным образом от их распределения в языке, сводит эту науку к некому прообразу лингвистики. Но попытки ограничить поле деятельности семиотики заходят еще дальше.

На всех уровнях и во всех аспектах языка, отношения взаимодействия между двумя гранями знака, *signans* и *signatum*, остаются неизменными, хотя очевидно, что свойства *signatum* и структура *signans* изменяются в зависимости от статуса языкового явления. Привилегированная роль правого уха (а, точнее говоря, левого полушария мозга), предназначенного исключительно для восприятия языковых звуков, является основным проявлением их семиотической ценности, а все фонологические компоненты (независимо от того, являются ли они дифференциальными признаками, или демаркационными, стилистическими, или даже полностью избыточными элементами) функционируют в качестве имманентных знаков, каждый наделенный своим собственным *signatum*. Любой более высокий уровень вызывает появление новых особенностей значения: они основательно изменяются по мере восхождения по «шкале», ведущей от фонемы к морфеме, от морфем к словам (включая всю их грамматическую и лексическую иерархию), затем проходят через разные уровни синтаксических структур вплоть до предложения, далее — от группы предложений к высказываниям, и в конечном итоге оформляются в последовательность высказываний, т.е. в диалог. *Каждый* из этих последовательных этапов отличается собствен-

ными ярко выраженными специфическими качествами, а также присущей этому уровню степенью подчиненности правилам кода и требованиям контекста. В то же время, каждая часть задействованы, по возможности, в осуществлении целостного значения. Вопрос о значении морфемы, слова, предложения или отдельного высказывания одинаково важен для всех этих единиц. Относительная сложность таких знаков как синтаксический период, монолог или диалог, не влияет на тот факт, что в пределах любого языкового явления все компоненты являются знаками. Дифференциальные признаки, цельный дискурс, или лингвистические сущности, несмотря на структурные отличия их функций и поля деятельности, все подчинены одной общей науке о знаках.

Сравнительное изучение естественного и формализованного языков, и в первую очередь языков логики и математики, тоже относится к семиотике. Здесь анализ различных отношений между кодом и контекстом уже открыл широкие перспективы. Кроме того, сопоставление языка с «второстепенными формообразующими структурами» и отчасти с мифологией дает богатые результаты и призывает отважные умы предпринять аналогичного рода исследования охватывающий всю семиотику культуры.

Что касается дальнейших семиотических исследований вопросов языка, тут придется быть на чеку, чтобы не допустить опрометчивого отнесения специфических качеств языка к другим семиотическим системам. Не следует также упорно отказывать семиотике в праве изучать знаковые системы, которые имеют мало сходств с языком, и предаваясь остракизму, обнаруживать в самом языке предположительно «не-семиотические» уровни.

IX

Искусство долго ускользало от семиотического анализа. Тем не менее, нет сомнения в том, что все искусства, — будь они по сути темпоральны, подобно музыке и поэзии, — основаны на пространственных отношениях, подобно живописи и скульптуре, или синкретичны, пространственно-темпоральны, подобно театру или цирковым представлениям и кинопоказам, — все они связаны со знаком. Разговор о «грамматике» искусства состоит не только в использовании бессмысленной метафоры: суть в том, что все виды искусства имеют в виду организацию полярных и сигнификативных категорий, которые в свою очередь основываются на оппозиции маркированных и немаркированных элементов. Все виды искусства, объединяясь, образуют сеть художественных конвенций. Некоторые, например, имеют всеобщий

характер, скажем, можно выделить какое-то количество стабильных слагаемых, основных для пластических искусств, в зависимости от которых устанавливаются основные различия между живописным полотном и образцом скульптуры. Другие конвенции, влияющие на художника, или время от времени обязательные для него и непосредственных потребителей его произведения, налагаются стилем, релевантным для определенной народности и определенной эпохи. В результате, оригинальность произведения ограничивается артистическим кодом, который доминирует в данную эпоху и в данном обществе. И даже неподчинение художника затребованным правилам, не менее чем его верная приверженность им, воспринимается современниками в русле установленного кода, который художник-новатор пытается разрушить.

Привычное для нас сопоставление искусства и языка может не сработать, если это сравнительное изучение касается обыденного языка, а не напрямую искусства слова, которое представляет собой видоизмененную систему первого.

Знаки присущие определенному виду искусств могут нести отпечаток каждого из трех семиотических способов образования, описанного Пирсом; таким образом, они могут походить и на *знак-символ*, *знак-икону*, и *знак-индекс*, но совершенно очевидно, что их сигнификативная ценность (*semeiosis*) располагается за пределами их художественных качеств. Из чего состоят эти особые качества? Один из самых исчерпывающих ответов на этот вопрос был дан в 1885 г. молодым студентом колледжа, Джерардом Мэнли Хопкинсом:

Поэтическая техника, а может, мы будем правы если скажем, что и техника искусства в целом, сводится к принципу параллелизма. Структура поэзии состоит в непрерывном параллелизме.²⁸

Вопрос об «искусстве» (*artifice*) должен быть добавлен к триаде семиотических способов образования знаков, установленных Пирсом. Триада основывается на двух бинарных оппозициях: смежный/сходный и действительный/предписанный. Смежность обоих компонентов знака действительна, фактична в *индексальном знаке*, но навязана, предписана в *знаке-символе*. В *иконическом знаке*, присущее ему действительное, фактическое сходство находит свой логически предсказуемый коррелят в предписанном сходстве, характерном для «искусства», и именно по этой причине, встраивается в целое, которое теперь уже на-

²⁸ G.M.Hopkins, «Poetic Diction» (1865), in *The Journals and Papers*, ed. H.House (London: Oxford University Press, 1959), 84.

всегда является четырехчастным единством семиотических способов образования знака.

Каждый знак представляет собой *отсылку (renvoi)* (согласно известному *aliquid stat pro aliquo*). Параллелизм, о котором говорит поэт и теоретик поэзии, Джерард Мэнли Хопкинс, является отсылкой от одного знака к целиком сходному знаку или по крайней мере сходному по одному из двух его граней (*signans* или *signatum*). Один из двух «соотнесенных», по определению Соссюра, знаков ²⁹ отсылает к другому, наличествующему или подразумеваемому в пределах того же контекста, что можно усмотреть на примере метафоры, где *in praesentia* фигурирует лишь «средство переноса». Работа Соссюра, завершенная им во время профессорства в Женеве, работа весьма дальновидная, касающаяся повторов в античной литературе, могла бы оказаться новаторской для мировой науки поэтики, но была совершенно незаслуженно скрыта от взоров специалистов, и вплоть до сегодняшнего дня содержимое довольно ранних записных книжек Соссюра известно нам лишь по впечатляющим цитатам Жана Страбиньского. Эта работа выявляет феномен «сцепления по парам», который заключается в повторах по четным строкам» в Индоевропейской поэзии, что позволяет нам сделать анализ «фонологической сущности слов для построения акустических серий (например, соотнести гласную, с соответствующей 'контргласной'), или для создания из них сигнификативных серий». ³⁰ Настойчиво пытаюсь сгруппировать парами «естественным образом истребующие друг друга» знаки, ³¹ поэты были вынуждены контролировать традиционный «скелет кода», а именно, первым делом, одобренные всеми строгие правила сходства, включая принятые отклонения от нормы (или, как выразился Соссюр, «транзакт» определенных переменных участвующих в формообразовании), затем правила, предписанные для равной (*paire*) дистрибуции соответствующих единиц в пределах текста, и, наконец, порядок (*consecutivite* или *non-consecutivite*) накладываемый на повторяющиеся элементы на фоне хода времени. ³²

«Параллелизм» как характерная черта структуры искусства является отсылкой семиотического факта к эквивалентному факту внутри того же контекста, включая случаи, когда целью отсылки является лишь эллиптическая импликация. Эта беззаговорочная

²⁹ См. J. Starobinski, *op. at.*, 34

³⁰ *Ibid*, 21, 31 ff.

³¹ *Ibid.*, 55.

³² *Ibid*, 47.

принадлежность двух параллелей к одному и тому же контексту позволяет нам пополнить систему временных аспектов, включенную Пирсом в свою семиотическую триаду: «Сущность знака-иконы принадлежит к прошедшему опыту**», сущность индексальных знаков состоит в настоящем опыте. Сущностью же символа *** является — *esse in futuro*» (IV.447; II. 148). «Искусство» же содержит в себе *атемпоральную* взаимосвязь двух параллелей внутри их обусловленного контекста.

Стравинский никогда не уставал повторять, что «в музыке доминирует принцип сходства». ³³ В музыкальном искусстве соотношения элементов, которые в пределах данной конвенции признаны взаимозаменимыми друг другу, составляют основную, если не единственную семиотическую ценность — а именно, «интрамузыкальное воплощение значения», согласно описанию музыковеда Леонарда Мейера:

Внутри контекста отдельного музыкального стиля один тон, или группа тонов указывают — или ведут опытного слушателя к тому, чтобы он мог ожидать, появление другого тона, или группы тонов предсказуемых на более или менее определенной точке музыкального континуума.³⁴

Отсылка к следующему далее знаку в пределах музыкальной формы осмысливается композиторами как сущность музыкального знака. По мнению Арнольда Шенберга, «сочинять музыку это значит обозревать будущее музыкальной темы.» ³⁵ Три фундаментальные операции музыкального «ремесла» — антиципация, ретроспекция и интеграция — напоминают нам о факте, что именно исследование музыкальной фразы, предпринятое в 1890 г. Эренфельсом подсказало ему не только понятие «Гештальта», но также и позволило сделать подходящее введение к анализу музыкальных знаков:

Среди темпоральных формальных качеств только *один* элемент может, логически, быть дан в рамках перцептивных представлений, в то время как остальные доступны нам в качестве образов памяти (или ожидаемых образов, спроецированных на будущее).³⁶

³³ Igor Stravinsky, *Poetics of Music in the Form of Six Lessons* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942).

³⁴ Leonard B. Meyer, *Music, the Arts, and Ideas* (Chicago: University of Chicago Press, 1967), 6ff.

³⁵ Jan Maegaard, *Stucien zur Entwicklung des dodekaphonen Satzes bei Arnold Scbönberg* (Copenhagen: W.Hansen, 1971).

³⁶ Christian von Ehrenfels, «Über 'Gestaltqualitäten'», *Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie* 14:3 (1890), 263 ff.

Если в музыке проблема внутренних отношений преобладает над отношениями иконического порядка, и способна свести их на нет, то репрезентативная функция с другой стороны, в основном фигурирует в истории визуальных искусств, пространственных в обязательном порядке.³⁷ Тем не менее, факт существования абстрактной живописи и ее большой успех неопровержимы. «Responsions» (взаимосвязи) между различными хроматическими и геометрическими категориями, которые, безусловно, играют необязательную роль в репрезентативной живописи, становятся единственной семиотической ценностью в абстрактной живописи. Законы оппозиции и эквивалентности, управляющие системой пространственных категорий, задействованных в живописи, являются выразительным примером того, когда правила сходства предписываются кодом определенной школы, эпохой, или народом. Итак, совершенно очевидно, что конвенция основывается на употреблении и выборе потенциальных возможностей воспринимаемых на универсальном уровне.

Вместо темпоральной последовательности, которая вызывает антиципации и ретроспекции у слушателя музыкальных фраз, абстрактная живопись заставляет нас осознать одновременность сочетающихся и переплетающихся «соотношений между элементами». Музыкальный отсыл, который ведет от наличного, уже звучащего тона к предыдущему или зафиксированному в памяти тону, заменяется в абстрактной живописи взаимными отношениями между вышеупомянутыми факторами. Здесь отношения между частями и целым приобретают особое значение, хотя идея цельности произведения играет важную роль для всех искусств. Способ сосуществования частей показывает их сплоченность в пределах целого, и именно под влиянием целого, части фигурируют в качестве неотъемлемых его компонентов. Эта взаимозависимость между целым и частями создает условия для открытого отсылания частей к целому и наоборот. Такого рода взаимное отсылание следует видеть как синекдохическую процедуру, соответствующую традиционным дефинициям данного тропа, например, дефиниции Исихора Исполенсиса: «Synecdoche est conceptio, cum a parte totum vel a tot pars

³⁷ См. R. Jakobson, «On Visual and Auditory Signs» and «About the Relation between Visual and Auditory Signs», *Selected Writings II* (The Hague-Paris: Mouton, 1971), 334-344.

intellegitur.»³⁸ (paragraph 572). Короче говоря, в основе всех проявлений «artifice» («искусства») лежит проблема сигнификации.

Х

По мере приближения к заключению, мы могли бы предложить тавтологическую формулу: семиотика, — или иначе, *la science du signe et des signes*, наука о знаках, *Zeichenlehre*, — не только имеет право, но и должна изучать структуру всех типов знаковых систем и объяснять различные иерархические соотношения между ними, сеть их функций и общие или отличающиеся свойства в масштабе всех систем. Различие в соотношениях между кодом и сообщением, или между *signans* и *signatum*, ни в коем случае не оправдывает самовольных индивидуальных попыток исключить определенные классы знаков из исследований по семиотике, — как, например, произвольные знаки, так и те, что избегнув «теста социализации», сохраняют в какой-то степени свою единичность. Семиотика, благодаря тому, что она является наукой о знаках, призвана охватить все разновидности *signum*.

³⁸ См. Heinrich Lausberg, *Handbuch der literarischen Rhetorik* (München: Max Hueber, 1960); синекдоха — это понятие, в котором целое понимается через часть.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПИРСЕ, ПЕРВОПРОХОДЦЕ НАУКИ О ЯЗЫКЕ ¹

Когда обдумываешь какое-нибудь положение Пирса, — всегда удивляешься. Каковы корни его мысли? Когда Пирс цитирует или перетолковывает чье-то мнение, оно становится оригинальным и новаторским. И даже когда он цитирует самого себя, то зачастую создает совершенно новую идею, никогда не переставая поражать своего читателя. Я нередко говорил, что он был настолько велик, что ни в одном из университетов ему не нашлось места. Было, однако, и одно драматическое исключение — несколько семестров лекций по логике в Джонс Хопкинс — и я рад, что могу говорить о Пирсе в университете, где он провел пять лет. В этот период ученый изложил свои выдающиеся семиотические идеи в книге *Исследования по логике*, изданной в 1883 г. Здесь он начинает плодотворную дискуссию о «мире дискурса», понятии, выдвинутом А. де Морганом, и пересмотренном и претворенном Пирсом в интереснейшую проблему науки о языке (см. его Собр. соч., 2. 517 ff). ¹ Эти же *Исследования по логике* содержали в себе совершенно новый взгляд на предикацию (3.328 11), высказанный в заметке *Пирса Логика относительных единиц*, где он писал:

Двойное относительное слово, такое как "любящий" — это обычное имя, обозначающее пару объектов. Каждый относительный элемент имеет также и себе обратный, созданный перевора-

ⁱ Представлено как лекция на Симпозиуме посвященном Чарльзу Сандерсу Пирсу, университет Джонс Хопкинс, сент. 26, 1975. Опубликовано в *Modern Language Notes* 92 (1977). [Перевод К. Голубович]

¹ Отсылки к C. S. Peirce *Collected Papers* 1-8 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1038-1952) даются прямо в тексте, с номером тома, за которым следуют период и цитируемый параграф (не страница).

чиванием порядка членов пары. Таким образом, обратное "любящему" — это "любимый".

Именно к этому вопросу о двоичности, который до сих пор занимает лингвистов и семиотиков, Пирс возвратился в 1899 г. во время обсуждения с Уильямом Джеймсом двойственной категории действия: «Оно имеет два вида, активный и пассивный, которые являются не просто противоположными видами, но создают относительные контрасты между различными влияниями этой категории, как более активными и более пассивными» (8. 315).

На закрытии совместной Блумингтонской конференции антропологов и лингвистов в июле 1952 г. было сказано, что «один из величайших первопроходцев структурно-лингвистического анализа» Чарльз Сандерс Пирс не только сформулировал необходимость семиотики, но и, более того, наметил ее основные черты. Именно «труд всей его жизни по исследованию природы знаков *** работа по прояснению и открытию» науки семиотики, «учение о сущностной природе и основных разновидностях возможного семиозиса» (5. 488) и, в этой связи, длившееся в течение всей его жизни «исследование языка» (8. 287), позволяют нам считать Пирса «подлинным отважным первооткрывателем структурной лингвистики». Главная тема — знаки вообще и речевые знаки в частности — пронизывает весь труд жизни Пирса.

В письме 1905 г. (8. 213) Пирс пишет:

14 мая 1867 г. после трех лет почти до безумия сосредоточенного размышления, едва прерывавшегося сном, я осуществил свой единственный вклад в философию в *Новом Списке Категорий*, опубликованном в «Записках Американской Академии Наук и Искусств», том VII, стр. 287-298 [см. 1.545 fa] *** Мы можем классифицировать объекты в соответствии с их материалом, как деревянные вещи, железные вещи, серебряные вещи, вещи из слоновой кости и т.д. Но классификация соответственно СТРУКТУРЕ в целом гораздо важнее и то же самое можно сказать об идеях. Я считаю, что классификация элементов мысли и сознания соответственно их формальной структуре важнее. *** Я исследую фанерон ⁱ и пытаюсь вычленить его элементы в соответствии со сложностью их структуры.

Здесь с самого начала мы сталкиваемся с отчетливо структурным подходом к проблемам феноменологии, или, говоря словами Пирса, «фанероскопии» (ср. 1.284ff). В письме, цитированном выше, Пирс добавляет: «Таким образом, я додумался до своих трех категорий [знаков]». Издатель сопровождает эти слова при-

ⁱ Фанерон — специфический термин в философии Ч.С. Пирса, обозначающий феномен.

мечанием: «Далее Пирс начинает длительное обсуждение категорий и знаков», но, к сожалению, это обсуждение осталось не опубликованным.

Не надо забывать, что жизнь Пирса была весьма несчастливой. Тяжелые внешние обстоятельства, ежедневная борьба за жизнь и отсутствие соответствующего окружения мешали развитию его научной деятельности. Он умер накануне Первой мировой войны, но только в начале 30-ых стали публиковаться его основные работы. До этого было известно только несколько очерков Пирса по семиотике — первый очерк 1867 г., несколько идей, набросанных во время Балтиморского периода, и несколько беглых страниц исследований по математике — большей же частью его взгляды на семиотику и лингвистику, вырабатывавшиеся в течение десятилетий, а особенно на рубеже веков, оставались полностью неизвестными. К сожалению, во времена великого брожения в науке, которое последовало за Первой мировой войной, только что появившийся *Cours de linguistique générale* Соссюра не мог быть сопоставлен с аргументами Пирса: такое сопоставление идей одновременно и сходных, и противоположных, возможно, изменило бы историю общей лингвистики и начала семиотики.

Даже когда, между тридцатыми и пятидесятыми, сочинения Пирса все-таки начали издаваться, для читателей, желавших ближе познакомиться с его научной мыслью, оставалось еще много препятствий. «Собрание сочинений» содержит слишком много пропусков. Произвольное смешение фрагментов, относящихся к различным периодам, временами озадачивает читателя, особенно если учесть тот факт, что взгляды Пирса развивались и менялись, а читателю хотелось бы проследить за движением его идей от 1860-ых до нашего века. Читатели поэтому должны сами усердно переработать весь план построения этих томов, чтобы получить верную перспективу и как-то овладеть наследием Пирса.

Можно процитировать величайшего французского лингвиста нашего времени, замечательного теоретика языка Эмиля Бенвениста. В своей работе 1969 г. *Sémiologie de la langue*, которая открывала обзор *Semiotica*, Бенвенист попытался описать сравнительную эволюцию Соссюра и Пирса, — последнего он знал только по *Избранным Работам*, несемiotической антологии, составленной П.П. Вернером в 1958 г.: «En ce qui concerne la langue, Peirce ne formule rien de précis ni spécifique. La langue se

reduit pour lui aux mots.² Однако в действительности Пирс говорил о «бессилии одних только слов» (3 419) и для него значение слов возникало из их организации внутри предложения (4. 544) и из строения пропозиций. Чтобы проиллюстрировать новизну его подхода, стоит процитировать хотя бы строгое напоминание Пирса, что в синтаксисе любого языка существуют логические иконические знаки миметического рода «которым помогают принятые правила» (2. 281). Восхищаясь «обширной и прекрасно развитой лингвистической наукой» (1. 271), Пирс охватил все уровни языка от дискурса до минимальных различительных единиц и осознал необходимость рассмотрения последних с точки зрения отношения между звуком и значением (1. 243).

В отклике Пирса 1862 г. на английский перевод *Исследования по Геометрии* Лобачевского, которые «знаменуют собой эпоху в истории мысли» и способствуют возникновению «имеющих несомненно важное значение» философских откликов, явно таится автобиографическая аллюзия: «Так много времени требуется для того, чтобы чистая идея, не поддерживаемая ничем, кроме любви к истине, проложила себе дорогу» (8. 91). То же самое в точности может быть сказано о Пирсе, многие вещи могли быть поняты раньше и яснее, если бы были известны вехи, расставленные Пирсом. Я должен признаться, что на протяжении многих лет испытывал горечь от того, что был, возможно, единственным среди лингвистов, кто интересовался взглядами Пирса. Даже короткая заметка о семиотике в *Linguistic Aspects of Science (Лингвистических аспектах науки)* Леонарда Блумфильда, кажется, скорее восходит к комментариям Чарльза Морриса, чем к самому Пирсу.

Не следует забывать, что в своем главном проекте, в *Системе логики с точки зрения семиотики (System of Logic, from the point of view of Semiotic)* (8. 302) Пирс пытался показать, что «Понятие есть Знак» а также определить и разобрать знак «на конечные его элементы» (&) (8. 302, 305). Для него семиотика означала рассмотрение «общего условия бытия знака в качестве знака» и, по мнению Пирса, было бы неправильно, с одной стороны, ограничивать деятельность семиотики языком, а, с другой, исключать язык из этой деятельности. Программа Пирса состояла в исследовании особых свойств языка в отличие от других знаковых систем и в определении тех общих черт, которые характеризуют знаки в целом. Дня Пирса «естественная классификация имеет

² В том, что касается языка, Пирс не установил ничего точного или особенного. Для него язык сводится к словам.

место в виде дихотомий» (1. 438) и «элемент двоичности присутствует в каждой группе» (1. 446). «*Диада* состоит из двух *субъектов (subjects)*, сведенных воедино» (1. 326), и Пирс определяет свое исследование как «исследование диад в обязательной форме знаков» (1. 444). Он видит язык в его грамматической формальной структуре как систему «взаимосоотнесенных диад». Основное соотношение в диаде для Пирса — это оппозиция; он настаивал на «той очевидной истине, что существование коренится в оппозициях», и заявил, что «вне оппозиций вещь *ipso facto* не существует». Согласно Пирсу, первоочередной задачей является исследование «концепции бытия через оппозицию» (1. 457).

Одной из наиболее плодотворных и блестящих идей, позаимствованной у американского мыслителя общей лингвистикой и семиотикой, является определение значения как «перевода (*translation*) знака одной системы в другую систему знаков» (4. 127). Сколь многих бесплодных дискуссий о ментализмеⁱ и антиментализме можно было бы избежать, если бы к понятию значения подходили в смысле перевода, который не могли бы отрицать ни менталист ни бихевиорист.ⁱⁱ Проблема перевода действительно является основной для Пирса и потому может и должна быть использована систематически. Несмотря на все разногласия, непонимание и смешение, возникшие вокруг Пирсовой концепции «интерпретантов», я хотел бы заявить, что свод интерпретантов — одно из наиболее подлинных открытий и действенных приемов, полученных от Пирса семиотикой вооб-

ⁱ Ментализм — философская установка придерживающаяся точки зрения о существовании сознания в качестве независимой от мира сущности или субстанции и рассматривающая сознание как некое внутреннее ментальное пространство, содержащее ментальные образы, такие как ощущение, восприятие, суждение и т.д. изображающие внешний мир. В философской традиции распространенность данной установки связывается с философией сознания Рене Декарта. И к ней могут быть причислены практически все основные представители зап. евр. философской традиции: Лейбниц, Кант, Фихте, Гегель, Brentano, Гуссерль. Оформление антименталистской установки происходит в западной философии I половины XX в., что связано с переосмыслением проблем логики, философии языка, теории знания и т.д. например у Ницше, Витгенштейна, Фуко, Хайдеггера, Пирса, Рорти.

ⁱⁱ Бихевиоризм — в языкознании, система взглядов на сущность и функции языка, восходящая к одному из направлений в психологии, в основе которого лежит понимание поведения человека как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных реакций организма на стимулы внешней Среды (непосредственных или опосредованных) и отрицание сознания как предмета психологического исследования.

ще и лингвистическим анализом грамматических и лексических значений в частности. Единственной сложностью при использовании этих инструментов является очевидная необходимость следовать за Пирсом в его тщательном разграничении их разных типов «и, в первую очередь, отличать Непосредственный Интерпретант, т.е. интерпретант, как он открывается при правильном понимании самого Знака, что обычно называется *значением* знака» (4. 536). Такой интерпретант знака — «это все, что ясно выражено в самом знаке без его контекста и обстоятельств высказывания» (5. 474). Я не знаю лучшего определения. Этот «отобранный» (*selective*) интерпретант, в отличие от «контекстуального» (*environmental*), — является необходимым, но слишком часто незамеченным ключом к решению вопроса об общих значениях в различных видах вербальной и других систем знаков.

Пирс принадлежал к великому поколению, которое широко развило одну из самых выдающихся идей и понятий для геометрии, физики, лингвистики, психологии и многих других наук. Это ключевая идея ИНВАРИАНТНОСТИ. Рациональная необходимость открытия инварианта за многими переменными, вопрос о приписывании этих вариантов к соответствующим постоянным, на которые не влияют никакие изменения, лежит в основе всей Пирсовой науки о знаках. Вопрос об инвариантности возникает в конце 1860-ых в очерках Пирса по семиотике, а заканчивает Пирс тем, что демонстрирует невозможность рассматривать знак ни на одном уровне без одновременного рассмотрения как инварианта, так и видоизменяющейся вариативности. Инвариантность была главной темой *Erlanger Program* 1872-го Феликса Кляйна («Man soll die der Mannigfaltigkeit angehorigen Gebilde hinsichtlich solcher Eigenschaften untersuchen, die durch die Transformationen der Gruppe nicht geandert werden»)³ и в это же время необходимость замены случайных вариантов их «обычными знаменателями» защищалась Бодуэном де Куртенэ в его Казанских лекциях. Таким образом, схожие идеи, предназначенные изменить судьбу нашей науки и наук в целом, возникли почти одновременно. Не имеет значения, откуда взялась сама их модель: то были устремления обширной области исследований, подоспевшие к тому времени, и они все еще способны создавать новые, плодотворные взаимосвязи между различными дисциплинами. Лингвистике в особенности есть что позаимствовать

³ Образования, присущие множеству, нужно рассматривать с точки зрения таких их свойств, которые не изменяются посредством трансформации группы

как у современной топологии, так и у одной из наиболее ярких формулировок Пирса, относящейся к вопросу об инвариантности: символ «не может обозначать какую-то вещь, он обозначает лишь род вещи. И не только это; он сам есть род, а не какая-то вещь» (2. 301); следовательно, «слово и его значение, оба, общие правила» (2. 292).

Пирс задается вопросом; «Возможно ли, чтобы неразложимый элемент имел какие-то различия в структуре?» и отвечает: «Во внутренней логической структуре это очевидно было бы невозможно», но, в том, что касается структуры возможных составляющих этого элемента, «возможны ограниченные структурные различия». Он отсылает к *группам* или вертикальным колонкам в таблице Менделеева, которые «повсеместно и справедливо признаются намного более важными, чем *серии*, горизонтальные ряды в той же таблице» (1. 289). Таким образом, в вопросе соотношения между составляющими и составляемым, Пирс отрицает (так же как и гештальтпсихологи) возможность говорить о составляющих без анализа структурного отношения между составляющими и целым. Далекое от того, чтобы быть простым конгломератом, (который гештальтисты обозначили *Und-Verbindung*), любое целое понимается Пирсом как единая структура. Эта модель остается так же значимой и в динамической перспективе. Согласно фрагментам его *Малой Логике (Minute Logic)*, набросанной еще в 1902 г., но так никогда им и не завершенной, «говорить, что будущее не влияет на настоящее, — это неверное положение» (2. 86). Здесь Пирс различает два типа причинности: «действенная причина — это такой вид причинности, при котором части называют целое; конечная причина — это тот вид причинности, при котором целое называет части. Конечная причина беспомощна без действенной. Однако действенная причина без причины конечной — это еще хуже, чем беспомощность; это чистое ничто» (1. 220). Ни одна классификация не возможна без принятия во внимание этих сопричастующих, взаимодействующих видов причинности.

Самое известное из общих утверждений Пирса — это то, что существуют три типа знаков. Однако именно те вещи, которые известны лучше всего, легко претерпевают различные искажения. Пирс вовсе не запирает знаки в один из этих трех классов. Эти подразделения — просто три различных полюса, сосуществующие в одном и том же знаке. Знак-символ, как он подчеркивал, может содержать в себе знак-икону и/или знак-индекс, а «самые совершенные из знаков — это те, в которых

иконические, индексальные и символические черты перемешаны по возможности равным образом» (4. 448).

Определение, данное Пирсом трем семиотическим «временам», недавно привлекло к себе внимание пронизательного французского тополога Рене Тома, который был счастлив найти решение, которое он искал в течение многих лет. Поэтому разрешите мне заключить эту короткую речь следующей, на первый взгляд, запутанной, но в сущности ясной формулой, в которой на рубеже веков Чарльз Сандерс Пирс сумел объединить основные проблемы семиотики и грамматики:

Итак, бытие знака-символа отличается от бытия знака-икона и знака-индекса. Икона имеет такое бытие, которое принадлежит ПРОШЕДШЕМУ опыту***. Знак-индекс имеет бытие НАСТОЯЩЕГО опыта. Бытие знака-символа состоит в том действительном факте, что нечто будет испытано, если будут соблюдены определенные условия (4. 447). — Это потенциальность; и модусом ее бытия является *esse in futuro*. БУДУЩЕЕ потенциально, а не актуально (2. 158). — Значение знака-икона состоит в том, что он представляет свойства вещей, рассматриваемых в качестве чисто воображаемых. Значение знака-индекса в том, что он подтверждает действительный факт. Значение знака-символа в том, что он делает мысль и поведение рациональными и позволяет нам предсказывать будущее (4.448).

Ведущая роль символов в нашем речевом (и не только речевом) творчестве может считаться основным положением доктрины Пирса, но мне очень претит употреблять обозначение «доктрина», поскольку сам философ категорически заявлял, что для него наука является не доктриной, а изысканием.

УПАДОК КИНО? ⁱ

«Мы ленивы и нелюбопытны». Эту фразу поэта до сих пор нельзя назвать устаревшей. ¹

Мы являемся свидетелями подъема нового искусства. Оно очень интенсивно развивается, избавляясь от влияния уже известных видов искусств, и даже начинает само влиять на них. Искусство это устанавливает новые нормы, собственные правила, а затем смело их отвергает. Оно становится мощным инструментом пропаганды и образования, ежедневным и повсеместным социальным фактом; в этом отношении кино, конечно, оставляет все другие виды искусства позади.

Однако, критика искусства, похоже, совсем не осознает появления этого нового искусства. Коллекционеры живописных полотен и других редких предметов интересуются лишь старыми мастерами. Зачем заниматься развитием и самоопределением киноискусства, если можно довольствоваться призрачными гипотезами об истоках театра или о синкретической природе доисторического искусства? Чем меньше осталось следов, тем более увлекательной кажется реконструкция путей развития эстетических форм. Ученые находят историю кино слишком банальным предметом для исследования; они считают ее просто-напросто вивисекцией, в то время как у них остается прекрасное хобби — охота за древностями. Тем не менее, совершенно очевидно, что исследование раннего наследия кино скоро станет задачей, достойной археологов. Первые десятилетия в истории киноискусства уже считаются «веком фрагментов». Согласно мнению специалистов, из французских фильмов, снятых до 1907 г., не осталось почти ничего, кроме первых постановок братьев Люмьер.

И все-таки, является ли кино автономным искусством? Где можно найти присущего именно этому искусству героя? С каким видом материала должно обращаться это искусство? Создатель совет-

ⁱ Написано в Праге, 1932, впервые опубликовано под названием «Upadek filmu?», в *Listy pro umeni a kritiku* I (1933). pp. 45-49 [Перевод К. Чухрукидзе]

¹ Пушкин, *Путешествие в Арзрум*.

ского кино Лев Кулешов совершенно справедливо считает, что в качестве кинематографического материала используются реальные вещи.² Основатель французского кино Луи Деллюк также в точности уловил суть киноискусства, сказав, что в кино даже человек является «простой деталью, частицей *de la matiere du monde.*»³ Но с другой стороны, знаки ведь являются материалом для любого искусства. Семиотическая природа кинематографических элементов вполне очевидна для кинорежиссеров. «Кадр должен фигурировать в качестве знака, это нечто вроде буквы», подчеркивает Кулешов. По этой причине статьи о кино всегда повествуют о киноязыке метафорическим образом и даже вводят понятие кино-предложений, с субъектом и предикатом, и подчиненных кинопредложений (Борис Эйхенбаум)⁴ или ищут глагольные или именные элементы киноязыка (Андре Беклер). Есть ли противоречие между этими двумя тезисами? Согласно одному из них, кино оперирует вещами; согласно другому — знаками. Некоторые критики отвечают на этот вопрос утвердительно, отвергая второй тезис и опираясь на семиотическую сущность искусства, они отказываются признать кино как искусство. Несмотря на это, несовместимость этих двух вышеупомянутых тезисов была фактически устранена бл. Августином. Этот великий мыслитель V века, осуществивший очень точное разделение между подразумеваемым объектом (*res*) и знаком (*signum*), утверждал, что кроме знаков, основная функция которых состоит в означивании чего бы то ни было, существуют объекты, которые могут быть использованы в роли знаков. Это именно те вещи (визуальные и слуховые), трансформируемые в знаки, которые представляют собой специфический материал киноискусства.

Об одном и том же человеке мы можем сказать, что он «горбун», «носатый» или «носатый горбун». Во всех трех случаях объект нашей речи один и тот же, тогда как знаки различны. Подобным же образом, в фильме мы можем снять этого человека со спины — тогда мы увидим его горб, затем анфас — и мы увидим его нос, наконец в профиль, тогда мы увидим и то и другое. В этих трех кадрах мы будем иметь три вещи, функционирующие в качестве знаков одного и того же объекта. Теперь стоит продемонстрировать синекдохическую природу языка, сославшись на нашего уродца как на просто «горбуна» или «носатого». Аналогичный

² См. Лев Кулешов *Репетиционный метод в кино* (Москва, 1922).

³ "материи мира" — см. Louis Delluc, *Photogenie* (Paris, 1920).

⁴ См. Борис Эйхенбаум, «Проблемы киностилистики» в сборнике *Поэтика кино* (Москва, 1927)

метод действует в кино: камера направлена либо на горб, либо на нос. *Pars pro toto* (часть вместо целого) является фундаментальным методом кинематографической конверсии вещей в знак. Терминология сценария с его «кадрами средней длины», «крупными планами», «полу-крупными планами» довольно познавательна в этом отношении. Кино имеет дело с многочисленными фрагментами объектов, различающихся по величине, а также с фрагментами времени и пространства, различающимися подобным же образом. Кино изменяет их пропорции и противопоставляет их на основании смежности, сходства, или контраста; т.е. кино выбирает либо *метонимию*, либо *метафору* (два основных вида кинематографической структуры). Обращение со световыми эффектами в *Photogenie* (*Фотогения*) Деллюка и анализ кинематографического времени Юрия Тынянова⁵ воочию показывают, что каждый феномен внешнего мира превращается на экране в знак.

Собака не узнает нарисованную собаку, так как рисунок полностью относится к сфере знаков — перспектива художника является общепринятым приемом. Собака лает на собак в фильме, в связи с тем, что кино-материал представляет собой реальную вещь, но она остается невосприимчивой к монтажу, к семиотическому взаимоотношению вещей, которые она видит на экране. Теоретики, отрицающие кино как искусство, воспринимают его как нечто вроде движущейся фотографии; они игнорируют роль монтажа, и даже не хотят признать тот факт, что здесь задействована специфическая система знаков, — таково отношение читателя к поэзии, для которого слова в стихотворении не имеют смысла.

Число тех, кто совершенно игнорирует значение кино, постепенно сокращается. Их теперь заменили критики звукового кино. Согласно нынешнему лозунгу, «звуковое кино знаменует его упадок», «оно значительно ограничивает возможности кино», «стиль кино заключается в его изначальной противоположности речи», и т.д..

Критика звукового кино особенно изобилует поспешными обобщениями. Она не принимает в расчет еще совсем молодую историю кино и узкий характер определенных явлений в киноискусстве.

⁵ Юрий Тынянов, «Об основах кино», в сб. *Поэтика кино* (Москва, 1927), фр. пер. «Fondement du cinema», *Cahiers du cinema*. 1970.

Теоретики с поспешностью предположили, что тишина является одним из структурных свойств киноязыка, сейчас же они расстраиваются из-за того, что с внедрением в кино звука оно стало отступать от их заскорузлой формулы. Когда факты не соответствуют их теориям, они винят факты вместо того, чтобы признать ошибочность собственных теорий.

Критики действительно поспешили с выводами, решив, что свойства современного кино — это те единственные качества, изобретение которых доступно для киноискусства. Они забывают, что первые звуковые фильмы нельзя сравнивать с поздними немymi. Создатели звукового кино поглощены сегодня новыми техническими достижениями (главное, чтобы зритель обладал хорошим слухом..., и т.д.), они заняты поиском новых форм, которые могли бы стать по настоящему актуальными. Звуковое кино сейчас находится на этапе аналогичном довоенному немому кинематографу, тогда как недавно снятые немые фильмы уже достигли желаемого когда-то уровня, среди них есть классические произведения, и, возможно, именно в осознании классического критерия заключается его конец и необходимость фундаментальной реформы.

Стали говорить и о том, что звуковое кино вызвало опасную близость между театром и кино. Безусловно, оно вновь сблизило их, как это было на заре нашего столетия, в годы «электрических театров»; и именно факт этого повторного сближения проложил путь к новому высвобождению. Потому как, в принципе, речь на экране и речь на сцене представляют собой два глубоко отличных друг от друга явления. До тех пор, пока кино было немым, его единственным материалом являлись визуальные объекты; сегодня это — и визуальные, и аудиальные объекты. Для театра материалом служат особенности человеческого поведения. Речь в кинематографе является особым видом аудиального объекта, таким, как жужжание мухи, журчание ручья, шум машины и т.д. Речь на сцене — это просто-напросто проявление человеческого поведения. Говоря о театре и кино. Жан Эпштейн однажды сказал, что вроде бы аналогичные средства выражения, которыми пользуются то и другое искусства, отличны по своей природе.⁶ Этот тезис актуален и в отношении звукового кино. Почему слова произносимые в сторону и монологи возможны на сцене, а не на экране. Именно потому, что внутренняя речь — это образец человеческого поведения, а не слухового объекта. На тех же основаниях, на которых речь в кино считается слуховым объек-

⁶ См. Jean Epstein, *Bonjour cinema* (Paris, 1921).

том, «сценический шепот» в театре, — слышимый аудиторией, но ни одним из действующих лиц по предположению, — в кино себе представить невозможно.

Характерная черта речи на экране в отличие от речи на сцене, также заключается в ее необязательной, факультативной природе. Критик Эмиль Вийермоз осуждает такую свободу выбора: «Конвульсивный и нерегулярный способ, посредством которого речь иногда накладывается, а иногда устраняется из киноматериала, являющегося полностью немым видом искусства в прошлом, разрушило правила зрелищности в кинематографе и закрепило за немymi сегментами произвольные соотношения». ⁷ Этот упрек ошибочен.

Если на экране мы *видим* говорящих людей, мы одновременно *слышим* либо слова, произносимые ими, либо музыку. Музыка, но не тишину. Тишина в кино расценивается как фактическое отсутствие звуков; следовательно, она тоже становится аудиальным объектом, точно таким же, как речь, кашель или уличный шум. В звуковом кино мы воспринимаем тишину в качестве знака реальной тишины. Достаточно вспомнить, как замолкает класс в сцене из фильма Л.Ванчур *Перед окончанием* (1932). И совсем не тишина, а музыка предвещает выключение аудиального объекта из фильма. Этой цели в фильме служит музыка, потому что музыкальное искусство оперирует знаками, которые не относятся к каким-либо осязаемым объектам. Немой — по причине отсутствия этих слуховых объектов — фильм, нуждается в непрерывном музыкальном сопровождении. Обозреватели невольно сталкиваются с этой нейтрализующей функцией музыки в кино, когда отмечают, что «мы немедленно замечаем отсутствие музыки, но не обращаем внимания на ее наличие, так что любая музыка фактически подходит для любой сцены (Бэла Балац); ⁸ «музыка в кино не предназначена для того, чтобы ее слушали» (Поль Рамэн), «ее единственная цель состоит в том, чтобы уши зрителей были заняты, в то время как внимание полностью концентрируется на видимом» (Франк Мартин).

Частое чередование речи с музыкой в звуковом кинематографе не следует расценивать как антиэстетический хаос. Нововведения Эдвина Портера, а позднее Гриффита, включали в себя отказ от использования неподвижной камеры по отношению к объек-

⁷ Emile Vuillermoz, «*La musique des images*», в *L'art cinématographique*, vol. III (Paris, 1927).

⁸ *Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films* (Vienna-Leipzig, 1924), p. 1-43.

ту, что вызвало появление в кино целого ряда различных кадровых съемок (чередования длинных кадров, средних кадров, крупных планов и т.д.), таким же образом звуковое кино с его новым набором средств является альтернативой предыдущего инертного подхода, настойчиво вытесняющего звук из сферы кинообъектов. В звуковом кино визуальная и аудиальная реальность может быть представлена либо совместно (смежно), либо, наоборот, по отдельности; визуальный объект демонстрируется без указания на отдельный, определенный звук, с которым он обычно связан, или звук отрывается от визуального объекта (мы все еще слышим говорящего человека, но вместо его рта видим другие детали данной сцены, или даже совершенно другую сцену). Таким образом, появляются новые приемы для создания кинематографических синекдох. В то же время увеличивается количество способов соединения кадров (чисто аудиальные или словесные модуляции, столкновение звука и образа, и т.д.)

Титры в немом кино являлись основным средством монтажа, часто функционируя в качестве связок между кадрами. В своем *Опыте введения в теорию и эстетику кино* (1926, 71), Семен Тимошенко рассматривает это как первичную функцию.⁹ Так, кино содержало элементы чисто литературной композиции. По этой причине некоторые режиссеры немого кино пытались избавиться от титров, но эти попытки либо неизбежно влекли за собой упрощение сюжета, либо значительно замедляли темп фильма. Только в звуковом кино действительно удалось избавиться от титров. Между сегодняшним непрерывным кинематографом и вчерашним, сплетенным посредством титров, существует практически та же разница, что и между оперой и музыкальным водевилем. В настоящее время монополию завоевывают чисто кинематографический способ связывания кадров.

Если кто-то показывается в одном месте и затем мы видим его в другом, несовместимом с предыдущим месте, между этими двумя ситуациями по всей видимости прошел какой-то отрезок времени, в течение которого данное лицо отсутствовало на экране. Тем временем, нам показывают либо первое место, побывав в котором, лицо удалилось, либо второе место, перед тем, как оно туда прибыло, или в конечном итоге «параллельный план»: появляется какая-нибудь другая сцена, в которой это лицо не задействовано. Этот принцип действовал уже в немом кино, но там, конечно, было достаточно набрать такие сцены с титрами вроде:

⁹ *Искусство кино и монтаж фильма. Опыт введения в теорию и эстетику кино.* (Ленинград. 1926), с. 71.

«а когда он пришел домой». Только теперь вышеупомянутый канон прочно усвоен. Без него можно обойтись только когда обе сцены соединяются не по смежности, а по сходству и контрасту (лицо занимает одну и ту же позицию в обеих сценах), так же как и когда замысел заключается именно в подчеркивании скорости скачка от одной ситуации к другой или в заминке между двумя сценами. Так же неприемлемы в пределах одной сцены немотивированные скачки камеры с одного объекта на другой, несмежный. Если, тем не менее, скачок имеет место, он непременно подчеркивает и семантически нагружает второй объект и его внезапное вторжение в кинодействие.

После одного события, только последующее, а не предыдущее или одновременное событие может быть показано в современном кино. Возвращение к прошлому может осуществляться только в качестве воспоминания или истории, рассказанной одним из участников. Этот принцип имеет точную аналогию с поэтикой Гомера (таким же образом *horror vacui* у Гомера соответствует параллельным планам в кино). Как отмечает Тадеуш Зилиньский, одновременные действия представлены у Гомера либо в качестве последовательного ряда событий, либо посредством опущения одного из параллельных событий, и это влечет за собой ощутимую лауну (если, конечно, событие не предначертано заранее) для того, чтобы мы имели возможность предвосхитить его ход.¹⁰ Удивительно, что монтаж звукового кино точно совпадает с этими основами античной поэтики. Очевидная тенденция к «линейному» характеру кинематографического времени уже была намечена в немом кино, но титры являлись исключением из этого правила. С одной стороны, декларации типа «а тем временем...» вводили одновременные действия, а, с другой стороны, титры типа «NN провел годы своей юности в деревне» делали возможными скачки в прошлое.

По той причине, что вышеупомянутые «законы хронологической непоследовательности» относятся к эпохе Гомера, а не к нарративной поэзии как таковой, мы, в свою очередь, не желаем поспешно обобщать законы современного кино. Теоретик искусства, пытающийся уместить будущее развитие искусства в свою формулу, очень часто напоминает Барона Мюнхгаузена вытягивающего себя за волосы. Но может быть, кто-нибудь смог бы выделить пункты отклонений, из которых могли бы развиваться определенные направления.

¹⁰ «Die Behandlung Gleichzeitiger Ereignisse im Antiken Epos», *Philologus*, 1901, Supplementband VIII: 3. S.422.

Как только инвентарь поэтических приемов прочно пускает корни и модель канонов становится так устойчива, что грамотность эпигонов воспринимается как должное, начинает, как правило, развиваться стремление к прозаизации. В современном кино непрерывно совершенствуется *живописующий* аспект. И по этой причине режиссеры вдруг стали призывать к трезвым, эпически ориентированным описаниям, перестали пользоваться кинометафорой так охотно, как раньше, самодостаточная игра с кинодеталью стала вызывать недовольство. Наряду с этим, возрос интерес к сюжетной структуре, которая до недавнего времени была почти намеренно оставлена без внимания. Стоит вспомнить, например, знаменитые почти бессюжетные фильмы Эйзенштейна или *Огни большого города* Чарли Чаплина, которые на самом деле повторяют сценарий *Доктора любви*, примитивный кинофильм Гомона, снятый в начале века: слепую женщину лечит уродливый горбатый врач, который влюбляется в нее, но не решается ей об этом сказать; на следующий день он говорит, что она может снять с глаз повязку: лечение подошло к концу и она сможет видеть. Он уходит, страдая, уверенный в том, что она будет презирать его за уродство; она же бросается ему на шею с восклицанием: «Я люблю вас, люблю за то, что вы вылечили меня». Поцелуй. Конец.

Преувеличенной изощренности, технике, кишащей излишествами, в качестве нового приема противопоставляется намеренная небрежность, умышленная необработанность, фрагментарность (например, *Золотой век* гения кино Бюньюэля). Начинает восхищать именно дилетантизм. В обычном употреблении слова «дилетантизм» и «неграмотность» звучат откровенно уничижительно. Однако в истории искусства, как и в истории культуры есть периоды, когда эти факторы играют несомненно позитивную, динамическую роль, например, у Руссо — Анри и Жана-Жака.

После обильного урожая поле должно оставаться под паром. Ориентиры кинематографической культуры уже несколько раз менялись. Там, где традиция немого кино проявляет свои сильные стороны, звуковое кино, прокладывая новые пути, испытывает определенные трудности. Только сейчас чешское кино достигло этапа, равного эпохе скромных дебютов чешских писателей, заложивших основу новой национальной литературы на стыке восемнадцатого и девятнадцатого столетий. В чешском немым кино было сделано мало интересного. Сейчас же, когда речь прочно проникла в кинематограф, появились достойные внимания чешские фильмы. Весьма вероятно, что именно отсутствие обременительной традиции позволяет экспериментиро-

вать. По настоящему хорошее качество диктуется необходимостью. Способность чешских художников выгодно пользоваться непрочностью собственных традиций является уже в некотором роде традицией в истории чешской культуры. Свежая, провинциальная оригинальность романтизма Махи едва ли могла стать возможной, если бы чешская поэзия была нагружена рафинированными классическими нормами. Например, есть ли более сложная задача для современной литературы, чем открытие новых форм юмора? Советские писатели-юмористы подражают Гоголю и Чехову; стихотворения Кестнера пытаются имитировать сарказм Гейне; современные французские и английские юморески в значительной степени напоминают ченто (стихотворения, составленные из цитат). Бравый солдат Швейк мог возникнуть только благодаря тому, что в Чехии девятнадцатого века еще не установились каноны юмора.

СТРУКТУРА ЯЗЫКА

СТРУКТУРАЛИЗМ И ТЕЛЕОЛОГИЯⁱ

Именно благодаря анализу поэзии я начал заниматься фонологией. Звуки языка — это не просто факт внешнего опыта, акустического и артикуляционного, но в них наличествуют элементы, которые играют главную роль в системе обозначений языка, и если доводить анализ до конца, именно различительные признаки изменяют язык и ткань поэзии. Направляли меня в моих поисках опыт новой поэзии, квантовое движение в физике нашей эпохи и феноменологические идеи, с которыми около 1915 г. я познакомился в Московском университете.

Именно в 1915 г. группа студентов, которая вскоре образовала Московский лингвистический кружок, приняла решение изучать лингвистическую и поэтическую *структуру* русского фольклора, и термин *структура* уже приобрел для нас свои соотносительные коннотации, хотя во время войны *Курс* Соссюра был неизвестен в Москве.

Приехав в 1920 г. в Прагу, я добыл себе *Курс по общей лингвистике (Cours de linguistique générale)*, в особенности в этом *Курсе* меня впечатлила та настойчивость, которую Соссюр проявлял в вопросе соотношений: она проявлялась в ошеломляющей, совершенно особой манере кубистов, таких, как Брак и Пикассо, придававших значение не самим вещам, но скорее связям между ними. В *Курсе* Соссюра есть термин, который навел меня на размышления: это термин *оппозиция*, неизбежно предполагающая идею операций латентной логики.

Но когда мы начали заниматься фонологией или, другими словами, строго лингвистическим исследованием звуковой материи языка, то не *Курс*, а, скорее, его изложение, сделанное учеником Соссюра Альбертом Сеше в книге *Programme et méthodes de la linguistique théorique*, 1908 (*Программа и методы лингвистической теории*), открыло для меня фундаментальные сущности этой дисциплины: «Каждый язык предполагает свою фонологическую систему, т.е. набор идей звуков. При полном анализе эта система является носителем всей мысли в языке, так как символы

ⁱ Написано в Кембридже, Mass., 1974, для *L'Arc*, посвященного Якобсону. [Перевод К. Голубович]

существуют и имеют собственный характер только благодаря ей. Она конституирует 'форму', поскольку можно воспринимать фонологическую систему в ее алгебраическом аспекте и заместить тридцать, пятьдесят или сто элементов, которые образуют ее в данном языке, такими общими символами, которые устанавливали бы их индивидуальность, но не их материальный характер».¹ Я отсылаю именно к Сеше. говоря о фонологии в моей книге по технике поэзии, законченной в 1922 г. Точно так же, когда в 1919 г. в моей работе по Хлебникову² я утверждал, что поэзия использует скорее фонемы, чем звуки, влияние таких учеников, как Щерба и Поливанов, уже превзошло влияние самого учителя — Бодуэна де Куртенэ.

Если что-то в поэтическом языке и привлекало мое внимание как исследователя, так это его *телеологический* характер: в нем была какая-то конечная цель, но я тут же оказался в противоречии с теми, кто утверждал, что только поэзия, в отличие от обычного языка, обладает целью. Я возражал, что обычный язык, в свою очередь, имеет цель, но другую.

Общее направление мыслей Соссюра антитеологично так же, как и Бодуэна де Куртенэ, который учил, что наука должна отвечать на вопрос о причинах, а не о целях: такова была идеология эпохи, немало пережитков которой можно еще встретить. Даже сегодня существуют люди, для которых телеология — это синоним теологии. Но надо сказать, что интуиция заставляет этих двух великих предшественников современной лингвистики отходить в своих исследованиях от подобной догмы.

Сначала я старался избавиться от внешних нелингвистических определений, которые по привычке дают фонологическим сущностям; я боролся с попытками навязать таким коммуникативным *значимостям*, как фонемы, преимущественно психологические, акустические и артикуляционные определения. Так же, в начале моих фонологических изысканий я поставил фонему в ряд второстепенных понятий по сравнению с сеткой оппозиций, определяющих конституцию каждой из фонем внутри данной системы.

Все это я объяснил около 1928 г. в моих *Заметках по фонологической эволюции русского языка в сравнении с другими славян-*

¹ См. R. Jakobson, *Selected Writings I* (The Hague-Paris, 1971). 311 -310

² См. Р. Якобсон *Новейшая русская поэзия* (Прага, 1921) *Selected Writings V* (The Hague-Paris-N.Y., 1979), 299-354. и «Избранные Работы» (М. Прогресс, 1983).

скими языками»³: «Мы называем фонологическую систему языка свойственным данному языку набором "значимых различий", существующих между идеями акустико-артикуляционных единиц, т.е. набором оппозиций, к которым в данном языке можно отнести различия в значении». Но та же глава «Фундаментальные понятия» все еще несет в себе внутреннее противоречие: в то время я утверждал, что «все элементы фонологической оппозиции, которые не поддаются разложению на более мелкие фонологические суб-оппозиции, называются фонемами». И немногим далее, вводя понятие корреляций, я писал, что коррелятивные фонемы разложимы, поскольку, с одной стороны, можно выделить их *principium divisionis*, а с другой — «общий элемент, который объединяет их».⁴ Следовало, очевидно, продолжать анализ, и в 1931 г. я поставил вопрос о фонеме как о пучке различительных признаков — сначала в моем очерке о словацкой фонологии, а затем в статье о фонеме для чешской Энциклопедии.⁵ Мое сообщение на Третьем Международном Конгрессе Фонетических Наук (Ганд, 1938 г.) содержало в себе подсчет этого систематического разложения сложных единиц, фонем, на дифференцирующие неразложимые элементы.⁶

Именно эти оппозиционные элементы воспринимаются говорящими субъектами, а физические и артикуляционные корреляты данных оппозиций поддаются обнаружению. Остережемся абстрактных моделей, находящихся вне перспективы реальности. Воспринимаются ли эти соотношения нами сознательно или сублимировано — это другой вопрос, в любом случае, метаязык подчеркивает их. Если мы признаем эти соотношения несмотря на все возможные искажения, то это потому, что они существуют и остаются невредимыми. Идея инвариантности бесспорно реалистична. Два элемента, которые противопоставляются друг другу, никогда не равноценны: один из них, иерархически высший, создает противовес своему немаркированному партнеру. Это центральное место в структурной лингвистике так, как я ее определил вслед за Трубецким.

³ См. SW. 7-116.

⁴ *Ibid.*, 8 ff

⁵ *Ibid.*, 224 ff., 231.

⁶ Cf. R. Jakobson, *Essais de linguistique générale* 2 (Paris.1973), гл.YI

ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЙ ДЛЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯⁱ

Без всякого сомнения, присутствующие здесь лингвисты все приняли научные итоги этой многообещающей конференции с чувством радостного облегчения. Давно уже говорят, что языкознание служит мостом между точными и гуманитарными науками, однако понадобилось длительное время для установления действительной связи между языкознанием и точными науками. Герман Гельмгольц предсказывал, что «изучающим язык придется проходить более строгий, сравнительно с грамматикой, курс науки». Этот великий немецкий ученый прошлого века приходил в ужас от «лености ума и неопределенности мышления» своих соотечественников, занимающихся изучением грамматики, причем его особенно поражала их «неумелость выявлять и использовать строгие универсальные закономерности. Привычные им грамматические правила обычно сопровождаются длинными списками исключений. В соответствии с этим они не имеют обыкновения безусловно полагаться на точность выводов, обусловленных общими закономерностями». Гельмгольц считал, что лучшее средство избавиться от этих пороков состоит «в обращении к математике, в которой суждения отличаются строгой определенностью, а единственным авторитетом является разум исследователя».

Наш век характеризуется эффективным сближением лингвистической и математической мысли. Полезная концепция инвариантности, впервые использованная в синхронной лингвистике при сопоставлении различных одноязычных контекстов, стала применяться в конце концов и при межъязыковых сравнениях. Типологическое сопоставление различных языков позволяет выявить универсальные инварианты; используя выражение Дж. Гринберга, К. Озгуда и Дж. Дженкинса из *Меморандума относительно языковых универсалий*, предваряющего нашу конференцию, можно сказать, что, «несмотря на существование бесконеч-

ⁱ R. Jakobson, *Implications of Language Universal for Linguistics*. Сб. «Universals of Language», Cambridge, Mass., 1963. Доклад на конференции, посвященной лингвистическим универсалиям. [Перевод В.В. Шепорошкина]

ного множества различий, все языки построены по одной и той же модели».

На наших глазах появляются все новые и новые непредвиденные, но уже теперь четко определимые «универсальные единства», и мы с радостью принимаем к сведению вывод о том, что языки мира могут действительно трактоваться как различные разновидности одной и той же универсальной темы — языка человека. Я особенно рад отметить, что эти взгляды получили распространение после того, как в течение 40-ых годов американскими лингвистами постоянно высказывались скептические замечания по поводу всякого рода типологических сопоставлений языков; этот скепсис соответствовал *mutatis mutandis* тому запрету, который был наложен в это время на сравнительно-исторические исследования проводниками марристовской диктаторской догмы в советском языкознании.

Эта противопоставленность двух противоположных тенденций — локального сепаратизма и всеобъемлющей солидарности, — отмеченная Соссюром в языке, существует также и в языкознании: «определения, обусловленные особенностями отдельных языков», коллекционирование различий сменяются здесь поисками общего знаменателя — и наоборот. Так, известный среди теоретиков схоластики XII в. парижский ученый Пьер Эли заявлял, что число различных грамматик соответствует числу языков; в XIII же веке универсальная грамматика считалась необходимой основой научного подхода к языку. Бэкон писал: «Грамматика — одна и та же, она соответствует субстанции каждого языка и, следовательно, должна меняться от случая к случаю». Однако лишь сегодня лингвистика имеет в своем распоряжении методологические предпосылки, необходимые для конструирования адекватной универсальной модели. В ходе нашей дискуссии неоднократно подчеркивалось, что исследуемые разноязычные инварианты имеют сугубо относительный, топологический характер. Преждевременные попытки определения межъязыковых инвариантов в абсолютных метрических терминах не могут принести успеха. Существует инвентарь простых пар дифференциальных признаков, таких, как компактность — диффузность (представлены в системе гласных во всех языках и в системе согласных в большинстве языков), периферийность — непериферийность (представлены в системе согласных почти во всех языках, а также в системе гласных), назальность — неназальность (представлены почти во всех языках в системе согласных).

В качестве примера простых отношений между грамматическими универсалиями можно назвать различие между классами имени и глагола (представители которых выступают в роли «сущего» и «происходящего» — *existents* и *occurents*, как называл эти категории Сепир). Это различие соотносится, но никогда не смешивается с соответствующим различием между двумя синтаксическими функциями — субъектом и предикатом. К категориям подобного рода относятся также: специфический класс местоимений (или, в терминологии Чарлза Пирса, «символов-индексов» — *indexical symbols*); число, представляющее собой основу различения между единицей и множеством; лицо, с его противопоставлением неличных («третье лицо») и личных форм (эти последние, в свою очередь, характеризуются противопоставлением адресата — «второе лицо» и адресующегося — «первое лицо»): как показал Дж. Гринберг, два числа и три лица представлены местоимениями во всех языках мира.

Другой, гораздо более богатый инвентарь универсалий состоит из имплицативных правил, с необходимостью связывающих в языке пары взаимозависимых реляционных единиц. Так, в фонологии способность различительных признаков к объединению в пучки корреляций ограничивается и предопределяется значительным числом универсальных имплицативных правил. Например, сочетаемость назальности с вокальностью предполагает сочетаемость назальности с консонантностью. Компактный назальный согласный (/ŋ/ или /ŋ/) предполагает наличие двух диффузных согласных, непериферийного (/n/) и периферийного (/m/). Противопоставление непериферийности — периферийности в паре компактных назальных согласных (/ŋ/):(ŋ/) предполагает идентичное противопоставление в паре компактных оральных смычных (/c/):(k/). Любое другое тональное противопоставление в ряду назальных согласных предполагает наличие соответствующего противопоставления в ряду оральных согласных; с другой стороны, любое противопоставление в ряду назальных гласных предполагает наличие соответствующего противопоставления в ряду оральных гласных.

Современные исследования в области иерархии фонологических систем позволяют нам вскрыть причины существования любого из засвидетельствованных имплицативных правил. Чем сложнее фонологическая единица, тем менее вероятна возможность ее дальнейшего членения. Закон компенсации в грамматической структуре языков, на большое значение которого указывал покойный Вигго Брендаль, по-видимому, еще более важен в применении к фонологическим моделям. Так, маркированный

характер назальных в их отношении к оральным обусловлен сравнительно низкой сочетаемостью признака назальности с другими различительными признаками. Маркированный характер компактности в противопоставлении компактности диффузности в системе согласных вносит ясность в вопрос о том, почему компактные назальные являются почти универсалиями, а их диффузные партнеры имеют ограниченную сферу распространения. И наоборот, маркированным характером диффузности в противопоставлении диффузности-недиффузности в системе гласных объясняется, почему в языках мира число диффузных гласных назальных фонем значительно меньше числа недиффузных. С другой стороны, из двух противопоставлений: периферийность-непериферийность и компактность-диффузность — первое занимает ведущее место в фонемной стратификации модели согласных; поэтому противопоставление компактности-диффузности в ряду назальных согласных предполагает противопоставление периферийности-непериферийности в том же ряду (см. выше; ср. убедительный вывод Гринберга относительно различий, которые наличествуют в немаркированных морфологических категориях, но нейтрализуются в соответствующих маркированных). Причины существования фонологических универсалий следует искать в соответствующей структуре звуковой модели. Так, например, в языках, в которых отсутствует противопоставление смычных и длительных, соответствующие согласные всегда выступают в роли смычных, ибо именно смычные в наибольшей степени контрастируют с гласными.

Если мы обратимся к тем немногочисленным исходным противопоставлениям, которые лежат в основе всей фонологической структуры языка, и зададимся целью исследовать закономерности их взаимосвязей, мы окажемся перед необходимостью выявления межъязыковых инвариантов, основанных на тех же изоморфных принципах, что и выявление внутриязыковых инвариантов, после чего мы сможем перейти непосредственно к построению типологии существующих фонологических моделей и лежащих в их основе универсалий. Распространенная концепция, согласно которой языковые различия более значительны в фонетике, нежели в грамматике, находится в противоречии с установленными фактами.

«Логические операции», которыми выдающийся голландский лингвист-теоретик Х.Й. Пос¹ наделил бинарные противопостав-

¹ См.: H.J.Pos, *Perspectives du structuralisme*, «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», VIII, Prague, 1939.

ления различительных признаков, действительно создают чисто формальную основу для точного исследования языковой типологии и языковых универсалий. Сол Сапорта необоснованно отделяет характеристики гласных от характеристик назальных как «класса, определяемого в формальных терминах», от «класса явлений, определяемого в субстанциональных терминах»: ведь любое дистрибутивное определение гласных предполагает идентификацию этих фонем в данной позиции как единиц, имеющих одну общую черту — вокальность, точно так же, как определение назальных, включает понятие различительного признака назальности. В обоих случаях нам приходится иметь дело с реляционными понятиями, которые налагаются на данные опыта.

Не имеет смысла и постулирование различий между фонологическими единицами, «всегда наличествующими при определении, т.е. универсально необходимыми», например, фонемами, и единицами, «всегда наличествующими при эмпирическом наблюдении», например, слогами. Сапорта утверждает, что «в языке в котором каждый слог равен фонеме, различие между слогом и фонемой снимается», однако существование такого языка невозможно себе представить, так как единственно универсальной схемой слога является следование «согласный + гласный». Утверждение Сапорты бесцельно и произвольно, ибо он апеллирует к воображаемому языку, каждое которого по объему равно фонеме, а каждая фонема характеризуется только одним различительным признаком. Иерархия универсальных лингвистических единиц, от звука до различительного признака, должна представлять собой формальное определение, применимое, как результат универсального опыта, ко всем языкам. Мы имеем здесь дело со всеобщими законами, управляющими отношениями между языковыми единицами различных уровней. Если рассмотреть, например, фонему и слово в их единстве, то нетрудно прийти к выводу, что чем меньше число фонем и их комбинаций и чем короче слово (словесная модель) в данном языке, тем выше функциональная нагрузка фонем. Как утверждает Е. Крамски ² . процент согласных в коде обратно пропорционален числу их встречаемости в корпусе. Если это положение верно, то отсюда может последовать вывод, что существует тенденция к установлению универсальной константы частотности различительных признаков в корпусе.

² См.: J.Kramsky, *Fonologické využití samohláskových fonem*, «Linguistica Slovaca», 1946-48, N 4-5.

Важным достижением является выяснение Дж. Гринбергом 45 имплицативных универсалий на грамматическом уровне. Даже в том случае, если в результате будущих исследований число безусловных универсалий несколько не уменьшится, а число почти универсалий возрастет, эти данные останутся ценнейшей и важнейшей предпосылкой для построения новой типологии языков и систематического описания общих закономерностей грамматической стратификации. Скептическое упоминание о многочисленных неизученных языках едва ли могут поколебать эти выводы. Во-первых, число исследованных или доступных для исследования языков огромно, во-вторых, даже если количество почти универсалий будет возрастать в соответствии с уменьшением числа безусловных (абсолютных) универсалий, конечный итог не сможет поколебать исключительно интересных основ исследования. Статистическое единообразие с вероятностью несколько меньшей, чем единица, не менее важно, чем единообразие, вероятность которого равна единице. Мы можем, однако, ожидать, что по мере углубления этого исследования и совершенствования его методики будут выявляться все новые и новые грамматические универсалии, а также новые почти универсалии.

В своем анализе универсалий с учетом «порядка следования значимых единиц» Гринберг по праву акцентирует внимание на понятии «доминирующего» порядка. Следует помнить, что понятие доминанции базируется не на высокой частотности данного порядка следования: в действительности в «типологию следований» вводится здесь стилистический критерий, связанный с понятием доминанции. Возьмем для примера русский язык, в котором из шести теоретически возможных следований, состоящих из трех элементов — именного субъекта С, глагола Г и именного объекта О, — возможны все шесть, т.е. СГО, СОГ, ГСО, ГОС, ОСГ и ОГС, так что высказывание "Ленин цитирует Маркса" может манифестироваться в виде СГО ("Ленин цитирует Маркса"). СОГ ("Ленин Маркса цитирует"), ГОС ("цитирует Ленин Маркса"), ОСГ ("Маркса Ленин цитирует") и, наконец, ОГС ("Маркса цитирует Ленин"). Несмотря на эти возможности, лишь следование СГО стилистически нейтрально, тогда как все «рецессивные» варианты воспринимаются носителями русского языка как эмфатические варианты. Русские дети, начинающие говорить используют лишь следование СГО; предложение "Мама любит папу", будучи изменено в "Папу любит мама", может быть воспринято маленькими детьми как высказывание со значением "Папа любит маму" В соответствии с этим первое универсальное правило Гринберга может быть переформулировано следующим образом: в пове-

ствовательных предложениях с именным субъектом и объектом единственным или нейтральным (немаркированным) следованием почти всегда будет такое, в котором субъект предшествует объекту. Когда в языке типа русского именной субъект и объект морфологически не различаются, их относительное расположение по схеме СГО является единственно возможным: например, "Мать любит дочь" (предложение "Дочь любит мать" имеет противоположное значение). В языках, в которых отсутствуют различительные характеристики объекта и субъекта, единственно возможным следованием будет СГО.

Гринберг поставил перед исследованиями, проводимыми на уровне грамматики, смелую, многообещающую задачу, которая уже находит свое разрешение в фонологии: выведение эмпирических универсалий «из возможно меньшего числа общих принципов». Особенно плодотворны его замечания по поводу того, что Ч. Пирс называет в цитированной выше работе «иконическим» аспектом порядка слов: «Порядок следования языковых элементов соответствует последовательности в физическом опыте или последовательности в знании». Начальная позиция слова в неэмфатической речи может отражать не только предшествование во времени, но и иерархию уровней (рангов; так, следование «Президент и Государственный секретарь» гораздо более обычно, чем противоположное); эта позиция может также соответствовать первичной, неизменной роли данной единицы в данном комплексе. В предложениях "Ленин цитирует Маркса" и "Маркс цитирует Ленина" (с рецессивными вариантами "Маркс Лениным цитируется", "Цитируется Маркс Лениным", "Цитируется Лениным Маркс", "Лениным Маркс цитируется" и "Лениным цитируется Маркс", каждый из которых имеет специфическую стилистическую окраску) лишь первое из обоих имен, а именно субъект "Маркс", не может быть опущено, тогда как косвенная форма, творительный падеж "Лениным", может отсутствовать.¹ Почти универсальная начальная позиция субъекта по отношению к объекту, во всяком случае в немаркированных конструкциях, свидетельствует о иерархии концентрирования (focusing). Не случайно в работе Гринберга грамматические универсалии рассматриваются «в тесной связи с порядком следования значимых элементов» (синтаксических или морфологических составляющих).

¹ Речь идет, таким образом, лишь о втором из двух названных автором предложений.

В общем, «иконические символы» языка имеют ярко выраженные тенденции к универсализму. Так, в грамматических корреляциях нулевой аффикс не может трактоваться как безусловная характеристика маркированной категории, а «ненулевой» (истинный) аффикс — как характеристика немаркированной категории. Гринберг полагает, что «нет языков, в которых множественное число не характеризовалось бы теми или иными ненулевыми алломорфами, тогда как есть языки, в которых единственное число характеризуется нулем. Двойственное и тройственное число никогда не имеет нулевых алломорфов». В парадигме склонения нулевой падеж («имеющий, наряду с другими значениями, значение субъекта непереходного глагола») трактуется как единственное число, противопоставленное другим числам. Короче говоря, язык имеет тенденцию избегать несоответствий между парами немаркированных-маркированных категорий, с одной стороны, и парами нулевых-ненулевых аффиксов (или простых-сложных грамматических форм), с другой.

Опыт фонологических исследований может оказать плодотворное стимулирующее воздействие на исследование и интерпретацию грамматических универсалий. В частности, последовательность приобретения языковых навыков детьми и утраты этих навыков афатиками проливает новый свет на проблему стратификации морфологической и синтаксической систем.

Как уже было отмечено, безотчетная боязнь сползания на фонетический уровень может стать препятствием при выявлении фонемной типологии языка и общих фонологических законов. Точно так же исключение семантических критериев (характеризовавшее мучительный эксперимент грамматических описаний) привело бы в типологии к явным противоречиям. Прав Гринберг, когда он утверждает, что было бы невозможно идентифицировать грамматические элементы в языках с различными структурами без «обращения к семантическим критериям».

Морфологическая и синтаксическая типология, как и универсальная грамматика, служащая ее основанием, связана прежде всего с «грамматическими понятиями» (concepts), в терминологии Сепира. Понятно, что в грамматике понятийные оппозиции с необходимостью связаны с соответствующими формальными различиями, но как на внутриязыковом, так и на межъязыковом уровне данное различие не может служить выражением одного и того же грамматического процесса. Так, в английском противопоставление единственного и множественного числа выражено либо суффиксацией, либо чередованием гласных (boy :

boys, man : men). И даже если в одном языке это противопоставление выражается лишь посредством суффиксации, а другом — лишь посредством чередования гласных, исходное различие двух грамматических чисел является общим для обоих языков.

Не только грамматические понятия, но и их взаимосвязь с грамматическими процессами (ср. примеры выше, в связи с анализом порядка слов), а в конечном итоге и структурная основа этих процессов могут рассматриваться как база для выявления имплицативных универсалий.

К счастью, в своих поисках универсалий Гринберг далек от капризного предубеждения против определений, имеющих «семантическую ориентацию», которое, как это ни странно, нашло отголосок даже на нашей конференции по языковым универсалиям. Заслуживает всяческого внимания остроумное замечание Уриеля Вейнрейха о том, что если бы мы имели дело лишь с несколькими общими положениями, касающимися фонологии всех языков, то «мы едва ли собрались бы на конференцию по фонологическим универсалиям» и что изолированные трюизмы относительно семантических универсалий в языках «малоперспективны». Тем не менее, реалистический подход к этим проблемам открывает широкие перспективы для новых обобщений на высоком уровне. Непременным условием такого исследования служит последовательное различие между грамматическими и лексическими (или, в терминологии Фортунатова, формальными и истинными) значениями — обстоятельство, все еще приводящее в затруднение изучающих язык, несмотря на существование методологических путеводных указателей, созданных выдающимися следопытами лингвистики, особенно американскими и русскими. Изучающие язык часто приходят в замешательство от элементарных вопросов, например: какое значение имеет в действительности множественное число, или прошедшее время, или неодушевленный род в словесном коде и имеют ли эти категории вообще какое-нибудь значение?

Осторожные и неослабные поиски внутриязыковых и межъязыковых семантических инвариантов в корреляциях таких грамматических категорий, как глагольный вид, время, залог, наклонение, превращаются в современном языкознании в поистине настоятельную и вполне достижимую задачу. Исследования такого рода позволят нам идентифицировать грамматические противопоставления (оппозиции) в «языках с различной структурой» и приступить к поискам универсальных имплицативных правил, связывающих эти противопоставления друг с другом. Выдающийся математик Л. Колмогоров, являющийся также спе-

циалистом в области языкознания дал разумное определение грамматических падежей как классов имен, выражающих «абсолютно эквивалентные состояния относительно данного предмета».³ Мы членим грамматические падежи на их семантические составляющие точно так же, как мы членим фонемы на различительные признаки: это значит, что мы определяем и те и другие как отношения инвариантных оппозиций и соответственно как варианты, зависящие от различных контекстов или различных подкодов (языковых стилей). Случается, впрочем, что в тех или иных контекстах употребление данного падежа обязательно и что в этом случае его значение становится избыточным; но это обстоятельство не позволяет нам приравнивать даже такое предсказуемое значение к отсутствию значения. Основанным на явном недоразумении будет вывод о том, что появление подобной случайной избыточности может отрицательно повлиять на ход поисков значений грамматических падежей. Верно, что предлог "к" в русском языке с необходимостью предполагает употребление дательного падежа, однако этот падеж в русском не предполагает обязательного появления перед именем предлога "к", сохраняющего тем самым свое собственное общее значение направления, точно так же как слово "хлеб" не утрачивает своего значения в случае, если ему предшествует прилагательное "пеклеванная", хотя после этого определения употребляется лишь существительное "хлеб".

Если в следовании двух английских смычных первый — глухой, то и второй должен быть глухим, например cooked [kukt] — «сваренный». Однако в этом случае кажущаяся аналогия между грамматической и фонетической последовательностями может лишь ввести в заблуждение. Избыточность лишает фонологический признак его различительного качества, однако она не может лишить значимую единицу свойственного ей значения.

Наивные попытки исследования вариантов вне связи с проблемой инвариантов обречены на провал. Эти рискованные попытки превращают систему падежей из иерархической структуры в простую суммарную совокупность (summative aggregate) и скрывают имплицативные универсалии, которые действительно образуют каркас модели склонения. Различие между разноязычными контекстуальными вариантами не влияет на эквивалентность инвариантных противопоставлений. Так, несмотря на то, что Родительный падеж при отрицании характеризует польский и

³ «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода» М., 1957, N 5, стр. 11.

готский язык, но не чешский и древнегреческий, этот падеж как выразитель количественных отношений (quantifier) имеется во всех четырех названных языках.

В настоящее время «существует твердое убеждение. — как отметил Г. Хенигсвальд в своем интересном докладе, — что универсалии могут образовывать своего рода систему сами по себе» Большое число грамматических универсалий, основанных на семантических критериях, красноречиво доказывает ошибочность упомянутой Вейнрейхом традиционной концепции, заключающейся в том, что «классификация семантических универсалий, производящаяся с помощью языка, в принципе произвольна».

Доклад Вейнрейха «О семантических универсалиях» особенно ценен попыткой ответить на вопрос: «Какие обобщения могут быть сделаны относительно словаря как структурной системы, при всем несовершенстве подобной структуры?» Мысли о языке, высказанные шестилетней дочерью Вейнрейха (он рассказал нам об этом в перерыве между заседаниями), помогают нам дополнить аргументацию Вейнрейха ценными реалистическими соображениями. «В обычных работах по семантике, — говорит Вейнрейх. — в основном рассматриваются вопросы, связанные с семиотическим процессом называния». Его дочь, очень удивленная тем обстоятельством, что в языке имеются многие тысячи слов, высказала предположение, что большинство из них «имена»; она заметила, далее, что это огромное количество слов не такое уж подавляющее, поскольку они встречаются парами: имелись в виду антонимы со значением «вверх» и «вниз», «мужчина» и «женщина». Слово «вода» она противопоставила слову «сухой», а слово «покупать» слову «есть» (она умела покупать, а не продавать, и в ее сознании отсутствовало противопоставление слов «покупать» — «продавать»). Проницательная девочка отметила два основных качества словаря: его структурность и различия в статусе разных классов слов, в частности, относительно более протяженный, объемный характер класса имен.

Изучение лексических моделей было бы более простым и более результативным занятием, если бы оно начиналось не с анализа имен, как обычно, а с анализа более четко описанных классов слов. В таком случае связи между семантическими подклассами и различиями в их синтаксической трактовке стали бы особенно очевидными. Так, исследования, которые проф. Гертл Уорс проводит в Гарвардском университете (и которые являются частью нашей совместной работы по описанию и анализу современного

русского литературного языка), показывают, что членение всех русских первичных (бесприставочных) глаголов на такие, которые должны, могут или не могут сочетаться с данным падежом или инфинитивом, позволяет выявить ряд классов глаголов, объективность существования которых подтверждается как формальными, так и семантическими критериями. Сходная классификация именных классов, основанная на критериях двух порядков, связана с более значительными трудностями, но в принципе также возможна. Так, в славянских и многих других языках класс имен, обозначающих протяженность во времени, выявляется на основе синтаксических критериев: только от этих имен возможно образование винительного падежа, зависящего от непереходного глагола («болел неделю») или второго винительного падежа, связанного с переходным глаголом («годы писал книгу»). Внутриязыковая классификация слов, которая связала бы, наконец, проблему лексикологии с проблемой грамматики, представляет собой существенную предпосылку для исследования межъязыковых лексических единообразий.

Мы были свидетелями того, как общее удовлетворение универсалистским подходом, характерное для нашей конференции, едва не сменилось разочарованием, когда заключительные дебаты по организационным вопросам и перспективам исследования не привели к однозначному решению. Поскольку ясно, что проблемы типологии и универсалий не могут быть сняты с повестки дня и что без упорных коллективных усилий исследования по этим проблемам не смогут успешно продолжаться, я хотел бы внести по крайней мере одно предложение.

Нам необходимо срочно заняться систематическим выявлением в языках мира следующих универсалий: различительных признаков, унаследованных с просодических, типов их сосуществования и взаимосвязи; грамматических понятий (concepts) и принципов их выражения. Первоочередная и относительно не сложная задача могла бы состоять в составлении фонологического атласа языков мира. Предварительная дискуссия по вопросам составления такого атласа была начата на международном съезде фонологов в Копенгагене 29 августа 1936 г. и продолжена в 1939-1940 гг. лингвистами Осло, однако прервана из-за вторжения немецких войск. В настоящее время наша лингвистическая секция Центра по коммуникативным наукам Массачусетского технологического института планирует работу по составлению такого атласа, однако для реализации этого проекта необходимо широкое сотрудничество с Советом по исследованиям в области социальных наук и его Комитетом по лингвистике и

психологии. Лингвисты, сотрудничающие в различных американских и зарубежных организациях, должны быть привлечены к работе над этими проблемами.

Число языков и диалектов, фонологические системы которых доступны для лингвистического анализа, очень велико, однако следует признать, что в начале работы будут, видимо, возникать противоречивые суждения, а в наших картах будут оставаться белые пятна. Тем не менее, полученные изофоны, как бы приблизительны они ни были, принесли бы огромнейшую пользу лингвистам и антропологам. Будучи связаны друг с другом, эти изоглоссы создали бы основу для выявления новых имплицативных правил и интерпретации фонологической типологии языков в ее географическом аспекте. Фонологическое сродство соседствующих языков, обусловленное широкой диффузией фонологических признаков, найдет в атласе адекватное отображение. Работа над составлением фонологических и грамматических атласов языков мира явилась бы лишь частью того широкого международного сотрудничества, которое необходимо для достижения грандиозных целей, ставших благодаря работе нашей конференции более близкими.

В заключение я хотел бы сказать следующее. Все мы согласны с тем, что в лингвистике наблюдается переход от традиционного изучения разнообразных языков и языковых семей через систематические типологические обобщения и интегрирование к детализованным исследованиям универсального типа. Столетиями сфера этих исследований оставалась «ничейной землей», и лишь в нескольких философских работах содержались попытки заложить основания универсальной грамматики (первые такие попытки содержались в средневековых трактатах по спекулятивной грамматике, позднее эта тема была затронута в «Глоттологии» Яна Амоса Коменского и в рационалистских очерках XVII-XVIII вв., затем этих проблем коснулись Гуссерль и Марти в своих феноменологических рассуждениях, и, наконец, эти вопросы были освещены в современных работах по символической логике).

Когда мой экзаменатор задал мне в Московском университете вопрос относительно возможностей универсальной грамматики, я ответил цитатой из работы этого профессора, в которой давалась отрицательная оценка «чистой грамматики» Гуссерля. Последовал вопрос о моем собственном отношении к проблеме. В ответ я высказал мнение о необходимости лингвистических исследований в этой области.

Теперь, когда лингвисты стали обращаться, наконец, к этим проблемам, имея на вооружении четкую методологию и богатый фактический материал, они должны вносить уточнения и исправления в существующие теоретические построения, однако они ни в коем случае не должны игнорировать или недооценивать содержательные концепции прежних и современных философов, ссылаясь на то, что в этой литературе сплошь и рядом попадаются априорные утверждения и что она характеризуется невниманием к реальностям, доступным для анализа. Едва правомерен, например, вывод Вейнрейха о том, что Карнап и Куайн впали в своих недавних работах в «неосхоластицизм». Предложенное философами различие между аутокатегорематическими и синкатегорематическими знаками остается весьма плодотворным для выявления общеграмматических конструкций, несмотря на то, что некоторые традиционные интерпретации универсальной грамматики «совершенно бесполезны». Тщательная эмпирическая проверка различных общих принципов, принятых в философии грамматики, может служить эффективным вспомогательным средством при исследовании языковых универсалий и полезной контрольной мерой, принятой, чтобы избежать неэкономичных и ненужных повторных открытий и не допустить опасных заблуждений, против которых слишком часто ополчаются сторонники так называемого ползучего эмпиризма.

Наша конференция красноречиво показала, что изоляционизм в его различных проявлениях исчезает из языкознания.

Объединение частного и общего как двух взаимосвязанных моментов и их синтез еще раз подтверждают нераздельность обеих сторон любого языкового знака. Лингвисты все в большей степени осознают существование связей между их наукой и смежными науками о языке, мышлением и способами коммуникации; они стремятся дать определение как частным языковым характеристикам, так и органическому сходству языка с другими знаковыми системами. Исследование проблемы языковых универсалий с необходимостью ведет к постановке более широкой проблемы всеобщих семиотических констант. Внутряязыковые исследования дополнены теперь сравнением словесных моделей с другими средствами коммуникации. Интенсивное сотрудничество лингвистов с антропологами и психологами на конференции по языковым универсалиям означает, что современные лингвисты готовы отбросить апокрифический эпилог, напечатанный крупными буквами издателями *Курса Соссюра*: «Единственным и истинным объектом лингвистики является

язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». 6 (6, Ф. де Соссюр, *Курс общей лингвистики*, стр. 207). Разве мы не рассматриваем сегодня язык как целое, существующее «в себя и для себя» и, вместе с тем, как составную часть культуры и общества? Лингвистика становится, таким образом, двусторонней наукой, важной чертой которой является взаимоотношение части и целого. Наконец, вопрос, без обиняков поставленный Г.Хенигсвальдом и оживленно обсуждающийся здесь, «существуют ли универсалии языковых изменений?» позволили нам заглянуть в суть наиболее «упрямого» из традиционных разграничений, в воображаемую бездну между устойчивостью и изменчивостью. Поиски универсалий органически связаны со всеми проявлениями унитарного подхода к языку и языкознанию.

ЖИТЬ И ГОВОРИТЬ ⁱ

Текст, который мы имеем честь публиковать, является прежде всего великой премьерой. Мишель Треге, который ее реализовал, выразил все настолько точно, что не стоит заниматься пересказом. С другой стороны, хотелось бы подчеркнуть способность телевидения организовывать такие встречи, а также его возможность привлекать сразу миллионы участников — я бы не сказал зрителей — так как это будут прежде всего слушатели, но слушатели, которым камера покажет истинную беседу ученых, и самих этих ученых, разговаривающих, слушающих, размышляющих — этих ученых в процессе их интеллектуальной деятельности.

Эта премьера является великой не только потому, что встречаются великие: лингвист Роман Якобсон, антрополог Клод Леви-Стресс, биолог Франсуа Жакоб и генетик Филипп Леритьер, но по причине самой темы дискуссии, которая затрагивает наши современные познания о жизни, человеке и собственно человеческом способе существования — одним словом, культуре. Culture, которая породила новую форму наследственности, отличную от биологической. В самом центре взаимоотношений между культурой и природой стоят феномены коммуникации — бессознательные и бессюжетные на уровне ДНК и генов; с участием говорящего субъекта, которым занимается лингвистика; и надсознательные, принадлежащие уровню групп и сообществ, составляющие предмет антропологии.

Мы можем только приветствовать ту ясность и простоту, с которой эти ученые говорят о наиболее сложных и наименее знакомых открытиях своих наук. Я хотел бы добавить, что, на мой взгляд, эта беседа очень удачно акцентирует один важный факт: мы оттого так много говорим сегодня о структуре и структурализме, что практически во всех научных сферах обилие новых явлений и прогресс в исследованиях заставляет нас рассуждать в понятиях структуры. Структурализм, как это могло бы показаться на основании некоторых дискуссий, не является изобретением философии, и, тем более, модой, но делом ученых, стоящих перед лицом неразрешенных проблем в своих областях, обнаруживающих новые соответствия именно на уровне структур. Сегодняшние дебаты демонстрируют, что граница здесь вовсе не должна проходить между гуманитарными и прочими науками и что фундаментальные вопросы сегодняшнего материализма встают именно в терминах структуры, будь то значение биологической эволюции или развития человеческой культуры в целом.

ⁱ *Жизнь и язык*, передача Жерара Кушана и Мишеля Треге. Опубликовано в *Lettres Françaises* 1968, 21-22. [Перевод Д. Кротовой]

Мишель Трее. Четыре великих представителя современной мысли, современной науки присутствуют сегодня у нас в студии будут говорить перед вами, беседовать друг с другом. В чем заключается оригинальность этой беседы? В том, что она не является как-то разыгранной перед вами, но в действительности прожитой. Я имею в виду, что эта встреча представляет интерес исследования даже для ее участников и у каждого из них имеются интеллектуальные или научные побуждения спрашивать или слушать других.

Клод Леви-Строс, я собираюсь вас представить и должен сказать о вас несколько слов — вы остановите меня, если мое изложение вам не понравится. Теоретик структурной антропологии, скажем прямо, личность номер один структурной антропологии во Франции, вы являетесь профессором Коллеж де Франс. Мы можем определить объект структурной антропологии как изучение человеческих сообществ или, во всяком случае, признаков или феноменов, которые их определяют, то есть как изучение способов, обычаев социальной организации.

Леви-Стросс. Верований, социальных институтов.

М.Т. Хорошо. Я не слишком ошибся.

Роман Якобсон. Я думаю, когда мы говорим, что вы являетесь личностью номер один французской структурной антропологии, следует понимать — мировой.

М.Т. Роман Якобсон, вам мы тоже присудим первенство, но на этот раз в лингвистике. Ваше имя можно найти практически в каждой работе по лингвистике XX-го века. В настоящее время вы живете в Америке, в Гарварде, но Ваш путь туда проходил через Россию, Чехословакию, через несколько скандинавских стран, все, наверное, не перечислить. Можно сказать, что история современной лингвистики практически совпадает с историей жизни Романа Якобсона, не так ли? Я не слишком ошибаюсь говоря это?

Р.Я. Через три скандинавские страны.

М.Т. М-е Леритьер, Вы генетик и вы работаете на научном факультете Арсея. Как можно в нескольких словах определить предмет генетики? Это изучение феноменов наследственности ...

Ф.Л. Изучение каких бы то ни было феноменов наследственности.

М.Т. Речь идет о жизни на уровне многочисленных популяций?

Ф.Л. Я действительно начинал на этом уровне, но затем, поскольку исследование несет в себе элемент оппортунизма, я отошел от высших организмов и занялся вплотную самим вирусом, и в настоящее время я работаю по большей части с вирусами, что не является чем-то оригинальным, поскольку современная генетика в основном разрабатывается в области микроорганизмов

М.Т. Наконец, Франсуа Жакоб, вы биолог института Пастер и Коллеж де Франс. Вы получили Нобелевскую премию по медицине в 196..?

Ф.Ж. 65-ом.

М.Т. И вы, смею сказать, занимаетесь просто-напросто жизнью и живущими организмами.

Ф.Ж. В основном, клеткой. Я занимаюсь тем, как функционирует клетка, которая является единицей жизни, скажем, жизненным минимумом.

М.Т. Хорошо. Таким образом, эта беседа состоится, и можно сказать, что по чистой случайности она состоится перед телевизионными камерами, в том смысле, что и без этих камер она имела бы смысл. Я имею в виду, что эта беседа не была спровоцирована исключительно для зрелищных нужд. Тем не менее, стоит заметить, что без несколько искусственного вмешательства телевидения она, возможно, и не состоялась бы.

Почему же все-таки биолог, антрополог, генетик и лингвист? Я думаю, месье Жакоб, настало время признаться, что идея этой встречи принадлежит в некоторой мере Вам.

Ф.Ж. Я боюсь, что ответственность и в самом деле лежит на мне. Я думаю, что биолог имеет некоторое преимущество в том смысле, что предмет биологии граничит с двумя сферами: с одной стороны, с неодушевленным миром, с другой — с миром мыслей и языка, и активность биологов направлена на границу этих двух областей. Открытия последних двадцати лет дали определенные результаты, которые были весьма удивительны и которые показали, что некоторые явления, имеющие место на уровне клеток или организмов, т.е. на чисто биологическом уровне безусловно, аналогичны тем явлениям, которые происходят на уровне человеческих сообществ и человеческих языков. В частности, мне кажется, что один из наиболее важных выводов этих исследований заключается в том, что на всех биологических уровнях существует система коммуникации, будь то более простой уровень — клеточный, или уровень организмов, т.е. многоклеточных существ, или уровень организмов как социальных индивидов.

М.Т. Вы имеете в виду передачу информации необходимой для размножения всех живых существ?

Ф.Ж. Совершенно верно. Очень важно, что мы сегодня понимаем — то, что нами названо генетической информацией, набором индивидуальных характеристик, передается при помощи химического вещества, которое нам известно. Это дезоксирибонуклеиновая кислота, которая представляет собой длинное многомерное волокно, и мы знаем, что эта информация действительно вписана в хромосому с помощью четырех очень простых элементов, элементов, которые миллионы раз повторены и представлены в этом волокне совершенно так же, как во фразе текста, и это есть ни что иное как распределение письменных символов и знаков, которые репрезентируют смысл, будучи переставлены и объединены во фразы.

М.Т. То есть предметы отличаются, но способы, при помощи которых функционирует язык, остаются аналогичными.

Ф.Ж. Это так. В обоих случаях речь идет о единицах, которые сами по себе абсолютно бессмысленны, но, будучи сгруппированными определенным способом, они обретают смысл. Это или смысл слов в языке, или смысл с биологической точки зрения, т.е. для выражения функций, которые записаны в химическом генетическом сообщении. Так вот, это одна из причин, но существует и другая причина, которая с моей точки зрения заключается в следующем: по сути, главной проблемой, или одной из главных проблем биологии, является понятие организации. Дело в том, что все звенья, все элементы, составляющие определенную единицу, объединены между собой и сама единица, например, клетка представляет собой нечто куда большее, нежели сумма всех элементов. Это справедливо и на уровне клетки, состоящей из молекул, и на уровне организма, состоящего из клеток. Хорошо известно, что каждая клетка работает не для самой себя, но является специализированной, дифференцированной и работает для всего организма. Я думаю, что то же самое верно и для человеческого общества. Совершенно очевидно, что если мы возьмем группу элементов для того, чтобы организовать их в структуру высшего порядка, то их нельзя будет просто сложить, как молекулы, в мешок и подчинить статистическим законам, управляющим просто сближенными элементами. Иначе говоря, необходимо, чтобы существовали системы коммуникации. У высших многоклеточных организмов, например, млекопитающих такие системы коммуникации известны нам уже давно, мы знаем, что контакт между клетками допускает обмен, а так же что существуют системы коммуникации, которые представлены с одной сто-

роны гормонами, а с другой — нервной системой. Но совсем недавно было обнаружено, что в такой маленькой клетке, как бактериальная, представляющая собой самый простой объект, который биологи смогли найти для своих исследований, что даже в этой бактериальной клетке существует своя система коммуникации между молекулами, что позволяет этим молекулам быть постоянно информированными о том, что происходит вокруг них и функционировать не беспорядочно, а высоко организованным способом. Так вот, недавно возникла проблема того, что на всех уровнях такой организации существуют феномены коммуникации, которые мы находим повсюду.

М.Т. Месье Якобсон, позвольте вас спросить... на протяжении Вашей долгой лингвистической деятельности это ваш первый разговор с биологом?

Р.Я. О данных проблемах? Мое взаимодействие с биологами началось в течение последних двух лет. Я бы сказал даже не "взаимодействие", я просто брал несколько уроков у разных биологов. И сегодня это еще один такой урок. Но на протяжении долгого времени, начиная с 20-ых годов, я живо интересовался проблемами сходства между биологией и лингвистикой. В юности меня поразила работа великого русского ученого Берга, чья книга *Номогенез* вышла в нач. 20-ых гг., сначала на русском языке, затем в Англии на английском и в настоящее время будет опять переиздаваться на английском. Это книга немало меня просветила в вопросах эволюции. Я использовал некоторые идеи Берга, процитированные в моей книге «О фонетической эволюции», опубликованной в 1929 г. В дальнейшем я довольно часто возвращался к вопросам биологии и это было для меня ново, потому что, когда я был студентом, биологических аналогий старались скорее избегать, была такая тенденция, так как существовало несколько скороспелых биологических теорий языка, которые в итоге оказались ложными. Опасность этих теорий заключалась в том, что с биологической точки зрения пытались объяснить различие между языками. Считалось, что языковое различие соответствует биологическому различию между носителями языков, что было очевидным заблуждением. Были случаи, когда в течение 20-ых 30-ых гг. эти теории начала века развились Нацистами и близкими им учеными, нацистской идеологией, пытавшейся углубить разрыв между языками и их носителями и объяснить это с точки зрения...

М.Т. Расизма.

Р.Я. ...расизма. Есть также третья категория ложных идей, ложных попыток внедрить биологию в лингвистику, это механическое

применение менделизма к эволюции языков. Из-за этого на некоторое время всякое участие биологии в лингвистике были скомпрометировано. И я помню даже, когда я опубликовал свои, книгу «О детской речи, афазии и универсальных фонетических законах», один молодой лингвист высокого класса обвинил меня в биологической направленности. Но позже я понял, что такая направленность может быть очень продуктивной и в конце концов в шестидесятые годы чтения в области молекулярной генетики, встречи с биологами и в особенности встречи двух последних лет, мое сотрудничество в Институте биологических исследований и другие дискуссии убедили меня в том, что возможно найти не только отдаленные аналогии, не только сходства, но и куда более глубокие подходы к тому, что я предвижу в лингвистике, и в той же мере, (насколько мне это известно от биологов) и в биологии.

М.Т. Я хотел бы попросить вас, М-с Якобсон, поскольку М-е Жакоб только что разъяснил нам сегодняшнюю концепцию живого организма, уточнить для нас, пусть даже и в очень краткой форме, что то же произошло в начале этого века в лингвистике. В чем заключался великий переворот, который произошел в лингвистической науке по сравнению, например, с прошедшим веком, и что делает возможным сегодня подобные сопоставления.

Р.Я. Скорее великое развитие, нежели великий переворот, которое происходило скорее в течение двух последних веков, а не прошлого века и заключалось в том, чтобы понять и увидеть язык как целое, как систему. По выражению французских лингвистов, начиная с Соссюра и Мейе, целое есть единство и части зависят от целого, а целое определяется частями. Все эти новые тенденции принесли новые плодотворные результаты, сначала для описания языков. Затем пошли дальше, заметив, что то, что было найдено при описании языков может быть применено так же и к изменению языка во времени и в конечном итоге у нас есть сейчас блестящие перспективы в вопросах типологии лингвистических структур и универсальных законов. Таким образом, лингвистика больше не является наукой о языках вообще, но становится наукой о ЯЗЫКЕ.

М.Т. М-е. Леви-Стросс. мне кажется возможным отнести начало вашей теоретической мысли и даже начало структурной антропологии и даже антропологии в целом к знакомству с лингвистами и в частности с такими людьми как Якобсон,

Л.-С. Нет начало антропологии, конечно же, нет. Так как антропология, как и лингвистика, имеет за собой...

М.Т. Несколько столетий!

Л.-С. Ну, скажем, не несколько, но во всяком случае один или даже полтора века существования. Со своей стороны я очень рад этой возможности отдать ему должное перед самой широкой аудиторией, которую только можно собрать во Франции. Безусловно встреча в 1941-1942 в Штатах с Романом Якобсоном открыла мне — и я бы хотел придать, этому слову самый полный, самый сильный смысл — открыла мне сначала, *что* такое лингвистика и затем *что* такое структурная лингвистика. Лингвистика представляла из себя дисциплину, которая, конечно же, принадлежала к гуманитарным наукам, но которая обладает и обладала уже в то время таким напором, который ставил ее на один уровень со всем тем, что можно было найти в самых продвинутых естественных науках. И структурная лингвистика в особенности, поскольку она впервые показала в сфере гуманитарных феноменов плодотворность и эффективность тех моделей толкования, о которых мы только что говорили и которые М-е Жакоб упоминал в отношении идей совсем другого порядка. Эти модели являются для нас основными принципами объяснения, позволяя в единстве, в целом, видеть такую экспликативную возможность, которую ни одна из частей не смогла бы сама по себе предоставить.

М.Т. Это исток понятия структуры.

Л.-С. Это исток понятия структуры, которое происходит частично из лингвистики; но не стоит также забывать и биологию, так как это понятие было сформулировано, кстати в терминах очень близких тем, которые антропология имеет сегодня в своем распоряжении для изучения человеческих сообществ, биологом Д'Арси Вентворт Томпсоном в Англии несколько лет тому назад.

М.Т. Таким образом, мы уже можем определить первую область соприкосновения, говоря: имеем ли мы дело с живущим организмом, с лингвистикой или с антропологией и гуманитарными феноменами, мы всегда находимся в сфере языка и коммуникации. М-е Леритьер. как встает перед генетиком проблема языка?

Ф.Л. Да, в целом я думаю, что эта система передачи значительного объема информации, которая является возможной у человека благодаря языку, действительно ввела в биологический мир новую форму наследственности, которую можно назвать социальной наследственностью, или может быть наследственностью речи

Р.Я. Речевой наследственностью.

Ф.Л. Да, речевой наследственностью. И эта новая форма наследственности не подчиняется более в том, что касается эволюции, тем же правилам, что и другая. Например, мы считаем, что двигателем эволюции является естественный отбор и что приобретенное в опыте не наследуется, а существует просто — на просто выбор генетических комбинаций для естественного отбора который возникает в следствии перетасовки, а именно благодаря сексуальному процессу. В области речевой наследственности, *приобретенное*, наоборот, является наследуемым и если отбор все еще играет роль, то это происходит уже не на уровне индивида, а скорее на уровне сообщества, группы. Сообщество, т.е. в общем-то тип цивилизации, становится единицей отбора, и это возможно имело значение в ходе человеческой эволюции. Биолог задает себе поэтому следующий вопрос: существует ли речевая наследственность только у человека? Не проявляла ли она себя как-нибудь уже на животном уровне?

Я думаю, что на самом деле проявляла. Мы ее, конечно, не можем назвать речевой наследственностью — мы только что сказали что у животных нет речи — но, тем не менее, у некоторых типов животных существует своего рода социальная наследственность, которая передается путем имитации от одного поколения к другому. Звуки, издаваемые птицами, например, не являются исключительно обусловленными их наследственной патримонией, их генетикой. Молодые особи усваивают родительский язык. Было даже показано, что они его усваивают, находясь еще внутри скорлупы во время инкубации. Они слышат голос своего отца или соседа отца и усваивают язык стаи. Кроме того, существуют виды поведения — например, борьба с человеческими ловушками — которые также усваиваются животными. Таким образом наличие социальной наследственности у животных составляет предмет спора. Но в конце концов это проблема второго порядка по сравнению с тем, что происходит у человека. Я придерживаюсь мнения, что человека создал именно язык и речевая наследственность с новыми правилами.

Р.Я. Все наоборот. Это человек создал речевую наследственность.

М.Т. Это уже похоже на философский спор!

Ф.Л. То есть в определенный момент эволюции биологическая наследственность достигла достаточного уровня сложности, чтобы обеспечить возникновение этой новой речевой наследственности, что позволило эволюции опереться на новые правила.

Р.Я. Но тогда уже существовало человечество, т.е. уже были человеческие существа и...

Ф.Л. Но они стали людьми в действительности только тогда, когда они начали говорить.

Ф.Ж. Это все напоминает историю о курице и яйце.

Ф.Л. Конечно это напоминает историю о курице и яйце. Это проблема может завести в тупик. Но все же было несколько экспериментов — антропологи должны быть более компетентны в этом вопросе нежели я, — экспериментов с дикими детьми, возвращенными в условиях отсутствия всякого контакта с людьми. В чем же, в самом деле, заключается их психология?

Л.-С. Да, здесь есть одна очень большая трудность. Существуют известные исторические примеры, и подобные явления и сейчас встречаются время от времени в Индии.

М.Т. Дети-волки, например.

Л.-С. Действительно, находили детей-волков или диких детей, но мы так и не знаем, вызвано ли их состояние тем, что их бросили или их бросили потому, что у них уже был какой-то дефект, и это серьезно усложняет выводы.

Ф.Л. Это эксперимент без свидетелей.

Р.Я. Я лично думаю, что здесь есть одно важное наблюдение. Дело в том, что если эти дети возвращаются в общество, они могут вновь выучить язык и стать вполне человеческими существами при одном условии: если это произойдет приблизительно до семилетнего возраста. Позже уже отсутствует способность усвоения первого языка. Я думаю, что до этого возраста мы все же имеем дело с человеческими существами, у которых есть логические возможности для того, чтобы стать говорящими существами, но уже после... Поэтому я и сказал, существует человек со всеми предпосылками своей мозговой структуры и тому подобным, и он изобретает язык.

Ф.Л. Совершенно согласен, но не исключено тем не менее, что если ребенок не подвергается воздействию речевой наследственности в течении более чем семи лет, он вообще не становится человеком.

Р.Я. Да это не что иное как вопрос терминологии.

М.Т. М-е Жакоб, правильно ли будет резюмировать начало беседы следующим вопросом, так как на всех уровнях организации... скажем, материи (как никак) мы находим феномены коммуникации возможно, что мы найдем методологические или концептуальные аналогии и между различными уровнями, ана-

логии, которые будут выражаться через определенную систему понятий; но отражаются ли различные уровни друг в друге? Существует ли реальная связь между способами их функционирования? Правильно ли я подытожил?

Ф.Ж. Я думаю, что это только часть вопроса. Поразительно то, что одним из самых простых способов составлять *сложное* является объединение простых элементов. Я думаю, было интересно обнаружить, что генетическая информация складывается при помощи последовательного объединения четырех единиц, и что язык тоже образуется путем объединения, перестановки и последовательной организации очень небольшого числа единиц. Сейчас проблема терминологии действительно представляет трудность потому, что когда, например, биолог говорит о структуре или когда физик говорит о структуре они не вкладывают в это понятие того же смысла, который, с моей точки зрения подразумевается гуманитарными науками. Структура — для физика, химика и биолога — означает приблизительно одно и то же. Это, по сути, расположение атомов по трехмерному принципу.

Ф.Л. Пространственному.

Ф.Ж. Да, это пространственное расположение атомов. Тогда как, в том, что касается проблемы языка, мы, молекулярные генетики, были поражены сходством между генетической комбинаторикой и языковой комбинаторикой. Но я бы предпочел предоставить право лингвисту говорить за нас, и чтобы он позволил нам употреблять язык и термины, которые изначально принадлежат им.

М.Т. М-е Якобсон, вы согласны с этой аналогией между функционированием человеческой речи и генетическим кодом?

Р.Я. Совершенно согласен. Когда я впервые встретил лингвистические термины в биологической литературе, я сказал себе: надо проконтролировать, является ли это просто способом говорить, метафорическим способом, или там есть нечто более глубокое. Стоит сказать, что то, что делают биологи является вполне правомерным с точки зрения лингвистики, и можно даже пойти еще дальше. Что же общего между системой молекулярной генетики и лингвистической системой? Первое, и возможно самое поразительное и самое важное, это — архитектурное сходство; составляющие принципы являются одинаковыми — это принципы иерархические.

Лингвисты уже давно обнаружили эту иерархию. Существуют подъединицы, о которых генетики тоже говорят. И эти подъединицы сами по себе не функционируют, у них нет независимой

роли. Существует алфавит этих подъединиц, как опять же говорят генетики, и их различные комбинации используются уже для куда более автономных единиц, наделенных своими собственными функциями, в этих codons, или как их называют но крайней мере некоторые американские генетики кодовых словах, участвуют, что особенно интересно, различные комбинации четырех подъединиц, представленных в алфавите. Эти различные комбинации отличаются по порядку и композиции, и играют дифференцированную роль. Они имеют законы композиции, следующие принципу триплекации: любопытно то, что существует немало языков, в которых корни образованы по тому же принципу. Вы знаете, есть правила структуры индоевропейских или семитских корней, которые очень напоминают этот тип. И далее, существуют комбинации еще более высокого порядка, которые образуют куда более важные объединения. Это в той же мере характерно и для языка и для биологии. Сначала мы имеем фонологический уровень, затем уровень дифференцированных элементов и их комбинаций, затем уровень слов и наконец уровень синтаксиса. Что же мы имеем на этом синтаксическом уровне? Мы имеем разные лингвистические правила, которые позволяют нам раскладывать более длинные единицы на единицы подчиненные. На письме мы используем различные символы пунктуации, скажем, запятые. Интересно то, что генетик тоже говорит о пунктуации в аналогичных ситуациях, там тоже существует такой же феномен сигналов конца и начала. Это в полной мере соответствует тому, что Трубецкой называл в лингвистике *Grenzsignale*, пограничными сигналами.

Поразительно однако, что мы, лингвисты, имели обыкновение говорить в наших лекциях, что подобные примеры иерархии пустых элементов, которые в следствие своей комбинации образовывали бы такое богатство способов выражения, нигде более не встречаются. Так вот, вот вам наиболее близкая аналогия. Самым существенным является то, что конечное число различных порядков, кодированных элементов дает возможность образовывать сообщения огромной длины и необычайного разнообразия. Это в равной мере относится и к генетике, где не бывает двух совершенно одинаковых людей, и к сфере речи.

М.Т. Две фразы, которые никогда не повторяются и два человека, которые...

Р.Я. На уровне фразы еще возможны сходства, но на уровне говорения, на уровне речи в целом возможно что... Тут уж нельзя предсказывать, тут уж бесконечное многообразие. Но существует и другая функция языка, функция с точки зрения временной оси

Имеется в виду речь как то: что в английском выражается словом *legacy*. Т.е. речь как наследственность, как наследие, как урок, приходящий из прошлого и нацеленный в будущее. И в этом, как уже говорил М-е Леритьер, в этом и заключается роль речевой наследственности. В этом смысле, я думаю, что сходство между речевой и биологической наследственностью просто поразительно. Это правда. Мы знаем о роли культуры, роли обучения у животных. У птиц, например, и т.д. Но с точки зрения иерархии у них молекулярная наследственность стоит на первом месте, а обучение является вторичным, потому что в опытах, проделанных с певчими птицами, они пели даже когда обучение в яйце было элиминировано.

Ф.Л. Да, они усваивают совсем немного по сравнению с биологической наследственностью.

Р.Я. Они пели, и соловьи пели как соловьи. Но не так хорошо, потому что соловьям тоже нужен хороший учитель. Таким же образом, дети в подобных случаях не говорят. И потом, есть еще один момент, соловей всегда будет петь как соловей, а не как петух, даже если он получил свое образование в курятнике, в то время как норвежский ребенок, если его перевести в Южную Африку будет говорить на банту как истинный банту.

Л.-С. Я думаю, что у птиц есть диалекты и в зависимости от места обитания они будут говорить на разных языках. По-моему, проводились такие любопытные эксперименты в аэропортах, когда пытались отпугивать ворон криками предупреждения, записанными с ворон другой стаи, и это не дало никакого результата. Да. Существуют местные наречия.

Р.Я. Но вы признаете все же, что разница минимальна?

Л.-С. Ну конечно.

Р.Я. Существует разница иерархии.

Ф.Л. Обучение у животных дает куда меньше по сравнению с генетикой. У человека это совершенно по-другому.

Р.Я. Тем не менее, в настоящее время совершенно ясно, так называемый железный занавес между культурой и природой не существует. Культура играет свою роль у животных, а природа — у человека. И язык — это и есть тот феномен, который участвует и в биологической природе и в культуре. Я думаю, с другой стороны, что к феноменам речи принадлежит во-первых способность усваивать язык, потому, что эта способность есть только у людей. Затем характерным и, возможно, даже молекулярно наследуемым является архитектурный принцип, с которым мы сталкиваемся в каждом языке. Все языки обладают одинаковой иерар-

хией единиц и значений. Я думаю, можно предположить, что эта структура, это подобие структур между языком и молекулами, существует благодаря тому, что язык в своей архитектуре был смоделирован с принципов молекулярной генетики, т.е. структура языка тоже является биологическим феноменом.

М.Т. Возникновение языка.

Ф.Ж. Нет-нет, я конечно понимаю, это безусловно биологический феномен, но не является ли он, по сути, единственным способом делать из простого сложное?

Ф.Л. Именно это я и собирался сказать.

Ф.Ж. В конце концов у нас нет другой возможности передавать информацию кроме как при помощи небольшого количества символов, объединяя их различными способами.

М.Т. Я хотел бы, М-е Якобсон, резюмировать, не искажая, то, что вы только что сказали. Вы находите поразительным сходство в структуре и организации языка и генетического кода, начиная от самых простых элементов организации и кончая самыми сложными единицами, пунктуацией и т.д.; и вы, даже идете дальше, говоря, что эта аналогия обязана своим существованием тому, что структуры языка смоделированы с биологических структур. М-е Жакоб, как относится биолог к подобной гипотезе?

Ф.Ж. И в самом деле состав иерархии очень примечателен, но вопрос, которым мы можем задаться, заключается в том, действительно ли легчайшим способом делать сложное является комбинирование простых элементов, так как мы действительно находим это на всех уровнях физической природы. В начале этого века физики с удивлением заметили, что атом, который считался неразложимым, как указывает само слово, тоже является составным, что все атомы разных типов в таблице Менделеева, составлены из более простых единиц, что молекулы состоят из небольшого количества атомов. И, наконец, в генетике необычайным открытием было то, что гены, о которых знали с начала века и которые рассматривали как единицы, нанизанные наподобие жемчужного ожерелья, не отличаются сами по себе друг от друга по типу идеограмм. В течение очень долгого времени считалось, что гены были идеограммами, а не просто фразами с очень простой комбинаторикой. В конечном счете, я с вами согласен. Существуют иерархические уровни совершенно поразительного сходства и в языке и в системах кодирования генетической информации, в нуклеиновых кислотах; но я спрашиваю себя, не является ли это единственным способом получить при помощи в

конечном счете простейших средств столь поразительное разнообразие и различие, которые мы находим в организмах.

Л.-С. Если позволите, вопрос не совсем в этом. Дело не просто в том, чтобы получать сложное из простого, как это происходит в таблице Менделеева, которую вы упоминали. Глубокая аналогия между тем, что вы находите в клеточной генетике, и языком состоит в том, что комбинация простых элементов, лишенных сигнификации, дает не только нечто более сложное, но нечто несущее в себе определенный смысл. Я думаю, что аналогия существует в плане сигнификации. И что мы не можем правильно определить аналогию без введения понятия сигнификации

Ф.Ж. Да, но это справедливо так же на уровне молекул, т.е. по своей сигнификации молекула соли совершенно отлична от молекулы хлора или соды.

Л.-С. Да, но здесь слово *сигнификация* не применяется в том же смысле, так как здесь подразумевается сигнификация *для нас*, тогда в первом случае это была сигнификация *для них* (генов).

Ф.Л. И для рецепиента.

Ф.Ж. Здесь стоит сказать, что речь человека символична и она предполагает собеседника, она предполагает мозг, который понимает ее. Тогда как в генетическом языке мы имеем только передачу информации между молекулами. Какой смысл имеет сигнификация? У нас есть некая структура, составленная из подструктур, образующих линейную последовательность; в следствие законов термодинамики эта линейная последовательность обретает некую пространственную форму, очень сложную, между прочим, становится единицей, пространственной единицей с новыми свойствами и характеристиками. То же самое происходит на уровне каждого отдельного организма. За возникновением каждого отдельного организма стоит некий генетический код, состоящий из подъединиц, каждая из которых по отдельности лишена сигнификации. Но при помощи разных сложных феноменов и механизмов эмбрионального развития и дифференции возникает организм, который мы также рассматриваем как единицу. Что же это означает, что у организма есть сигнификация? Я бы хотел, чтобы наши собеседники из гуманитарных наук определили бы нам это слово — *сигнификация*. Не подразумевает ли этот термин рецепиента, человеческого рецепиента.

Л.-С. Да, это и в самом деле любопытно, что мы можем запросто определить все слова языка и сказать, что они означают, но что слово сигнификация имеет такое значение, которое более всего недоступно. Я думаю, что если поискать, что означает сигнифи-

нация, то, в конце концов, сигнифицировать это переводить, это обозреть структурное соответствие между кодом А и кодом В. И именно это, как мне кажется, происходит в биологических феноменах, которые вы изучаете.

Ф.Ж. Тем более, что на генетическом уровне существует очень сложная система декодирования, которая использует порядка двухсот молекул для перевода языка нуклиидов на язык протеинов.

Р.Я. Я думаю, что здесь связь очень простая, несмотря на все различия, несмотря на то, что вопрос рецепиента, декодирующего, и т.д. ставится совершенно по-разному в лингвистике и в молекулярной механике, но поразительно то, что существует огромное количество феноменов общественной жизни и культуры, которым присуща необычайная сложность, просто необычайная, еще большая нежели речи; так как ни в одной из этих сфер вы не найдете подъединиц, которые не имели бы своего независимого значения и служили бы только в конструктивных целях.

М.Т. Вы хотите сказать, что для всех этих сложных феноменов природа не нашла механизма?

Р.Я. ...И мне кажется особо удивительным, что язык смоделирован по принципам молекулярной структуры, так как в целом ясно, что язык, т.е. способность понимать язык, усваивать язык, использовать язык является биологической. В этом-то и состоит та особенность, которая отличает язык от всех культурных феноменов и которая, кстати, является предпосылкой культуры. Дело в том, что мы усваиваем все законы фонической и грамматической структуры в возрасте двух-трех лет.

Ф.Ж. Да, только биологической основой этой способности является, в сущности, нервная система. Т.е. устройство и механика нейронов.

М.Т. А не генетический код.

Ф.Ж. Не генетической код.

Р.Я. Вам не кажется, что этот принцип остается всегда действующим и существующим, т.к. есть такое орудие наследственности как язык. Язык — это единственная подлинная наследственность, которая сосуществует с молекулярной наследственностью — я употребляю, возможно, слишком антропоморфные термины — и которая вполне может использовать в качестве модели этот второй тип наследственности.

Ф.Л. Это возвращает нас к тому, что оба механизма используют для передачи линейную систему, систему последовательностей, последовательное устройство.

Р.Я. И так же иерархическое.

Ф.Л. Я только что говорил, что на основе такой закодированной информации, которую организм получает в начале своего существования, он строит структуру, не линейную структуру, которая является чем-то вроде идеограммы и идеограммой специфической, поскольку ясно, что каждый организм, будь то человек, паук или удав, является специфическим и его можно признать инвидом и рассматривать как единицу.

Р.Я. То же самое и в лингвистике.

М.Т. Даже идеограмма является структурой.

Ф.Л. Все это построено приблизительно так же, как и общественные структуры, о которых вы ранее говорили, и которые не являются линейными, но могут быть переданы при помощи линейного кода.

Л.-С. Я представляю себе вещи намного более теологически, прошу меня извинить за это...

Ф.Ж. Это интересный вопрос.

Л.-С. В общем я бы сказал, что все происходит так, как если бы у природы были в распоряжении не слишком разнообразные инструменты, орудия. Применив их для проектирования живых существ, а затем употребив немало других для их реализации, она была в некотором роде обязана, как в таблице Менделеева, вернуться к отправной точке и воспользоваться способом уже применявшимся в начале времен для того, чтобы создать еще одно творение, которым и явилось человечество, причем говорящее человечество.

М.Т. Я хотел бы вернуться к тому, что говорил М-е Леви-Стросс, может ли игра тех же механизмов и тех же потребностей быть использована для того, чтобы создать систему передачи информации на других уровнях нежели уровень языка — на уровне обществ, например.

Л.-С. Социальные феномены, человеческие сообщества все больше и больше представляются нам как огромные машины обмена информацией. Имеем ли мы дело с обменом женщинами между разными социальными группами через брачные запреты и предпочтения, или с обменом материальными достояниями и услугами в области экономической, или с обменами речевыми сообщениями или, с любыми другими операциями, предполагающими участие языка, что отводит ему преобладающую роль не только с логической точки зрения, но и с объективной: так вот, все чаще и чаще мы заинтересованы рассматривать все социальные феномены как феномены коммуникации. Но я пойду

еще дальше, сказав, что и целые человеческие сообщества, не зная о том, общаются друг с другом, так как каждое сообщество находит пути выражения свойственные его манере и собственному языку при помощи выбора, который оно сделало между всеми возможными верованиями, обычаями, институтами; каждое другое сообщество выражается совершенно по-другому другими способами. Вплоть до того, что все, что касается человеческой жизни от ее самых скрытых биологических основ до ее наиболее громоздких и показательных проявлений кажется нам зависящим от коммуникации.

Ф.Ж. Я думаю, можно даже добавить, что направленность современной техники и того общества, к которому мы принадлежим и которое развивалось на протяжении двух с лишним тысяч лет, состоит в преумножении способов коммуникации, и что это, возможно, явилось одним из факторов эволюции этого общества к тому состоянию, в котором мы его видим сегодня.

Л.-С. Я хотел бы сказать, что не более 20-30 лет назад мы, деятели науки, относились с большим недоверием к любому использованию естественных моделей для объяснения культурных феноменов. Но это потому, что то применение биологических знаний, которое мы могли осуществлять в то время был чрезвычайно механистическим и эмпирическим. Тогда как недавние открытия научили нас тому, что в природе имеется куда больше культуры, если можно так выразиться, чем мы предполагали или, более конкретно, что определенные модели, которые мы привыкли использовать, и которые мы считали принадлежащими исключительно культурным феноменам, имеют так же действенное значение в сфере природных явлений. Только мы не находим эти модели, скажем на предшествующей ступени, у наиболее развитых животных, например, у высших обезьян. Но мы постоянно замечаем, что для понимания определенного человеческого феномена приходится искать наиболее похожие модели в сообществе насекомых, чтобы понять другой феномен, надо искать наиболее близкую аналогию у птиц, чтобы понять третий, надо рассматривать высших млекопитающих. Как если бы особенность культуры состояла не только в том, чтобы представлять еще одну ступень некой большой лестницы (каковой она тоже является), начинающейся от самых скромных форм жизни и ведущей к более сложным, но и в том, чтобы являть собой нечто вроде синтетического набора решений, который природа набросала, несколько фрагментарно здесь и там, на разных этапах животной и может быть даже растительной жизни, и что человеку пришлось, не по собственной воле, конечно, но в ходе бессоз-

нательной эволюции, отобрать несколько решений, уже участвовавших в природной лестнице и создать из них небывалое сочетание.

Ф.Л. Обнаружение в человеческом поведении, в структуре человеческого общества тех же принципов, которые мы то здесь то там находим у животных, объясняется тем, что в палеонтологии называется феноменами конвергенции. Таким образом, в процессе эволюции жизнь сделала определенного рода усилие, чтобы использовать все возможные решения, все способы, позволяющие организму выжить. И эти решения использовались многократно, но по-разному. В итоге получается нечто, не то чтобы похожее, не то чтобы идентичное, но нечто аналогичное. Самый красивый и самый классический пример — это сравнение между пластиножабренными, такими как акулы, и китообразными — как киты. Киты являются чем-то вроде ложных рыб, которые в настоящее время живут как акулы. Они не стали акулами, но усвоили определенные формы поведения, привычки, присущие пластиножабровым, т.е. акулам. Так вот, я думаю, что нет ничего сверхъестественного в том, что у человека точно так же можно найти способы решения, которые уже были использованы у животных, но совсем по-другому и через другой эволюционный путь. Мне кажется, что М-е Леви-Стросс интересуется, например, феноменами экзогамии и стремлением человека находить своего партнера вне группы, вроде обмена женщинами, о котором вы упоминали.

Л.-С. Я не думаю, что это стремление. Я думаю, что это необходимость социальной жизни.

Ф.Л. Такое существует. У животных есть типы поведения, которые тоже приводят к подобным результатам. У самых различных животных. И кстати, это биологическая необходимость. Если бы социальное размножение совершалось только между близкородственными особями, это было бы даже отрицанием сексуального размножения, которое должно приводить к смешению.

М.Т. М-е Якобсон, можно вас спросить, какие стилистические и методологические размышления вызывают у вас подобные сближения между столь разведенными до настоящего момента областями, как точные и гуманитарные науки?

Р.Я. Я думаю, что взаимосвязи между различными дисциплинами становятся все более и более тесными и, мне кажется, можно уже предвидеть достаточно логичную систему этих взаимосвязей. Существовала эпоха изоляционизма, когда каждая наука занималась собственным делом. Это было, наверное, хорошо для определенной эпохи, но сейчас необходимо смотреть, что происходит

у соседей. Так вот, имея в нашем распоряжении науку о жизни — биологию — и мы обнаруживаем, какую большую роль в этой науке играет коммуникация, предвосхищение движения от прошлого к будущему и все те феномены, которые мы находим и в гуманитарных науках. Где в настоящее время проходит граница различия между биологией и гуманитарными, общественными науками? Различие в том, что биология, так же занимаясь коммуникацией, делает это в мире, который не обладает речью и что дар речи, как это было уже сказано и биологом и антропологом — это феномен важный и существенный. Но биология занимается сообщениями другого типа, другого уровня. Существуют сообщения молекулярные, затем сообщения, которые представляют разные системы коммуникации между животными и затем, как я сегодня не раз пытался подчеркнуть, вступает язык. Язык, который в основе своей является биологическим феноменом, тесно связанным со всеми другими феноменами, с проблемами молекулярной коммуникации, с взаимодействием между молекулами, с феноменами коммуникации между животными и даже между растениями. Но язык привносит новый момент — момент креативный. Только при наличии речи можно говорить о вещах, отдаленных во времени и пространстве, или даже сочинять, говорить о вещах несуществующих, и только в этот момент возникают термины, имеющие обобщенное значение, только в этот момент возникает возможность научного и поэтического творчества. И существует лингвистика, очень тесно связанная с биологией, также являющаяся наукой о коммуникации, коммуникации словесных сообщений. Но человеку присуще не только словесные сообщения, существуют и другие типы знаков, другие типы символических систем, другие способы коммуникации. А это уже наука о коммуникации сообщений в целом. Это и есть такая наука, о которой мечтал Соссюр, а в Америке Чарльз Пирс, это семиотика, или семиология, которой присуще знание о том, что любая система знаков, используемая человеком подразумевает существование языка, так как в семиотике язык — это главный феномен, не единственный, но главный, основной. Затем возникает третий крут проблем. По ту сторону лингвистики и семиотики находится, если хотите, интегральная антропология, такая, какой она представляется Леви-Строссу, это наука о коммуникации, не только об обмене сообщениями, но так же и об обмене женщинами, материальными благами и, услугами, и характерно, опять же, что все эти способы коммуникации и все эти процедуры обмена неизбежно подразумевают существование обмена сообщениями, существование языка, и, более того, все

они переводимы на язык и сосуществование с языком играет большую роль во всех этих областях.

Л.-С. Если позволите вас прервать, я скажу, что он (язык) понимается двояко — как орудие и как модель.

Р.Я. Это так.

Л.-С. Так как ничто не может свершаться помимо языка и все эти системы коммуникации являются некими копиями с него.

Р.Я. Орудием, моделью и метаязыком. Что дает нам возможность контролировать все прочие системы. Таким образом, мне кажется мы вышли на очень тесную связь между биологией и гуманитарными науками. И теперь, когда я читаю новые работы по биологии, когда я беседую с представителями этой науки, мне кажется очень важным, что в моделях, созданных науками о культуре, лингвистикой, биологией и др. можно увидеть проявления того, что можно было бы назвать телеологией или, как говорят некоторые биологи, телеономией — чтобы отличать научную телеономию от преднаучной телеологии, как астрономию от астрологии. Начиная с первых признаков, с самых элементарных феноменов существования жизни, мы также замечаем и наличие цели, направленности к цели, что было так хорошо сформулировано в большой книге, которую я люблю упоминать, книге, которое оказала очень сильное влияние на лингвистов. Это книга великого московского физиолога, который совсем недавно скончался, Николая Бернштейна. Так вот, он идентифицирует жизнь с направленностью к цели, с предвосхищением будущего. Этой своей позицией он очень близок к кибернетике, который оказал немалое влияние на американских биологов — Норберту Винеру.

М.Т. Когда вы говорите об этой цели, каким образом ее можно уподобить, или скорее избежать ее уподобления детерминизму.

Р.Я. Я думаю, что генетики лучше ответят.

Ф.Ж. Я считаю, что проблема цели является и в самом деле очень трудной, мы над ней спорим уже в течение долгого времени. Но я думаю, что существует один момент, который сейчас особенно прояснился и относительно которого несколько лет назад мы пребывали в неведении. Он заключается в том, что каждый организм от перевода программы переходит к ее выполнению, так как очевидно, что начиная с того момента, как возникает программа, возникает и цель. Проблема в том, что каждый организм можно считать запрограммированной машиной, и в этом смысле, начиная с того момента, как он получает генетический материал от своих родителей, у него появляется программа, т.е. цель, но есть и еще одна проблема — куда более трудная, — проблема

эволюции программы. Трудность заключается в том, чтобы объяснить, как будет усложняться программа. Для бактерий, если хотите, мы знаем, что генетическое волокно соответствует одному мм. длины, т.е. оно насчитывает порядка десяти миллионов знаков. Человек соответствует приблизительно десяти миллиардам знаков, т.е. он в тысячу раз сложнее. Проблема в том, чтобы понять, как усложняется программа. Она усложняется таким образом, что мы, люди, рассматривающие *a posteriori* то, что произошло в эволюции, представляем себе некую цель *a posteriori*. Существуют две совершенно разные проблемы. С одной стороны, проблема цели организма, который, по выражению Якобсона можно считать запрограммированной машиной. Кибернетики знают, что когда они закладывают программу в машину, эта программа будет выполнена, и можно считать, что каждый организм, получая от своих родителей программу, имеет, таким образом, точную цель.

М.Т. Я говорил не об этой цели.

Ф.Ж. Я предполагаю, что вы говорили не об этой цели. Эта проблема очень сложна и я думаю, в настоящее время все биологи — М. Леритьер конечно же находится в более выгодном положении, чтобы говорить об этом — все биологи в целом согласны с тем, как Дарвин сформулировал проблему — т.е. с процессом естественного отбора, или дифференциального размножения, с той небольшой разницей, что они ее понемногу усложнили. Молекулярная генетика подготовила материал, над которым работает эволюция, это и есть определенная программа с определенным набором знаков. Сейчас совершенно очевидно, что эта программа не может быть изменена инструкциями извне и при помощи известной нам системы генетической записи мы не можем объяснить то, как внешний феномен влияет на наследственность. Другими словами, необходима куда более сложная механика. Безусловно существует причинная взаимосвязь между генетической структурой и целью, как вы говорите, целью *a posteriori*. Но это уже нечто намного более сложное так как вовлекаются необычайно сложные механизмы, такие как генетический отбор, зависящий от сексуального процесса или чего-то другого, возникают мутации, и дифференциальная репродукция, в результате которой некоторые организмы имеют больше потомства, и таким образом лучше распространяют свою программу нежели другие.

Ф.Л. Да, и кроме того, это усложнение генетического сообщения не происходило на уровне индивида, оно в каждый момент происходило на уровне популяции, таким образом мы приходим к

на уровне биологических единиц, которыми являются вовсе не индивиды, но генетические сообщения, т.е. целые популяции организмов, объединенных процессом размножения. В этом по-видимому и заключается фундаментальное значение процесса размножения. Если бы не было сексуальности не было бы и этой подвижности в реакции организмов на воздействия среды. Естественный отбор действует на уровне популяции, которая при помощи системы скрещивания поддерживает генетическое разнообразие и способствует таким образом возникновению новых структур.

М.Т. Мне кажется довольно забавным это выражение — цель *a posteriori*.

Ф.Ж. Да, в том смысле, что мы сейчас, глядя на то, что произошло отыскиваем общий смысл эволюции.

М.Т. Это формула, которая позволяет вам избежать вопроса, какова эта цель?

Ф.Ж. Я думаю, что важная проблема заключается в том, что если бы цель существовала изначально, не было бы этой необычайной сложности и всех тех неудач, которые она за собой влечет.

Ф.Л. Процесс эволюции все же подчинялся некоторой общей возрастающей, хотя и проходящий через хаос, который обнаруживает палеонтология. В конечном итоге жизнь испробовала все возможные решения и закончила, несмотря ни на что, восходящей линией, которая завершилась человеком. По сути это означает просто на просто, что материя нашла в себе такие ресурсы. Если живая материя, обретя этот механизм, который мы обнаруживаем во всех клетках, механизм передачи информации при помощи нуклеиновых кислот и протеинов, могла развиться в нечто подобное существу, способному общаться при помощи языка, т.е. способному создать цивилизацию, то это так и должно было произойти, т.е. здесь можно говорить о цели, о цели *a posteriori*. Это не было расписано во всех деталях с самого начала, но это было неизбежно, принимая во внимание процесс естественного отбора и возможности живой системы. Так, мне кажется, мы можем лучше понять и направленный характер эволюции в целом и хаос частностях. Так как при близком рассмотрении эволюция — это хаос. Трудно найти какую-либо целесообразность в возникновении диплодоков или в появлении гигантских аммонитов, но в целом эволюция шла по направлению к высокоорганизованным существам вплоть до момента возникновения языка, о котором говорил М. Якобсон.

Р.Я. Я не считаю, что эти очень интересные и хаотичные эпизоды могут приводиться в качестве аргумента против возможности направленного процесса. Возьмем, например, игру в шахматы. Существует немало плохих игроков в шахматы, которые тем не менее ставят себе целью выиграть; они играют, проигрывают, иногда проигрывают совершенно унижительным образом. Не стоит считать, что в природе все происходит как у шахматных чемпионов.

Ф.Ж. В понятии телеологии или телеономии заключается очень сложная проблема так как это понятие является для нас чрезвычайно субъективным. Нам очень трудно от него абстрагироваться, это проблемы, дополняющие друг друга. Трудно размышлять на эту тему, совершенно абстрагировавшись от этого вопроса и от того, что человек по праву или без права считается самым совершенным продуктом эволюции. Но мне кажется, что если и существует изначальная цель нет никакой причины продвигаться к ней столь болезненным способом.

(На этом месте дискуссия на некоторое время прерывается, продолжается без микрофона и затем возвращается в свое русло.)

М.Т. Вы хотите что-то добавить, М. Жакоб?

Ф.Ж. Я хотел сказать, что тут придется ждать до 2000 года.

Ф.Л. Мне тоже так кажется.

М.Т. Но почему до 2000 года? Почему эта дискуссия невозможна?

Ф.Ж. С одной стороны потому, что палеонтология никогда не сможет обеспечить нас достаточным количеством необходимых элементов, а с другой стороны — процесс возникновения жизни и того, что происходило 10 млрд. лет назад — это та же методологическая проблема, что и у М-е Леви-Стросса. Я не совсем понимаю, как мы сможем на него сослаться.

М.Т. Но каким таким тонким способом вы перешли от замечания по поводу телеономии к процессу возникновения жизни?

Ф.Ж. Потому, что это одна и та же проблема.

Р.Я. Я не думаю, что тут есть связь потому, что дело не в возникновении жизни; как и для языка вопрос вовсе не в этом.

Л.-С. Да, я это и хотел сказать.

Р.Я. Это вопрос эволюции и, говоря «селекция», вы вводите идею того, что эволюция не может быть делом чистой случайности.

Ф.Л. Я совершенно убежден, что идей Дарвина вполне достаточно для научного объяснения. Телеологическое объяснение — это уже другой вопрос. Но научная мысль не может достигнуть понимания причины этого и всей глубинной истины существования. Научная мысль изучает только механизмы и взаимоотношения между феноменами. Эти взаимоотношения между феноменами мы знаем, мы их сравнительно изучили. То, что маленькая игра ДНК и протеинов завершилась мной лично и моим разумным сознанием, это уже другая проблема и я не думаю, что ее разрешение является делом науки.

Л.-С. Мне вовсе не хотелось подключать сюда разумное сознание, потому, что я считаю, что задача такой встречи как сегодня состояла в том, чтобы узнать от биологов, что возможно существование явлений, напоминающих по своей структуре язык, не подразумевая при этом, ни сознания, ни субъекта. И это является очень большой поддержкой для специалиста по гуманитарным наукам, который на уровне сообществ, т.е. по ту сторону языка, а не по эту, обнаруживает феномены коммуникации, возникающие помимо сознания отдельных членов социальной группы, и таким образом вне присвоения их говорящим субъектом.

VII. ВРЕМЕННОЙ ФАКТОР В ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

К.П. В одном из Ваших последних синтетических обзоров задач науки о языке среди современных наук, в *Scientific American*, 1972 г., Вы в кратком очерке истории языкознания затронули вопрос младограмматической доктрины. Методология младограмматиков собственно сводилась к истории языка. Преодоление долго господствовавшего учения младограмматиков было одной из заслуг Соссюра. Но в своем *Cours de linguistique générale* он опять-таки свел задачу изучения языковой системы к одной стороне, а именно к статической синхронии. Оба подхода — младограмматический историзм и статическая программа Соссюра — односторонни. Каковы же пути к преодолению повторной однобокости?

Р.Я. Время как таковое было и, думаю, остается насущной темой нашей эпохи. В московской газете «Искусство», просуществовавшей всего несколько месяцев 1919 г., в статье, посвященной футуризму, я писал: «Преодоление статичности и изгнание абсолюта — такова существенная задача нового времени, это вопросы остро злободневны». Нашей непосредственной школой в помыслах о времени была ширившаяся дискуссия вокруг новорожденной теории относительности, с ее отказом от абсолютизации времени и с ее настойчивой увязкой проблем времени и пространства. Другим обликом той же школы был футуризм, с ударными лозунгами его манифестов и живописными экспериментами. «Статическое восприятие — это фикция». — отвечал я в той же статейке на традиционные усилия живописи «разломить движение на серию обособленных статических элементов».

Таковы были предпосылки моей первой встречи с учением Соссюра об антиномии состояния, т.е. синхронии, и истории языка, т.е. диахронии. Прежде всего бросалось в глаза, что синхронию.

ⁱ Опубликовано в: Р.Якобсон, К. Поморска «Беседы.» Издательство им. И. Л. Магнаса / Еврейский университет в Иерусалиме. 1982

т.е. округ языковых явлений, сосуществующих в данном речевом коллективе, Соссюр и терминологически, и теоретически отождествлял со статикой, противопоставляя таковую вере в тождество диахронии и динамики. В критике этой концепции я не случайно обратился к примеру киновосприятия. На вопрос синхронического характера — что вы видите в это мгновение на экране? — зритель неизбежно даст синхронический, но отнюдь не статический ответ, так как он видит, что в данный момент лошади бегут, клоун кувыркается и, настигнутый пулей, падает бандит. Словом, отождествление двух реальных противопоставлений, «синхрония—диахрония» и «статика — динамика», фиктивно. Синхрония полна динамических элементов, и синхронический подход требует их учета. Если синхрония динамична, то, в свою очередь, языковая диахрония, т.е. рассмотрение и сопоставление различных этапов языка в течение продолжительного хода времени не может и не должна ограничиваться одной лишь динамикой языковых изменений; необходим учет статических фактов. Вопрос о том, что изменилось и что осталось неизменным во французском языке на протяжении многих веков его развития, или даже что сохранилось неизменным в тех или иных индоевропейских языках в течение их тысячелетних перипетий со времен праязыкового единства, требует обстоятельного расследования. Соссюр, и в этом его большая заслуга, поставил на первый план изучение системы языка в его целом и в соотношении всех его составных частей. С другой стороны, его учение подлежит решительному пересмотру, поскольку оно силится упразднить связь между системой языка и его модификациями, рассматривает систему языка как исключительное свойство синхронии и сводит процесс модификаций к одной лишь диахронии. Между тем, как свидетельствует развитие различных социальных наук, понятия систем и их изменений не только совместимы, но и связаны друг с другом неразрывно. Попытки свести изменения к округу диахронии глубоко противоречат лингвистическому опыту.

Нельзя себе представить языковые модификации, совершившиеся в языковом коллективе с одного дня на другой. Старт и финиш каждого изменения всегда сосуществуют в течение некоторого времени в данном коллективе и воспринимаются как таковые. Исходный пункт и завершение модификации распределяются по-разному: старая форма может быть характерной принадлежностью старшего поколения, в то время как новая служит отличительной чертой поколения молодого, или же деформы могут вначале расцениваться как особенности двух разных языковых стилей, разных субкодов единого общего кода, и в этом случае одни и те же члены коллектива оказываются восприимчи-

вы не только к обоим вариантам, но и к активному выбору между ними. Иными словами, повторяю, сосуществование и изменение не только не исключают друг друга, но оказываются, напротив, неразрывно связаны. А поскольку и старт, и финиш одновременно принадлежат общему коду языковой системы, неизбежно встает вопрос не только о смысле статических компонентов системы, но и о смысле изменений *in statu nascendi*, в свете подверженной этим изменениям системы. Соссюровская идея изменений, слепых и случайных (*aveugles et fortuits*) с точки зрения системы теряет почву. Каждое изменение первоначально происходит в синхроническом плане и таким образом оказывается компонентом системы, тогда как на долю диахронии приходятся только результаты изменений.

Соссюровская идеология исключала совместимость двух хронологических аспектов: одновременности и последовательности. Результатом было изгнание динамики из анализа системы и звукового уклада речи (*significant*) к чистой линейности, и этот редукционизм упразднял возможность осознать фонему как пучок одновременных различительных черт. Эти два взаимно противоречивых тезиса, один поступающийся временной последовательностью, а другой — сосуществующими компонентами, оба жертвуют одной из двух мер времени, и нам все еще приходится останавливаться на этих неизбежных шагах к оскудению подлежащей анализируемой действительности, потому что до сих пор не изжита опасность таких незаконно ограничительных мер применительно к анализу языка.

Следует подчеркнуть, что обе ограничительные меры в поведении последователей Соссюра противоречат поведению самих участников языкового коллектива. Последний склонен непосредственно вводить временную ось в число осознаваемых языковых факторов; отживающие элементы языковой системы осознаются как архаизмы, а новшества так и воспринимаются как последний крик моды. Это наблюдается и в звуковом, и в грамматическом, и в словарном плане языковой жизни. Здесь временную оценку следует интерпретировать как металингвистический факт. Убедительными примерами сознательно или бессознательно активного отношения, проявляемого языковым коллективом к различительным чертам и их сочетанию, служат продуктивные процессы так называемой гармонии гласных (*vowel harmony*), распространяющей единство той или иной черты в составе гласных на все гласные в пределах слова. Таков, например, подход к оппозиции гласных светлых (*acute*) и темных (*grave*) в большинстве угро-финских и тюркских языков и т.д.

Я все более убеждаюсь, что целесообразно синхроническая концепция процесса языковых изменений позволяет избежать многих ошибок и недоразумений в установлении и истолковании языковых, в частности звуковых, изменений системы. Мне в этом довелось особенно ярко удостовериться, когда в 60-е годы я работал над кажущимся лабиринтом просодических отношений и их эволюции в эпоху распада праславянского языка на отдельные исторические языки. Именно факты первоначального сосуществования различных этапов развития давали смысл и позволяли разобраться в мнимой путанице явлений и набросать картину фонологической эволюции количественных и акцентных отношений в отдельных славянских языках на заре их существования. Стержневые вопросы, остро поставленные в трудах по исторической славянской акцентологии такими экспертами, как Christian Stang (1890-1977) и Jerzy Kurylowicz (1895-1978), должны были получить надлежащую реинтерпретацию именно в свете сочетания обоих неразрывных критериев — временной последовательности и одновременности.

К.П. Парадоксально непонимание этого нового отношения к истории со стороны некоторых критиков. В полемике против Вашего метода один, из аргументов — это упрек в статичности или «чисто имманентной» трактовке языковых и художественных явлений, в противовес их «историческому» пониманию, отождествленному с идеей «развития». Между прочим, в 1930-е годы это было главным упреком со стороны официальных деятелей литературы по отношению к опоязовцам. Этим критикам представлялось, будто развитие неизбежно связано с разделением цепи фактов на бывшие, отождествленные с движением, и настоящие, где почему-то движения не предполагается. Тем самым и время понимается как нечто, что можно аналогично «разрезать» на «время динамическое», т.е. то время, которое прошло, и «время статическое», т.е. настоящий момент. Думается, здесь сказывается отсутствие воображения, как именно переживается время. Почему-то этим критикам остается недоступен принцип единого времени, т.е. постоянно протекающего и таким образом неизменно динамического. Соответственно явления прошедшего и настоящего момента предстают в их целостном и взаимно обусловленном виде. Так некогда Толстой указал на несостоятельность понятия «истории», как тех фактов в потоке жизни, которые специально отбирались и выделялись как динамические: это были войны и социально-политическая деятельность «великих людей». Такому отбору противопоставлялась остальная, «обычная» жизнь, как будто бы развитию не подлежащая. Между прочим, относительность, которую Вы вводите таким

образом в понимание языковых явлений, вводит нас снова в круг системных понятий, по тому же принципу бинарности: мы не можем мыслить настоящее без прошедшего, или будущее без настоящего, и т.д.

Схоже увлекались проблематикой динамики времени люди искусства в близких Вам кругах русского авангарда — Малевич, Маяковский, Хлебников и другие. Но многие из них, особенно Маяковский, извлекли из диалектики времени вывод абсолютный, характерный именно для авангарда: они хотели «победить» время, преодолеть его незыблемый ход. Поэтому, подобно Кириллову в *Бесах* Достоевского, Маяковский, например, верил, что в утопии будущего время «погаснет в сознании», т.е. перестанет ощущаться человеком.

Из всего сказанного относительно эволюции языка ясно видно, до какой степени эта проблематика послужила базой методологических принципов в литературоведении опоязовского толка тех лет. Тынянов в 1929 г. пишет важную работу *О литературной эволюции*, где он исходит из тех же предпосылок в постановке вопроса о переменах в литературе и ее двойного синхронического и диахронического аспекта. Этой статье предшествовала Ваша совместная с ним декларация, «Проблемы изучения литературы и языка», напечатанная в «Новом Лефе» 1928 г. Как дошло до написания этой декларации?

Р.Я. Интересно, что тема исторического подхода приобрела широкий интерес в науке конца 20-х годов. Мне думалось, что вопросы такого подхода к различным сферам человеческого бытия и творчества следовало формулировать и поставить на обсуждение в тезисах сжатых деклараций. Трактровке фонологических систем и их исторических изменений было посвящено мое, составленное осенью 1927 г. предложение I Международному Съезду Лингвистов, собравшемуся в Гааге в 1928 г. Заручившись одобрительной подписью ближайших мне лично и научно лингвистов, Н.С. Трубецкого и С.И. Карцевского (1884-1955), я послал это предложение комитету Съезда. Следует прибавить, что и Трубецкому, и мне было в диковинку положительное отношение Съезда и знаменитого представителя старого поколения лингвистов В. Мейер-Любке (1861-1936). председательствовавшего на том пленарном собрании Съезда, где сочувственно обсуждались новые принципы нашего предложения. Особенно же нас порадовало кулуарное объединение международного авангарда нашей науки, вызванное нашими предложениями. Именно этот успех вдохновил декларацию «Проблемы изучения литературы и языка», составленную мною в конце того же года, в тесном со-

трудничестве с Юрием Тыняновым (1894-1943), гостившим в то время у меня в Праге. Этот сжатый текст, напечатанный по возвращении Тынянова домой в Ленинград в журнале «Новый Леф», вызвал ряд письменных ответов принципиального характера со стороны различных сотрудников знаменитого Общества по Изучению Поэтического Языка (Опояз). Подробно информирует нас теперь об этой дискуссии комментарий в томе историко-литературных статей Тынянова, вышедшем в 1977 г., но ни один из этих отзывов так и не был в то время напечатан в связи с начавшимися на пороге тридцатых годов официальными мероприятиями против независимых теоретических позиций названного содружества, вскоре приведшими к его полному упразднению.

Вопрос об имманентном характере литературных изменений и об их тесной связи с системой литературных ценностей, поставил на очередь, согласно нашей декларации, задачу увязки между литературной синхронией и диахронией: отрыв понятия системы от понятия преобразования лишился значения, потому что нет и не может быть неподвижной схемы, с другой же стороны подвижность необходимо предполагает систему; эволюция наделена систематическим характером. Наша декларация оставалась в России в течение полувека под спудом вынужденного молчания и только сейчас была воспроизведена в вышеназванном тыняновском сборнике, уже после того, как ее вспомнили на Западе, перевели там на разные языки и подвергли свежему международному обсуждению. Сопоставительный подход к языку и литературе в нашей декларации был важен не только своим упором на общность задач, но и своевременным напоминанием о соотношении литературы (и соответственно языка) с различными смежными рядами культурного контекста; и это соотношение требовало более широкой структурной разработки в рамках нового и плодотворного понятия «системы систем», без апелляции к сбивчивому понятию механической причинной зависимости при объяснении взаимной связи соотнесенных культурных рядов.

Не лишено интереса, что вскоре после учреждения Пражского лингвистического кружка в октябре 1926 г., т.е. вскоре после перехода от частных раздумий к живым дружеским дебатам, я обратился к Трубецкому с пространственным взволнованным письмом, просившим поведать, как он относится к моему назревшему выводу о системном и целенаправленном характере языковых изменений и о глубоко не случайной, целенаправленной слитности языковой эволюции с развитием остальных общественно-

культурных систем. Я все еще, полвека спустя, живо помню мою тревогу в ожидании ответа со стороны того лингвиста и союзника, которого я уважал, как никого другого. 22 декабря Трубецкой отвечал одним из своих знаменательнейших посланий: «С Вашими общими соображениями совершенно согласен. В истории языка многое кажется случайным, но успокаиваться на этом история не имеет права. Общие линии истории языка при сколько-нибудь внимательном и логическом размышлении всегда оказываются неслучайными, — а следовательно, неслучайны должны быть и отдельные мелочи; все дело только в том, чтобы уловить смысл. Осмысленность эволюции языка прямо вытекает из того, что «язык есть система». Трубецкой писал, что «если де Соссюр не решился сделать логического вывода из своего же тезиса о том, что язык есть система, то это в значительной мере потому, что этот вывод противоречил бы не только общепринятому представлению об истории языка, но и общепринятым представлениям об истории вообще. Ведь единственный смысл, который допускается в истории, это пресловутый «прогресс», т.е. понятие мнимое, внутренне-противоречивое, и, следовательно, сводящее смысл к бессмыслице». Трубецкой соглашался, что «другие стороны культуры и народной жизни тоже эволюционируют со своей особой внутренней логикой и по своим особым законам, тоже ничего не имеющим общего с прогрессом. И именно поэтому этнография (и антропология) этих законов изучать не хочет. ...Теперь формалисты в истории литературы встали, наконец, на путь изучения внутрилитературных законов: это дает возможность увидеть смысл и внутреннюю логику в развитии литературы. Эволюционные науки все настолько запущены в методологическом отношении, что сейчас задачей момента является именно направление метода каждой из них в отдельности. Время синтеза еще не наступило. Но, вместе с тем, не подлежит сомнению, что какой-то параллелизм в эволюции разных сторон культуры существует, — а следовательно, существует и какая-то закономерность, этот параллелизм обуславливающая».

КП. Комментарий к названному Вами тыняновскому сборнику действительно показывает, какой широкий отклик и оживление вызвала Ваша декларация в рядах распадавшегося в то время Опяза. Комментаторы приводят отрывки сохранившихся писем одного из самых активных опязовцев, В.Б. Шкловского, написанных в ответ на призывы Вашей декларации к живительному пересмотру позиций Опяза. Среди «давших взволнованный ответ» на декларацию названы выдающийся литературовед и математик Б.В. Томашевский, Сергей Бернштейн, стиховед и

фонетик, упоминаются отклики стиховеда и приверженца статистических операций Б.И. Ярхо, известного литературоведа-теоретика Б.М. Эйхенбаума и замечательного лингвиста востоковеда Е.Д. Поливанова.

Требует расширения Ваше замечание, что в конце 20-х годов вопросы истории сильно захватили умы. Это касается, конечно, не только людей науки, но и людей искусства, так сильно в то время связанных с наукой. Первым на ум приходит поэт и прозаик Борис Пастернак. Именно во второй половине 20-х годов он обратился к вопросам истории, которыми не переставал заниматься до конца своей жизни. К замечательному рассказу Пастернака *Воздушные пути*, написанному в середине двадцатых годов, и можно применить слова Трубецкого по поводу параллелизма между разными сторонами культуры в их эволюции. Пастернак не только ставит вопрос об имманентных силах истории, определяемых соотношением «частного» и «общего»: он отрицает мертвую схему причинных связей, в которую люди пытаются насильственно втиснуть все явления жизни, между тем как жизнь неумолимо вырывается из этой схемы, точно из непригодного и тесного сосуда. Вместо каузальной цепи обусловленностей поэт выдвигает правило стечения обстоятельств, причем историческое и психологическое начало — оба совпадают по своим функциям: они одинаково обезоруживают человека против навязанной, произвольной схемы причинности. «Историческое» же начало для Пастернака — это вовсе не прогрессивная, восходящая линия причинно-следственных связей, а вне человека, по «воздушным путям» поступающее стечение обстоятельств.

По-видимому, не случайно, что Ваша совместная с П.Г. Богатыревым декларация «К проблеме размежевания фольклористики и литературоведения» была написана почти в то же самое время, что и Ваша с Тыняновым литературоведческая декларация, в 1928-1929 гг. Устное народное творчество, как звено между языковедческими и литературоведческими явлениями, должно было занять надлежащее место в Вашей организационно-методологической деятельности.

Р.Я. После предложений Гаагскому международному лингвистическому съезду и «Проблем изучения литературы и языка» последним из трех декларативных выступлений, состоявшихся по моей инициативе в конце двадцатых годов, были именно Богатырева и мои совместные тезисы «К проблеме размежевания фольклористики и литературоведения», сформулированные в 1929 г. параллельно с уже упомянутой выше статьей *Фольклор*

как особая форма творчества и опубликованные в дискуссионном порядке польским этнологическим журналом «Lud Slowianski» в 1931 г. Нами был поставлен вопрос о различном содержании понятий: «бытие фольклорного произведения», и, соответственно, содержание понятий — литературная и фольклорная преемственность. Непрерывность фольклорной традиции противопоставлялась прерывистости в истории литературной системы ценностей. Привычная идея «вечных спутников» сменялась идеей вечных встреч и разлук. Забытые писатели воскрешались на протяжении эволюции художественных вкусов и становились соучастниками в системе литературных ценностей данного момента наравне с современными художниками слова. Короче говоря, становилась актуальной идея прерывистого времени и обратного временного хода, т.е. возможность возвращения к классикам или даже возможность включения в очередной репертуар художественных ценностей, первоначально не признанных, их посмертная реабилитация и воскрешение. Вся эта литературная проблематика бросала свет на характер временной линии развития языка, в частности на различия между языком устным и письменным, позволявшим усвоение и реставрацию старых канонов.

К.П. Оценивая свои собственные идеи касательно фольклора и литературы с перспективы всех этих лет, Вы выдвигаете как важный момент вопрос о ценностях. Можно даже сказать, что у Вас произошел некоторый сдвиг транспозиция понятия эволюции в понятие ценности, причем совершенно закономерная. В те же годы схожие проблемы привлекали внимание Трубецкого. В своем сборнике статей о русском самопознании он пытается определить социальный механизм выработки и обмена ценностей. Общество — в дореволюционной России — состояло из двух главных слоев: верхнего и нижнего. Верхний слой определяет и закрепляет иерархию ценностей, «низы» принимают ее. Существует известный «переплыв» этих понятий ценности между верхним и нижним слоем: ценность, принятые сегодня в верхнем слое, завтра сходят в низы общества, чтобы вернуться оттуда опять к верхам в соответственно преобразованном виде. Ваши декларации, несомненно, соприкасаются с проблемой переплыва ценностей. Социальный механизм выработки оценок, предложенный Трубецким, конечно, не подходит к сегодняшнему дню: ни на Востоке, ни на Западе не сложилось той структуры общества, которая вела бы к подобному созданию ценностей и механизму их движения. Дело обстоит несколько иначе и слож-

нее. Однако самый принцип механизма может оказаться полезным для применения к новой обстановке.

Когда в связи с литературой речь заходит о временной преемственности и ее обратимости, т.е. о временных возвратах художественных ценностей, снова встает вопрос, поставленный в связи с учением Соссюра, — вопрос о сосуществовании языковых явлений. По-видимому, временной фактор находит себе в языке замечательное многообразие проявлений. Нельзя ли сказать, что именно в таком многообразии сказывается основная творческая сила языка? Помнится, в лекциях Вы не раз подчеркивали, что основная сила языка, и, соответственно, привилегия говорящего, состоит в том, что язык способен переносить нас во времени и пространстве.

Р.Я. Трудно найти область, где бы идея временной последовательности в такой мере переплеталась с идеей сосуществования, как это происходит в жизни языка и словесного искусства. Достаточно нескольких наглядных примеров. Один из них связан с восприятием устной речи. Речь несется быстрым потоком и требует от слушателя овладения если и не всеми ее элементами, то, во всяком случае, их значительной частью, необходимой для понимания сказанного. Слушатель осознает слова, сложенные из уже отзвучавших составных единиц, и фразы, состоящие из слов, уже пророненных. С вниманием к речевому потоку сочетаются необходимые для понимания речи моменты одновременного синтеза, как их назвал ровно сто лет тому назад русский невролог и психолог И.М. Сеченов (1829-1905) в своих *Элементах мысли*. Таков процесс, объединяющий уже ускользнувшие от непосредственного восприятия и принадлежащие непосредственному воспоминанию элементы, объединяемые в более емкие единицы, звуки в слова, слова во фразы, фразы в целостное высказывание. Роль памяти, и краткосрочной, и длительной, составляет одну из центральных, как мне кажется, проблем общей лингвистики и психологии языка, и в этой области многое предстоит пересмотреть и продумать точнее, с учетом разнообразных последствий. Поэт Louis Aragon в одном из своих последних романов своевременно напомнил подсказанную единичными лингвистами в конце прошлого века мысль о перебоях памяти и забвения в развитии языка и об исторической роли забвения, возмещаемого языковым творчеством.

Наука о языке в течение веков не раз поднимала вопрос о речевом эллипсисе, проявляющемся на разных языковых уровнях — звуковом, синтаксическом, повествовательном. Надо сказать, что и эти вопросы разработаны по большей части лишь эпизодиче-

ски и фрагментарно: но до сих пор еще менее продумано эллиптическое восприятие, техника восполнения пропусков слушателем, опять-таки на всех языковых уровнях, и все еще не вполне учитывается субъективизм слушателя, творчески восполняющего эллиптические пробелы. Здесь лежит ядро той проблемы, которая за последние годы немало дебатруется в науке о языке, т.е. ядро вопросов принятия речевой двусмысленности или многозначности и ее преодоление (*desambiguation*). В связи с затронутыми вопросами дает о себе знать одно из главных различий между языком устным и письменным. Из них первый носит чисто временной характер, а последний связывает время с пространством. Если мы слушаем убегающие звуки, то, читая, мы обычно видим перед собой неподвижные буквы, и время письменного потока слов для нас обратимо: мы можем читать и перечитывать, мало того, мы можем забегать вперед. Субъективная антиципация слушателя превращается в объективируемое предвосхищение читателя: он может досрочно заглянуть в конец письма или романа.

Мы остановились на существенном для понимания означаемого компонента вопросе о соотношении между фонемами и их составными элементами, т.е. различительными чертами. В плане означаемого компонента языковых знаков наличие своего рода звуковых аккордов, т.е. пучкам одновременных различительных черт, аналогичны пучки одновременных грамматических значений, *simul des signifies*, как их назвал преемник Соссюра на Женевской кафедре лингвистики, Charles Bally. Элементарный пример — окончание *-o* латинского *amo* означает одновременно и лицо глагола, и его число, и время. Передача пучка сосуществующих компонентов одним синтетическим сегментом в потоке речи, иными словами, вышеговоренный *simul des signifies*, характерна для наших, так называемых синтетических языков, тогда как вместо этого приема языки агглютинативного строя, например тюркские, наделяют каждый суффикс одним единственным грамматическим значением и, соответственно, превращают эти фактически сосуществующие значения во временную последовательность наделенных отдельными значениями суффиксов. Если в латинском языке множество значений находит себе выражение в едином суффиксе, то, напротив, в турецком сосуществование значений превращается во временную цепь. Сочетаемость и взаимодействие двух конкурирующих и в основе своей противоположных факторов, т.е. одновременного сосуществования, с одной стороны, и временной последовательности, с другой, является, пожалуй, наиболее характерным проявлением идеи времени в структуре и жизни языка.

Возникают многообразные конфликты между двумя аспектами времени. Это с одной стороны *le temps de l'énonciation*, и с другой стороны *le temps énoncé*. Столкновение этих двух обликов времени особенно ярко проявляется в словесном искусстве. Поскольку речь, в частности, речь художественная, развертывается во времени, неоднократно в истории напрашивалось сомнение, возможно ли преодолеть в искусстве слов этот факт непрерывного временного тока, противопоставляющий поэзию статическому характеру живописи. Вставал вопрос, возможно ли в живописи движение, и закономерна ли статическая описательность поэзии. Можно ли передать средствами речевого потока описание сидящего на коне вооруженного рыцаря, или законы языка требуют, чтобы такая сцена была подана как рассказ о процессе облачения рыцаря и об оседлании коня. В этом смысле аргументировал поэт немецкого классицизма Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), предлагавший в поэтическом живописании заменить пространственное сосуществование временной последовательностью. Но младший брат Лессинга, Johann Gottfried Herder (1744-1808) отвечал тем, что защищал одновременные явления в поэзии, придающие ей способность преодолеть линейную последовательность передаваемых событий.

Невозможность сочетать в языке неустанный ход рассказа с фактом различных одновременных и притом разноместных действий обнаруживается, как показал наблюдательный польский классический филолог Тадеуш Зелинский (1869-1944), в эпической традиции Илиады, где деятельность одних соучастников рассказа сопровождается одновременным исчезновением и пассивным бездействием прочих персонажей. Иные поэтические подходы, напротив, открывают возможность динамической передачи разноместной одновременности. Повествуемое время обратимо. Рассказ прибегает к ретроспективным воспоминаниям или просто начинается с развязки и переходит к завязке. Наконец, рассказчик может непосредственно приписать выдуманной действительности обратный ход действий, как это было замечательно осуществлено крупнейшим русским поэтом нашего века Велимиром Хлебниковым, причем герои повествования, переходя шаг за шагом от конца жизни к ее младенческому истоку, в то же время беседуют о прошлом и будущем в обычном, неперевернутом порядке. Наконец, средневековая пасхальная драма, сочетающая в себе мистику праведников и фарс заурядных, пародийных персонажей, навязывает последним два временных плана: они, с одной стороны, участвуют в ходе евангельских событий, предшествующих Воскресению Христову, с другой же стороны, предвкушают годовое пасхальное пиршество,

так что евангельские события выступают одновременно как факт далеко прошлого и как повторный оборот очередного календарного года. Словом, повествовательное время, особенно в поэтической речи, может быть однолинейным и многолинейным, прямым и обращенным, сплошным и прерывистым, и даже может сочетать, как в последнем примере, линейность с кругообразностью. Трудно, думаю, найти пример, разве что в музыке, более остро переживаемого времени.

Я убежден, что максимально действенным переживанием словесного времени является стих, причем это в равной степени касается стиха устного, фольклорного, а также книжного, литературного, потому что стих, как строго метрический, так и вольный (*vers libre*) несет в себе одновременно обе языковых разновидности времени — время сообщения и сообщенное время (*the announcement's time and the time announced*). Стих принадлежит к речевой, моторно-акустической, непосредственно переживаемой деятельности, и в то же время стихотворный строй переживается нами в тесной связи — будь то согласие или конфликт — с семантикой стихотворного текста и, таким образом, является неотрывной частью развиваемой фабулы. Трудно себе даже представить более простое и одновременно более сложное, более наглядное и более отвлеченное переживание временного тока.

К.П. Характерно, как ощущали временной фактор в стихе самые значительные поэты начала века. Два таких разных поэта, как Блок и Маяковский, оба считали временной элемент определяющим началом творческого акта в создании стиха. Ритм для них был первичен, слово — вторично. Маяковский в своей известной брошюре *Как делать стихи* писал о начале работы над любым новым стихотворением: «Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтобы не мешать мычанию, то помыкиваю быстрее в такт шагам. — Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова. ...Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Для меня это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение каждого явления, которое я выделяю звуком».

Блок в статье *Поэзия заговоров и заклинаний*, в свою очередь, говорил о том, как творческая сила ритма «поднимает слово на хребте музыкальной волны и ритмическое слово заостряется как стрела, летящая прямо в цель».

Р.Я. Как подсказывает самая этимология латинского термина *versus*, стих заключает идею регулярного возврата, в противопо-

ложность прозе, которую этимологический состав латинского термина *prosa* (*pro-versa*) рисует как движение, направленное прямо вперед. В переживании стиха постоянно содержится и непосредственное ощущение настоящего времени, и оглядка на импульс предшествующих стихов, и живая антиципация стихов последующих. Эти три сопряженных переживания слагаются и жизненную игру инварианта и вариаций, т.е. внушают и автору, и читателю, и декламатору, и слушателю константу стихотворного размера, расцвеченную и обогащенную отступлениями и уклонами.

В глубокой связи с развитием языка оформляется переживание времени у ребенка. Лишь сравнительно недавно наблюдателями детского освоения речи было замечено, что ребенок нередко помнит предыдущий этап своего овладения языком. Ребенок любит говорить о языке, для него метаязыковые операции — существенное орудие лингвистического развития. Он вспоминает: «Когда я был маленьким, я говорю так-то, а теперь иначе, вот так». Мало того, в игровом порядке или же для того, чтобы снискать больше нежности и благожелательности со стороны взрослых, он порой принимается говорить по-прежнему, по-младенческому. Громадную роль в детском приобретении языка играет явление, которое глубокий датский аналитик языка Otto Jespersen (1860-1943) окрестил *shifters*. Попытка перевода этого термина на другие языки, например, французская — «*embrayeurs*» или русская — «переключатели» не привилась, и наименование *shifters* вошло в международный обиход.

Мне понятие *shifters* издавна представляется одним из краеугольных камней лингвистики, недооцененным в прошлом и требующим все более пристальной разработки. Общее значение грамматической формы, именуемой «шифтер», отличается тем, что в состав ее общего значения входит ссылка на данный речевой акт, т.е. на речевой акт, в состав которого включена эта форма. Так, например, прошедшее время — «шифтер», потому что буквальное значение прошедшего времени — это указание на событие, предшествующее данному речевому акту. Первое лицо глагола, или же местоимение первого лица — это «шифтер» потому, что в основное значение первого лица входит ссылка на автора данного речевого акта, так же как местоимение второго лица содержит ссылку на адресата, к которому данный речевой акт обращен. Меняются адресанты и адресаты беседы, соответственно физическое значение формы «я» и формы «ты» переключается (*it shifts*). Желательность включения грамматического времени в языковой обиход ребенка возникает в тот относи-

тельно ранний этап его овладения первым языком, когда дебютант речевой деятельности перестает удовлетворяться непосредственной словесной реакцией на происходящее в данный момент прямо в собственном круге его зрения. В его речи впервые возникает фраза с субъектом и предикатом, позволяющая приписывать субъекту различные предикаты и относить каждый предикат к различным субъектам. Это нововведение освобождает ребенка, погашает его зависимость от *hic et nunc*, т.е. от непосредственно данной временной и пространственной обстановки. Отныне он может говорить о том, что происходит на временном и пространственном расстоянии от него, и с переменностью исходных пунктов — временных и пространственных — он усваивает также идею чередующихся соучастников речевого общения. В речь ребенка проникает идея времени, а также идея большей близости или отдаленности в пространственном плане: я и ты, мое и твое, здесь и там, сюда и туда.

К.П. Из всего Вами сказанного явствует, что каждый языковой акт и каждое языковое явление — от фонемы до произведений словесного искусства — неизбежно входит в двойные временные рамки: такова, с одной стороны, линейная последовательность, а с другой стороны, строгая одновременность. В этом и сила, и относительная ограниченность языка как средства выражения, согласно вышеупомянутому классическому спору между Лессингом и Гердером.

Думается, что борьба за преодоление этих рамок, или же, наоборот, их использование для все новых эффектов, в значительной степени определяет развитие и поиски разных новых видов искусства. Одна из самых современных его форм — кино — нагляднее всего пытается соединить одновременность с линейностью, и это тем более характерно, что современное кино сочетает слово и образ. Смелую попытку этого рода предпринял Alain Resnais в фильме «Последний год в Мариенбаде» («L'Année Dernière à Marienbad»), где кадры прошедшего времени «наскикивают» на кадры настоящего действия — в чисто техническом, кинематографически дословном смысле. Таким образом, создается единство обоих компонентов языка — означающего и означаемого, т.к. интрига построена вокруг постоянного сплетения прошедшего с настоящим в восприятии героев. В том же направлении движутся усилия некоторых современных скульпторов, пытающихся преодолеть статику самого материала и построить скульптурными средствами некий повествовательно-символический ряд, передающий протекание времени.

VIII. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФАКТОР

К.Л. Последний комплекс проблем — вопрос о «шифтерах», особенно их роль в овладении ребенком языком — переносит нас собственно в область пространства. Этот вопрос в применении к языковым переменам был Вами впервые по-новому поставлен полвека тому назад в работе *К характеристике евразийского языкового союза*. По-новому освещалась проблема звуковой эволюции языка. Оказалось, что наряду с генетическим в языковой эволюции сказывается пространственный фактор. Соседство взамен родства. Как Вы пришли к этой идее? Существовали ли для нее теоретические предпосылки в тогдашней науке?

Р.Я. Неизбежно расстояние между двумя собеседниками, и расстояние меняется в зависимости от того, к кому обращена речь. Наши языковые средства подлежат переменам в зависимости от того, ограничивается ли участие в разговоре домашним кругом или же мы обращаемся с речью к соседям, к людям другого околотка, другой части города, других округов страны. Разумеется, к различиям чисто пространственным присоединяются разделения социального и культурного характера. Словом, мы попадаем в крут вопросов географической и социальной диалектологии. Каждый из нас в большей или меньшей степени обладает интердиалектной способностью. Мы осознаем речевые различия между нами и нашими собеседниками для того, чтобы понимать последних, и таким образом, по меньшей мере пассивно, т.е. в роли слушателей, овладеваем смежными диалектами. Мало того, мы естественно стремимся в большей или меньшей степени приблизиться к говору собеседника и таким образом частично овладеваем особенностями его диалекта. В том нашем речевом коде, который сосюрская лингвистика называет *langue* и без которого речевой обмен, *parole*, оказывается заторможенным, заключен целый ряд субкодов, слагающихся из тех разнородных элементов, которыми мы в зависимости от череды меняющихся собеседников пользуемся и как адресаты, и как адресанты. В этом лежит одна из предпосылок актуальной многосоставности нашего кода — *langue*, и говорящее лицо компетентно (именно компетентно) свободно переходит по мере надобности от одного субкода к другому.

Если миф о неподвижности системы исчезает из нашего подхода к языковым изменениям, и время в качестве внутреннего фактора входит в анализ языковых систем, то, в свою очередь, этот анализ побуждает включить пространство в круг внутренних языковых факторов. Также и в этом случае в языковой системе

наряду с инвариантами мы обнаруживаем множество контекстуальных вариаций. Под контекстуальным различием здесь следует понимать в первую очередь различие круга собеседников, но сверх того мы пользуемся диалектными вариациями в качестве стилистических средств. Соответственно, в зависимости от темы и нашего к ней отношения, мы либо уснащаем наши высказывания подобными диалектизмами, либо, напротив, старательно от них воздерживаемся. Только узкое доктринерство может искусственно отмежевывать стилистические каноны от языкового кода. На деле эти каноны составляют его неотъемлемую часть.

В свете этих соображений радикально меняется наше понимание диффузии. Отпадают традиционные попытки провести принципиальную, абсолютную границу между понятием очага изменений и зоной их экспансии. Только когда первичная обмолвка становится повторным фактом в речевом обиходе ее зачинщика и подхватывается его ближними, она из единичной оговорки превращается в социальный факт изменения, сперва факультативного, а затем, может быть, лишь годами спустя, изменение приобретает обязательный характер.

К.П. Возможно ли, чтобы зачатком изменения был единичный ляпсус, и — следовательно — состоятельно ли самое понятие «ляпсус»? Может быть, здесь действуют какие-то другие силы?

Р.Я. Под словом «ляпсус», или «обмолвка», я подразумеваю единичный уклон от существующей нормы, возникший у отдельных говорунов, но не ставлю вопроса о том, был ли этот уклон чистой случайностью или же в нем таились элементы хотя бы неосознанной преднамеренности. Если это было одной лишь нечаянной оговоркой, то не остается оснований для ее повторения самим обмолвившимся или же его окружающими. Если повторение происходит и множится, то налицо, вне всякого сомнения, должен быть, пусть бессознательный, спрос на его применение, причем пределы, предназначенные на первых порах для такого повторного применения, могут быть различны и в отношении круга говорящих лиц, и применительно к рамкам того стиля речи, в котором это новшество находит себе почву. Его дальнейший переход из одного стиля в другие и все более широкое обобщение его применимости в языке опять-таки предполагает факт спроса, факт заинтересованности, нужды в данном новшестве под углом зрения языковой системы и ее носителей. Одним из путей, содействующих вживанию, устойчивости и дальнейшему распространению новшества является эллиптический стиль речи, где, например, утрата данной фонологической оппозиции является одним из возможных эллиптических опущений.

Далее, такой факультативный пропуск может стать общеязыковой утратой фонологического различия, опять-таки только в том случае, если в системе есть спрос на его упразднение, т.е. на так называемую дефонологизацию, или же имеется спрос на замену одного фонологического различия другим, прежде избыточным. Это один из аспектов многообразного явления трансфонологизации, согласно термину, который я применил, впервые подойдя к этой проблеме в 1923 г., на общефонологических страницах книги о чешском стихе.

Особенно показательны примеры звуковых изменений, происходящих на наших глазах в языках, доступных постоянному наблюдению различных лингвистов. Такова тенденция к утрате значимого различия между напряженными и ненапряженными гласными французского языка, как например, *saute — sotté, pate — patte*, причем в одних диалектах эта утрата не вышла из пределов небрежного, живого, эллиптического стиля речи, в других же говорах, по крайней мере в некоторых парах слов, она распространилась на все разновидности речи. Другим характерным случаем было отмеченное французскими наблюдателями уже в конце прошлого века стирание границ между носовыми гласными лабиализованными и нелабиализованными: *brun — brin, bon — ban*. Полное осуществление этой тенденции свело бы инвентарь носовых классов к различию между задней и передней артикуляцией. Однако только делабиализация передних лабиализованных гласных нашла себе значительное распространение, легко объяснимое вторичностью сочетания лабиализованной и палатальной артикуляции, а также скудостью омонимических пар, проистекающих от такой делабиализации. Утрата различия между велярными носовыми, лабиализованными и нелабиализованными, не нашла себе схожего распространения и удержалась лишь в узких рамках небрежного стиля речи по двум причинам: первичность сочетания лабиализации с велярной артикуляцией гласных и обилие омонимов, возникавших при утрате данного различия, например, грозящая недоразумениями омонимия *cheveux blonds* и *cheveux blancs*.

Прослеживая историю как звуковых, так и грамматических изменений в различных языках, я все более проникался убеждением в необходимости постоянного сочетания двух противоположных сил, а именно, тяги к сохранению и, наоборот, к нарушению данного равновесия. В этом состоит процесс языкового самодвижения. Главными проводниками сдвигов равновесия являются эллиптический и экспрессивный аспекты речи. Существенную роль в переходе от старшего порядка к новому играют

изменения, направленные к восстановлению нарушенного равновесия в общей языковой системе. В этом отношении очень убедительны привычные сравнения языковой эволюции с шахматной игрой.

Разумеется, возможны многоличные или даже многоместные примеры возникновения и подхвата отдельных ляпсусов, но и в этом случае перед нами стоит вопрос о внутренних языковых предпосылках, способствовавших множественному возникновению и множественному подхвату данного новшества. Конкуренция между приятием и неприятием новшеств одинаково способна произойти как в очаге, так и в более широкой, вторичной зоне. Известный конформизм присущ каждому языковому коллективу и каждому его члену. Основной вопрос лежит в выборе временной или пространственной разновидности конформизма. Усваивается факт, сближающий данный коллектив с соседями, в речи которых этот факт уже укоренился, т.е. факт сближающий и содействующий облегчению взаимной коммуникации. Пространственные конформисты, усвоившие этот факт, оказываются отщепенцами от собственной языковой традиции, т.е. временными нон-конформистами. Противоположное явление — отказ от усвоения соседского языкового достояния во имя удержания собственной традиции, является обратным примером конформизма временного в сочетании с нон-конформизмом пространственным.

Названный пространственный конформизм не ограничивается отношениями интердиалектными, но распространяется и на отношения межъязыковые. В нашем веке лингвистика впервые всерьез столкнулась с вопросом распространения фактов, характерных для языковых систем, за пределы этих языков, причем такое распространение, как оказалось, очень часто захватывает далекие по строю и по происхождению языки, иногда ограничиваясь при этом лишь частичными их ареалами. Это явление побудило принять термин, предложенный и обоснованный Трубецким в 1928 г. на Гаагском Международном Съезде Лингвистов, и приступить к разработке понятия «языковых союзов» как в сфере морфологии и синтаксиса, так и в вопросах звуковой структуры. Любопытно, что такие междуязыковые структурные особенности, привлекая к себе внимание исследователей туземных языков Америки и Африки, оставались большей частью незамеченными в языках европейско-азиатского континента. Такой выдающийся наблюдатель общих звуковых и грамматических явлений, охвативших широкие зоны американско-индийских языков независимо от их происхождения, как Франц

Боас (1858-1942), понял, что эти общие черты отнюдь не являются показателем генетической общности языков, но в то же время предполагал, что такая международная экспансия, видимо, оказывается особенностью только американской и африканской языковой жизни. Он был радостно удивлен, когда я передал ему свои работы о фонологических союзах, наблюдаемых в пределах Старого Света. Когда в течение 30-х годов я выступил в печати с показаниями об обширном «евразийском языковом союзе», охватывающем русский язык и прочие языки Восточной Европы, а также большинство языков уральских и алтайских, располагающих фонологическим противопоставлением согласных с наличием и отсутствием палатализации, и попутно охарактеризовал союз языков, окружающих Балтийское море и наделенных фонологическим противопоставлением двух интонационно противоположных типов ударения, эти мои печатные работы и доклады вызвали на первых порах резко критические отзывы филологических авторитетов, которые не подвергали сомнению собранные мною факты, но отказывались приписать таким знакам общности какое бы то ни было научное значение, объявляя все эти многочисленные примеры простою случайностью. Выдающийся голландский лингвист N. van Wijk (1880-1941), в печатном обсуждении выдвинутых мною явлений сопроводил свое признание недоуменным вопросом: каким образом все это объяснить? В настоящее время идея языковых союзов, как грамматических, так и фонологических, глубоко укоренилась в науке, что, конечно, не исключает безмолвного продолжения оппозиционного отношения против возможности присоединить к традиционному, чисто генетическому понятию наследственного языкового родства новое, географически обоснованное понятие благоприобретенной общности. Немало нового было сделано с тех пор в разыскании и более точном определении различных фонологических и грамматических союзов, но, к сожалению, все еще продолжают тормозить развитие этих исследований такие непростительные помехи, как уже упомянутое мною отсутствие фонологического атласа.

Загадка далеко не редкого возникновения и существования таких союзов легко разрешима. Мы уже коснулись ходовых примеров сочетания, либо полного, либо частичного, различных диалектов в их индивидуальном употреблении. К этому явлению примыкает каждому известный, но все еще недостаточно изученный факт двуязычия и внутреннего ценностного соотношения между двумя языками, совмещающимися в языковом мышлении индивида. В попеременном употреблении обоих языков, в их относи-

тельном сплаве и размежевании наблюдается немалое разнообразие.

Так например, русские интеллигенты моего поколения легко переходят в разговоре со своими соплеменными сверстниками от русского языка к французскому и обратно. В русское высказывание они все еще способны включать французские фразы, а в русские фразы — французские слова и выражения. Галлицизм находит себе естественное место в русской разговорной речи со времен, описанных Толстым в *Войне и мире* и до недавнего прошлого. С точки зрения действующих лиц этого исторического романа французский язык является не чужим языком, а скорее одним из стилей русской речи. Между тем для тех же русских, владеющих немецким языком, вставка германизмов непосредственно в русскую речь обычно стилистически неприемлема: в нашем сознании граница между этими двумя языками четко проведена. В светском языке русской знати галлицизмы не ограничивались лексикой и фразеологией, а нередко захватывали непосредственно звуки речи, и, например, Пушкин отмечает в *Евгении Онегине* светское умение превращать русские сочетания гласных с носовыми согласными во французские носовые гласные.

Туземцы, владеющие соседским языком и потому способные ближе общаться с иноязычными соседями и переводить с их языка на свой и обратно, зачастую пользуются среди земляков повышенным престижем. Как бы щеголяя своей импонирующей близостью с соседским языком, они, как нередко отмечалось, вносят иноязычные звуковые или грамматические черты в свою родную речь. Эти на первых порах стилистические заимствования становятся как бы эмблемой широты языкового горизонта и легко вызывают все более широкое подражание среди одноязычных соплеменников. Первоначальный пример подражательной моды далее получает полное право гражданства и становится нераздельным компонентом родной языковой системы. Так зарождается языковой союз, и, что особенно поучительно, это принципы отбора экспансивных, союзных черт. Почему именно генетически несхожее, но структурно общее развитие просодических элементов легло в основу циркумбалтийского союза языков, или смыслоразличительная роль палатализации согласных послужила образованию так называемого евразийского союза? И этот отбор, и направление экспансии, и ее пределы — все это вопросы, требующие новых подступов и критериев в лингвистической, а также в интердисциплинарной интерпретации, требующие новых примеров языковых братаний. Несом-

мненно, на каждом шагу здесь открывается целый ряд пока еще не получивших ответа проблем, и там, где до сих пор многое представлялось мозаикой случайностей, намечаются и ждут своего объяснения геолингвистические закономерности.

Только атласы заставят лингвистов последовательно задуматься над такими изоглоссами, как, например, граница между западноевропейским массивом языков с наличием члена (*article*) и восточным кругом языков, лишенных такового, причем и на севере и на юге группируются пограничные языки, характеризующиеся в обоих случаях постпозитивным членом в отличие от препозитивного члена всех остальных языков Западной Европы: постпозитивный член отличает, с одной стороны, скандинавские языки, с другой — такие балканские языки, как румынский и болгарский. Какова причина сходств в этих двух группах, размещенных одна на севере, а другая на юге от границы между языками с артиклем и без него? Мне хотелось бы еще раз повторить те многозначительные слова Жозефа де Местра (1753—1821), которыми заканчивается мой том работ о слове и языке (*Word and Language*): «*Ne parlons done jamais de hasard...*». Само собой напрашивается объяснение промежуточного положения, которое языки с постпозитивным членом занимают на границе языков с членом западного, препозитивного типа, и языков без артикля с другой стороны. А именно, препозитивный артикль функционирует как отдельное слово (ср., например, *le garçon* и *le jeune garçon*), тогда как постпозитивный артикль служит просто суффиксом, так что отсутствие отдельного слова-артикля до известной степени объединяет языки постпозитивного типа с языками, лишенными артикля.

Необходимо отметить, что диффузия звуковых и грамматических черт не обнаруживает никакой зависимости от языка, в каком-либо отношении доминирующего и потому, дескать, служащего источником, образцом этих черт. Здесь было бы ошибочно предполагать влияние языков большей культуры, большего социально-политического авторитета или большей экономической мощи на языки племен более слабых и зависимых в одном из этих отношений. Нередко волна идет со слабой в сильную сторону, и, наконец, следует отметить, что обычно такие широкие изоглоссы находят себе труднообъяснимое совпадение с иными антропо-географическими линиями широкого охвата. Вопрос подобных, зачастую неожиданных, связей требует многостороннего географического освещения, согласно программному тезису, выдвинутому даровитым провидцем структурной географии, Петром Савицким.

Если языковые союзы являются крайним проявлением лингвистического конформизма, то, с другой стороны, именно в межъязыковых отношениях наблюдается также обратное явление нон-конформизма, а именно, языки, подверженные опасности поглощения соседними языками, нередко развивают специфические черты, разительно отличающие их от структуры наседающих соседских языков. Например, из славянских языков лишь те, которым грозила опасность германизации или италянизации, сохранили, даже частью развили в своей морфологической системе категорию двойственного числа, а именно лужицко-сербский и словенский. Все прошлые и самоновейшие попытки оторвать изучение языковой системы от вопросов времени и пространства обедняют и мертвят всю ту жизненную, основополагающую идею языковой системы, которая на деле неизбежно сочетает многогранную тематику как времени, так и пространства.

К.П. Среди русских ученых за рубежом наблюдается в то же время обостренный интерес к вопросам о различных функциях географического пространства. В сборнике русских евразийцев *Тридцатые годы* Иван Савельев (на деле Петр Богатырев) занимался ролью фольклорных изоглосс. Представленные им идеи распространения и скрещивания русской народной словесности методологически совпадают с проблематикой языковых союзов. П.Н. Савицкий опубликовал в том же сборнике главу из книги по упомянутой Вами структурной географии, где он пишет об особенностях и функциях большого «сплошного пространства», охваченного Россией, а затем Советским Союзом. Этнограф Э.Д. Хара-Даван разбирает функции степного пространства в кочевом быте и в развитии физических свойств кочевого населения.

Ваш Евразийский языковой союз, при своей пионерской роли в дальнейшем развитии лингвистических идей родства, сообщества и эволюции языков, был, видимо, немало обязан данному контексту и, в свою очередь, значительно повлиял на этот контекст.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей

5

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ЯЗЫК

К языковедческой проблематике сознания и бессознательности

13

Два вида афатических нарушений и два полюса языка.

27

К лингвистической классификации афатических нарушений.

53

Об афатических расстройствах с лингвистической точки зрения.

73

Вклад Энтони в лингвистику

89

ПОЭТИКА

О русском фольклоре.

97

Что такое поэзия?

105

Доминанта

119

О так называемой вокальной аллитерации гласных в германском стихе

126

СЕМИОТИКА

Взгляд на развитие семиотики

139

Несколько заметок, о Пирсе, первопроходце науки о языке

162

Упадок кино?

170

СТРУКТУРА ЯЗЫКА

Структурализм и телеология.

181

Значение лингвистических универсалий для языкознания

184

Жить и говорить

199

Из бесед с Поморской

223

Научное издание

Якобсон Роман
Язык и бессознательное
(Работы разных лет)

Составление: Голубович К., Чухрукидзе К.
Художник Бондаренко А.
Корректор Лунгина Д.
Оператор Крейзер Е.

Издательство «Гнозис»
119847, Москва, Зубовский бул. 17
ЛР 050032 от 11 октября 1991

Подписано в печать 26.03.96 г. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Заказ 4069 Тираж 2000
Типография ПХУ МВД России.
107143, Москва. Открытое шоссе, 18.